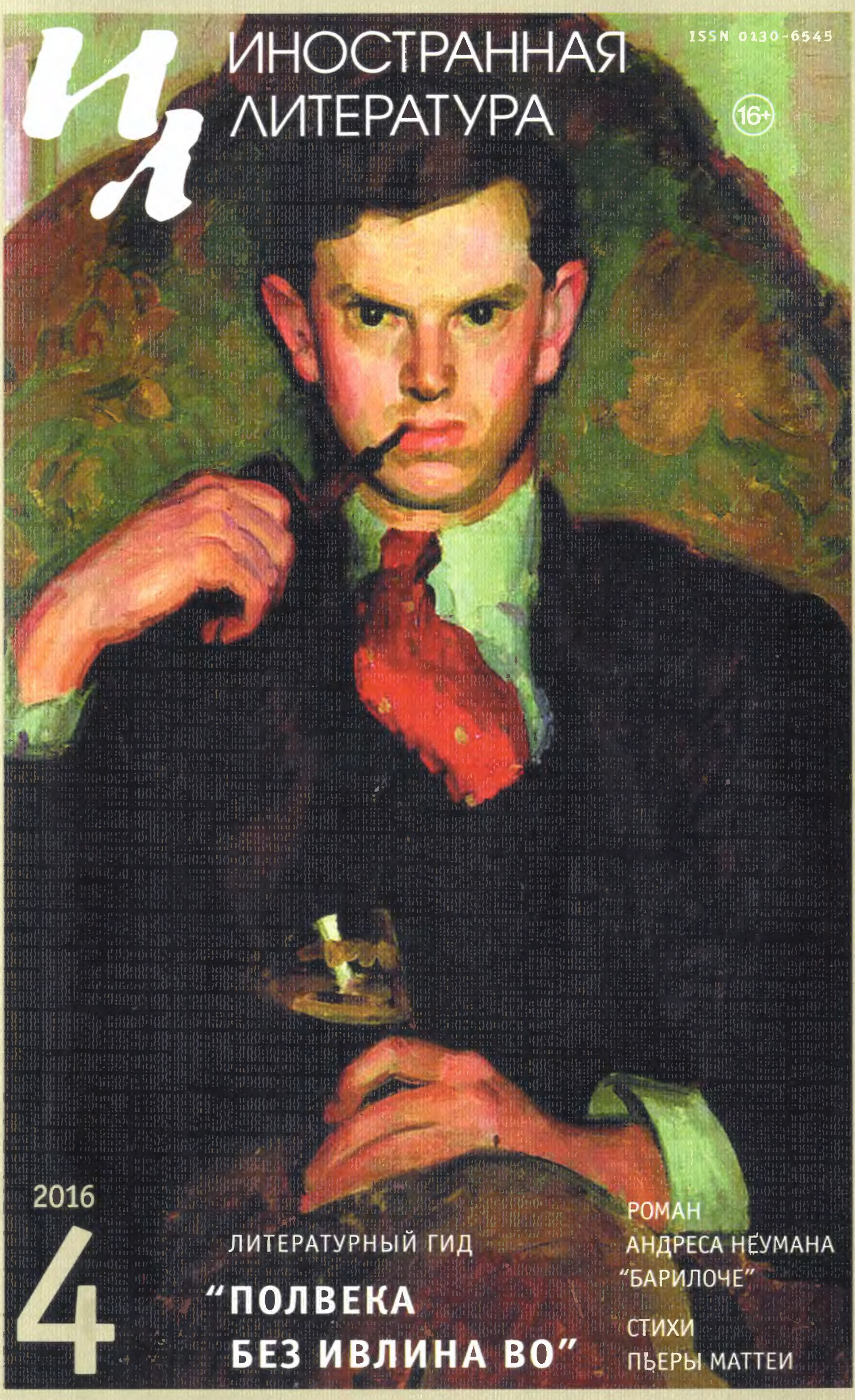
ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



2016

4

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

“ПОЛВЕКА БЕЗ ИВЛИНА ВО”

РОМАН АНДРЕСА НЕУМАНА “БАРИЛОЧЕ”

СТИХИ ПЬЕРЫ МАТТЕИ

Основан в 1955 году

“ИЛ” до конца 2016 года

Название повести хорошо знакомого читателю “ИЛ” поляка ЕЖИ ПИЛЬХА **“Зуза, или Время воздержания”** отсылает к Екклесиасту (“время обнимать и время воздерживаться от объятий”); завязка – якобы найденная в старом лыжном ботинке рукопись; результат – пронизанный эротикой и иронией, одновременно анекдотический и серьезный, псевдоназидательный и, возможно, автобиографический, смешной и грустный рассказ о безудержной страсти почти старца к юной девице легких нравов.

Повесть чилийского писателя ЭРНАНА РИВЕРЫ ЛЕТЕЛЬЕРА **“Гимн ангела с поджатой ногой”** – поэтичное описание одного дня тринадцатилетнего мальчика – можно назвать современным “романом воспитания”.

“Маэстро и другие” – роман современного итальянского писателя и драматурга ЛУИДЖИ ЛУНАРИ. Его главный герой – режиссер и основатель знаменитого миланского театра “Пикколо” Джорджо Стрелер, выведенный в образе Маэстро. “По насыщенности юмором и сарказмом, – считает Жак Лассаль, директор “Комеди франсез”, – текст Луиджи Лунари достигает высот великолепного ‘Театрального романа’ Булгакова”.

“Голубой цветок” английской писательницы ПЕНЕЛОПЫ ФИЦДЖЕРАЛЬД – книга о Новалисе, основателе немецкого романтизма, юном гении, не дожившем до своей всемирной славы. Здесь все достоверно, погружено в атмосферу Германии XVIII века, все действующие лица подлинные. И, тем не менее, это не биография, даже не романизированная биография, а роман с напряженной любовной фабулой, пронизанный лиризмом и тонкой иронией автора.

Роман широко известного в Англии и не известного у нас английского писателя ГЕНРИ ГРИНА **“Возвращение”** возвращает нас к концу Второй мировой войны. Щемящая книга Г. Грина – о том тяжком психологическом давлении, которое оказала война на английского офицера, вернувшегося домой после немецкого концентрационного лагеря.

Хорошо известный в России автор искрометно остроумной книжки “Как быть чужим” ДЖОРДЖ МИКЕШ на этот раз выступает на страницах журнала с повестью **“Цица”**, где смех далеко не всегда так весел и беспечен, как в других его книгах.

Глава из готовящейся к печати автобиографической книги выдающегося польского кинорежиссера КШИШТОФА ЗАНУССИ.

Классик английской литературы, автор “Силы и славы” и “Сути дела” ГРЭМ ГРИН неоднократно печатался на страницах “Иностранной литературы”. Фрагменты из его богатой событиями биографии не менее увлекательны и поучительны, чем его романы, рассказы и пьесы.

Новые переводы классической поэзии: стихи лауреата Нобелевской премии ВИСЛАВЫ ШИМБОРСКОЙ в переложении победителей Международного конкурса.

А также – “Современный немецкий рассказ” и др.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[4]
2016

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

Литературный гид
Полвека без Ивлина Во

3 Андрес Неуман *Барилоче.* Роман. Перевод с испанского Ольги Кулагиной

78 Пьера Маттеи "*Каждый сам по себе за чертой пустого пространства*". Стихи. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

85

86 Николай Мельников *Знакомый незнакомец.* К 50-летию кончины Ивлина Во

Писатель путешествует

95 Ивлин Во *Наклейки на чемодане.* Перевод Валерия Минушина

"Я к вам пишу..."

156 *"О себе писать особенно нечего..."* Из писем Ивлина Во. Составление и перевод Александра Ливерганта. Комментарии Александра Ливерганта и Николая Мельникова

Статьи, эссе

215 *Медные трубы.* Перевод Николая Мельникова

222 *Я всюду вижу одну лишь скуку.* Перевод Анны Курт

Зрительный зал

226 *Человек, которого ненавидит Голливуд.* О фильме *Месье Верду* Ч. Чаплина. Перевод Анны Курт

228 *Ох, уж эти Римские скандалы.* О фильме *Сладкая жизнь* Ф. Феллини. Перевод Анны Курт

Интервью

231 *"Никогда не убивайте своих персонажей...".* Интервью Ивлина Во. Перевод Николая Мельникова

Ничего смешного

244 *Непростое искусство давать интервью.* Перевод Анны Курт

Среди книг с Ивлином Во

250 *Победитель не получает ничего.* Рецензия на роман Э. Хэмингуэя "За рекой, в тени деревьев". Перевод Анны Курт

253 *Нечто оригинальное.* Рецензия на роман М. Спарк "Утешители". Перевод Николая Мельникова

255 *Отправная точка.* Рецензия на роман Г. Грина "Конец одной любовной связи". Перевод Александра Ливерганта

Писатель
в зеркале критики

259 Питер Кеннелл *Рецензия на роман "Пригоршня праха".* Перевод Аллы Резниковой

262 Джон Хатченс *Лучший роман Ивлина Во.* Рецензия на роман "Возвращение в Брайдсхед". Перевод Анны Курт и Аллы Резниковой

268 Эдмунд Уилсон *Блеск и нищета Ивлина Во.* Рецензия на роман "Возвращение в Брайдсхед". Перевод Аллы Резниковой

271 Джордж Оруэлл *Путешествие Ивлина Во в опасную Нейтралию.* Рецензия на повесть "Новая Европа Скотт-Кинга". Перевод Анны Курт

274 Десмонд Маккарти *Сатира Ивлина Во.* Рецензия на повесть "Незабвенная". Перевод Николая Мельникова

276 Гор Видал *Сатирический мир Ивлина Во.* Рецензия на роман "Безоговорочная капитуляция". Перевод Аллы Резниковой

281 Энтони Бёрджесс *Ивлин Во: переоценка.* Перевод Аллы Резниковой

Авторы номера

285

© "Иностранная литература", 2016

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

До 1943 г. журнал выходил под названиями "Вестник иностранной литературы", "Литература мировой революции", "Интернациональная литература". С 1955 года — "Иностранная литература".

Главный редактор

А. Я. Ливергант

Редакционная коллегия:

Л. Н. Васильева

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

Т. Я. Казавчинская

Н. Г. Мельников

К. Я. Старосельская

Общественный редакционный совет:

Л. Г. Беспалова

А. Г. Битов

Н. А. Богомолова

Е. А. Бунимович

Т. Д. Венедиктова

А. А. Генис

В. П. Голышев

Ю. П. Гусев

С. Н. Зенкин

Вяч. Вс. Иванов

Г. М. Кружков

А. В. Михеев

М. Л. Рудницкий

М. Л. Салганик

И. С. Смирнов

Е. М. Солонович

Б. Н. Хлебников

Г. Ш. Чхартишвили

Международный совет:

Ван Мэн

Януш Гловацкий

Милан Кундера

Ананта Мурти

Кэндзабуро Оэ

Роберт Чандлер

Умберто Эко

Редакция :

С. М. Гандлевский

Е. Д. Кузнецова

Е. И. Леенсон

М. А. Липко

М. С. Соколова

Л. Г. Харлап

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Андрес Неуман

Б*арилоче*

Роман

Перевод с испанского Ольги Кулагиной

Так выживают обессилившие.
Джон Бергер

И живем, и грезим мы в одиночестве.
Джозеф Конрад

Ностальгия по прошлому,
Песок, развеянный жизнью,
Печаль изменившихся улиц
И горечь умершей мечты.
Омеро Манци

Барилоче: город, расположенный на южном берегу озера Науэль-Уапи, провинция Рио-Негро, 41° 19' ю. ш. 71° 24' з. д., граничит с провинцией Неукен. Сейсмологическая станция. Наиболее важные высоты: вершина Катедраль и гора Тронадор.

© Andrés Neuman c/o Schavelzon Graham Agencia Literaria
© Ольга Кулагина. Перевод, 2016

I

БЫЛО ровно четыре, когда Деметрио Рота немного развеял ночь своей флюоресцирующей спецовкой. Почти автоматически он уронил плевок в сточный люк. И порадовался, что попал. Влажная мгла Рио-де-ла-Платы расползалась от порта до проспекта Девятого июля, накрыв по дороге Пасео Колон; дальше господствовало адское дыхание Буэнос-Айреса: плотное, неотступное, едкое. Холод досаждал гораздо меньше.

Уборку мусора Деметрио Рота начинал с другого конца проспекта Независимости. Возле грузовика, источавшего раскаленный смрад мотора, отбросов, апельсиновых корок, старой заварки мате и бензина, они с напарником дрожали от холода, равнодушно, как два эскимоса. Брось-ка мне тот пакет, бросай-бросай, крикнул Не́гр. Деметрио не слышал. Он смотрел в сточный люк, втянув голову в плечи, словно забыл их опустить. Эй, очнись, что ты там делаешь. На этот раз Деметрио услышал, но не шевельнулся, черные пластиковые пакеты теснились у его ног, как стайка грязных домашних питомцев. Послушай, Деметрио, уже пять, огребем ведь оба. Он вздохнул и наклонился, чтобы передать Негру первый пакет. Сточный люк намекал на далекое журчание, где-то там, в глубине.

II

Видал такую сырость?

Временами Негр шумно сморкался, чем особенно раздражал Деметрио. Бесприютное пасмурное утро окрасило небо в белесые июньские тона; Деметрио не сомневался, что смена времени года повлияла на Негра — он стал еще дурей и болтливей. Сам Деметрио вел себя по-разному, в некоторые дни он молчал, в другие с удовольствием говорил о футболе, о выходных и о женщинах, которые начинали им встречаться, едва поднимал голову рассвет. Деметрио безоговорочно предпочитал толстушек, ему совершенно не нравилась мо́да, вынуждавшая девушек превращаться в сплошные острые углы: ведь женщины сделаны из плоти, так какого черта! Но Негру девчонка в клетчатой юбке показалась подходящей. Смотри, какая шикарная малявка — такие заголяют ляжки, даже когда писаются от холода. Слишком тощая, возразил Деметрио.

В конце улицы Боливара был дрянной, дешевый бар с беспорядочно разбросанными столиками и оставленными где попало стульями. За одним из столиков обычно завтракал маленький жизнерадостный пенсионер, по прозвищу Коротышка. Официант, он же посудомойщик, величал пенсионера “до-

ном", хотя Коротышка отроду не заказывал ничего дороже красного домашнего вина. Давай, парень, обслужи нас скоренько, мы спешим, крикнул Негр, как будто заведение ломилось от посетителей. Деметрио все еще казался задумчивым, но вовсе не грустным, как предположил его напарник, интересуясь причиной. Сегодня дело шло медленно, они отстали от графика почти на четверть часа, поэтому успели всего лишь выпить кофе с холодным молоком. На прощанье Коротышка помахал им старой газетой.

Закончить маршрут вовремя удалось только благодаря расторопности Негра. Деметрио сидел за рулем и чувствовал, что втягивается в утренний ритм; без перчаток ему полегчало, пальцы снова становились пальцами и снова ощущали такую привычную кожицу предметов. Он посмотрел в зеркало заднего вида на Негра — тот хватал по несколько пакетов сразу, немного рисуясь, как жонглер в цирке. Деметрио добродушно понаблюдал за ним, улыбнулся и поехал дальше, чувствуя, что на душе стало легче, почти легко. Они возвращались на свалку, чтобы разгрузить машину. Потом Негр сломя голову помчится на другую работу и придет домой только к ночи, чтобы побыть с женой и увидеть, как растут два его сына. Деметрио, снимавший убогую квартирку в Чакарите[1], наоборот, после обеда спал до вечера. Около восьми он вставал, ел, что придется, некоторое время рассеянно стоял у окна и наблюдал за машинами, представляя себе, что они двигаются сами по себе, или выбирал невысокую плоскую крышу, мысленно перелетал на нее, растягивался на спине, глядел в прохладное небо, в звездную бездну и отдыхал, и так, пока не надоест — тогда он принимался за дело.

III

Старая пустошь была покрыта бесчисленными красными цветами, каждый — своего оттенка. Рядом с густой травой в мощном полуденном свете все обретало мягкость шелковистого флага. По одну сторону, не очень близко к домишке, покоилось озеро. Его равномерный блеск простирался до самой горной гряды. Гор почти не было видно, лишь смутные очертания вершин, гигантских пальцев, направленных в пространство, — они указывали людям, какой путь для них непреодолим. Домишко был обыкновенный, в классическом альпийском стиле, с двумя узкими окнами не совсем правильной формы. Две кошки игра-

1. Район Буэнос-Айреса, известен прежде всего 95-гектарным национальным кладбищем Ла-Чакарита, крупнейшим в Аргентине. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ли, царапаясь и ласкаясь, сливаясь в разноцветный клубок. Кажется, только кора на стволах, очень древняя, свидетельствовала о времени, которое пролегло между обилием вечной воды и обилием цветов, умирающих не утратив своей красоты.

IV

Грузовик стал заводиться с подозрительным звуком. Деметрио сразу это заметил и обратил внимание Негра, но тот отмахнулся и знаком велел Деметрио ехать дальше. Воля твоя, Негр, только так и знай, эта погремушка кинет нас где-нибудь посреди дороги. Мотор прокашлялся, машина поехала. Из-за сонливости дорожное покрытие расплывалось перед глазами Деметрио, лучи светофоров окрашивали симметричные потоки машин. Сидевший рядом Негр покосился на него, но промолчал. Он знал, что, по мере того как будет светать, Деметрио начнет оживляться, его глаза затрепещут, излучая какой-то странный свет. Ответы станут не такими лаконичными, и, когда придет время закругляться и ехать обратно на свалку, Негр почти пожалеет, что как раз теперь им пора расставаться. Он уже привык каждый день сначала видеть перед собой лунатика, потом наблюдать апатию, потом, с наступлением утра, какую-то вялую реакцию, и, наконец, почти отчаянную болтливость и внезапные решения своего напарника: то срочно выйти из грузовика, то ехать дальше, то крикнуть что-нибудь в окошко встречной девушке.

Они плотно позавтракали, но Деметрио снова ощущал пустоту в желудке. По дороге он представлял себе, как будет обедать. Осязание и нюх обострились и напоминали о себе при каждом взгляде и движении. Язык во рту словно размяк. Печеная картошка, несколько свежих помидоров с красной мякотью, сочный до непристойности кусок мяса, а после этого — броситься в кровать, потереться лицом и бедрами о простыни, устало улыбнуться и — забытье. Деметрио открыл дверь подъезда. Дойдя до конца коридора, удостоверился, что лифт по-прежнему не работает. Вытерпел крутые ступеньки до шестого этажа. Когда он вошел в квартиру, его рассудок погрузился в объятия необъяснимого покоя.

V

Без четверти восемь он открыл глаза и уткнулся в темноту. Ощущая боль во всех мышцах, сел, несколько раз выпустил газы, надел тапки и пошел в кухню. Согрел кофе и налил себе щедрую порцию. Еще не отпив ни глотка, подошел к окну

и посмотрел на снующие внизу машины. Огни магазинов светились тускло, как бакены, предотвращающие кораблекрушения. Прохожие шли усталым шагом, каким обычно возвращаются домой.

Он не спеша отхлебнул кофе и ощутил его путь до желудка. Ему хотелось почувствовать его благодатное действие. Отчасти это удалось. Он поставил чашку в раковину, вернулся в гостиную и пошел к столу с прямоугольной коробкой в руках.

Позади домишки несколько сосен тянули в приветствии тысячи тонких ветвей. Пропорции коробки и домика, вертикальная уравновешенность стволов и параллельные крепежные балки стен, изгибы озера и пролегающие в цветах тропинки упоенно вели между собой геометрический диалог. Снопы света равномерно распределяли тень.

Деметрио рассмотрел прореху в верхнем левом углу. Похоже на укус Бога. Деметрио запустил руку в коробку и высыпал на стол пригоршню деталей. Сложив пальцы щепотью, он надавил на глаза, потом убрал пальцы, но глаз не открыл. Сквозь веки он все еще видел домишко, перепутанные с озером тропинки, вспыхивающие фрагменты пейзажа. Он снова посмотрел на картину. Выбрал наугад одну деталь, прикинул ее оттенок и попробовал найти для нее место — удалось. Так-так. Осталось совсем немного. Попробовал другую — нет. Он встал и поглядел в окно — на улице никого не было. Жить в Чакарите было непривычно. Ночь давила всем своим весом, всей странной тишиной. так не похожей на все, что происходило здесь целый день: беготня, автобусы, разговоры, работающие магазины и продавцы гаррапиньяды[1] на каждом углу. Когда-то, уже давно, он жил в Ланусе[2], где соседи были либо друзьями, либо врагами, и знали каждую собаку и где дети бегали по улицам, только для того и проложенным. В Ланусе почти ни у кого не было денег на покраску дома, на поездку летом на пляж (и какой чудесный пляж!), на покупку одежды, в которой завоевывается мир. А еще раньше он жил совсем далеко, гораздо дальше от столицы и ее суеты: там, где все росло радостно и старело спокойно. Радость выпала и ему. Научиться плавать в Науэль-Уапи, научиться не мерзнуть в Науэль-Уапи, познать тишину Науэль-Уапи, ходить в маленькую кирпичную школу рядом с Льяо-Льяо[3], играть в футбол, где заблагорассудится. Там росли уникальные лумы, а шоко-

1. Сладкое лакомство из орехов и сахара.
2. Город в Аргентине, расположен в провинции Буэнос-Айрес.
3. Фешенебельный курортный отель, расположен вблизи озер Морено и Науэль-Уапи, в двадцати пяти километрах от города Сан-Карлос-де-Барилоче.

лад по вкусу напоминал — отдаленно, на старинный манер — заснеженную Европу.

Он отвел взгляд от улицы и, стоя над столом, осмотрел картину с домишкой. Потом тряхнул головой. Протянув руки, он почувствовал прилив энергии и неожиданную ясность в голове, как будто ему поменяли режим дня. Он вернулся к столу: в небе не хватало самого важного куска.

VI

Пока они отдыхали, сидя на краю тротуара, Деметрио распотрошил один пакет. Он был приоткрыт, из него чем-то пахло, то ли горьким, то ли гнилым. Деметрио без отвращения запустил в него два пальца и покопался внутри. В пакете виднелось несколько зеленых бутылок и куски порубленного или изжеванного собакой мяса; все было забрызгано чем-то молочным. Деметрио с досадой отбросил пакет. Это была еще одна привычка, которую Негр не мог понять, но молча терпел. Иногда Деметрио проявлял к отбросам определенное безразличие, почти игнорировал их, а иногда он приходил какой-то не такой, подозрительно спокойный, и тогда дотошно копался в пакетах. Вдруг Деметрио замер, сунул руку поглубже и сосредоточился на чем-то внутри. Негр молчал, он знал, что Деметрио это сделает, и был готов. Вытаскивая что-то из пакета, Деметрио покосился на Негра и вытянул правую руку. Негр напряг шею и увидел на перчатке Деметрио рыжеволосую головку, безрукий торс и левую ногу — уже потерявшие цвет, эти фрагменты вызывали в душе какое-то старомодное умиление. Остальных фрагментов не было, по крайней мере, в этом пакете, и вряд ли имело смысл искать их в других пакетах. Деметрио прошептал: понимаешь, Негр, ты понимаешь. Негр посмотрел на голову, ножку, крошечный торс, потом посмотрел Деметрио в глаза, полагая, что такая форма согласия будет самой правильной. Деметрио подобрал пару апельсиновых корок, завернул в них фрагменты куклы и бережно положил обратно в пакет. Они позавтракали (Деметрио так и молчал), и утро пошло своим чередом.

Смесь голода и сонливости создавала странный мягкий привкус во рту, который чувствуешь, когда сглатываешь слюну. Деметрио возвращался домой. Сам того не заметив, он вышел на две остановки раньше. Когда он добрался до железнодорожной станции и увидел слева кладбище Чакарита, застывшее и несокрушимое, ему показалось, что пройдено недостаточно, что эта картина возникла слишком скоро, и надо было выйти из автобуса намного раньше, а то и вообще про-

делать весь путь пешком. Он понаблюдал, как люди выплескиваются из метро "Федерико Лакросе": исторгнутые на улицу станционной глоткой, они продолжали путь под открытым небом. На секунду Деметрио ощутил потребность спуститься по лестницам, углубиться под землю, обойти весь квартал под улицами, но он пошел дальше и завернул за угол, не доходя до станции. Ноги и веки одинаково отяжелели. Взглянув на часы, он порадовался, что еще рано.

Днем он просыпался дважды. Один раз сходил в туалет, второй раз просто открыл глаза. Смотреть в окно не хотелось. Он сел к столу в гостиной и внимательно осмотрел детали пазла. Оставшиеся фрагменты озера казались простыми, Деметрио за них не волновался. Его беспокоила только дыра в небе. Он разложил пригоршню деталей и стал перебирать их указательным пальцем, одну за другой, высматривая наиболее подходящую. Цветы были еще не закончены, но Деметрио осмотрел их, понюхал, прикоснулся к лепесткам. Ему хотелось погоняться за кошками, но, убедившись в их прыткости, он скоро сдался. Воздух наполнял его дыхание ароматом и делал его почти осязаемым. Он закрыл глаза, услышал зовущий голос и засомневался: пойти на зов или скрыться. Вдруг он бросился бежать, упал в поле, ведущем к деревне, перепачкал колени и руки; он чувствовал близость безмятежного озера и слышал, как далекий голос устало повторяет имя, которое он так не любил.

VII

В то утро, дождливое, с порывистым ветром, уборка превратилась во что-то странное. Бег минут, мытый гудрон проспекта Независимости, покорность мусорного пластика, готового, казалось, помочь себя поднять и уложить, вместо того чтобы оттягивать руки, — все вокруг разворачивалось и дышало по-другому. Что касается грузовика, он и в самом деле был другой: старый механики в гараже разобрали, и похоже, на несколько дней. Автомобильные покрышки вспахивали сырую грязь на узенькой Дефенсе — улице бестолковой и неудобной. Уборка мусора в последнюю смену имеет одно преимущество, думал Деметрио: наблюдаешь зарождение дня, начало всего, что создает каркас так называемого рабочего дня, тех часов, которые Деметрио мог лишь подсмотреть, пока возвращался на автобусе от горы-прародительницы отбросов в центр города или ждал девяносто третьего, чтобы доехать до Чакариты, проглотить свой обед и броситься спать, как одержимый.

Где-то около шести они увидели мальчишку — он рылся в мусоре, несмотря на моросивший ему на плечи серенький дождик.

Негр спросил, нет ли у него отца или старшего брата, чтобы помочь, и вообще, как он собирается заниматься этим в такую рань, один? Мне никто не указ, какое ваше дело, один я, не один, вы что, видите больше, чем я, вы старик, а я, когда вырасту, ограблю банк и уеду далеко-далеко, где пляжи и солнце весь год. Слушай, парень, пойдем-ка лучше с нами, что-нибудь слопаем и выпьем кофейку с молоком, ядрена мать! Они посадили его за столик в баре на улице Боливара, Коротышка взглянул на них с удивлением и поднял в приветствии первый опустошенный за день стакан. Слышь, парень, принеси мальцу кофейку и рогалик, что ли. Рогалик и сандвич, если он хочет. Это ваш сын? Какой еще сын, дурья башка, ты думаешь, я подниму ни свет ни заря сына, чтоб копался в говне вместе с отцом? Ладно, помолчи, сделай милость, и заруби себе на носу: мои дети живут скромно, что правда, то правда, но в чистоте. Ты ведь будешь сандвич с ветчиной или с сыром? Мальчишка сдержанно кивнул, давая понять, что в курсе, как противоестественно выглядят милости в Сан-Тельмо в семь часов утра. И в какой-то мере — Деметрио это чувствовал — мальчишка был прав: Негр не столько хотел накормить начинающего старьевщика, сколько заглушить безотчетный страх, таившийся в некрасивых лицах его сыновей и в его собственном.

По пути на свалку они не обмолвились ни словом. Негр вел машину, Деметрио считал капли на стекле. Новый грузовик звучал безукоризненно, ехал бодро и, возможно, был намного лучше древнего "мерседеса", уже снятого с производства и прослужившего им столько времени, но казался слишком чужим, чтобы питать к нему добрые чувства. Деметрио посмотрел на Негра — тот был бледен до зелени. Слушай, Негр, ты правильно поступил, что отвесил сопляку пинка, какого дьявола, не хватало чтобы, после того как ты его накормил, он спер у тебя бумажник, Негр, не трави себе душу. Негр был бледен до зелени.

Они заглушили тихий мотор нового грузовика и вышли. Дождик продолжал сыпать мельчайшими каплями, неспособными промочить флюоресцирующие спецовки. Диспетчер сказал: минутку. Когда другой такой же грузовик развернулся и отправился в гараж, диспетчер подал им знак, они опять завели мотор и подъехали к огромной огороженной пропасти, чтобы выгрузить сотни килограммов отбросов, едва ли способных насытить прожорливую смердящую глотку. Прежде чем растаться с Негром, Деметрио открыл бардачок и достал два бесформенных комка грубой кожи с вертикальными молниями по бокам. Это что за дрянь, Деметрио? Деметрио поднес сапоги к лицу Негра, чтобы тот смог их рассмотреть. Негр пожал плечами.

VIII

Вопреки своему обыкновению он принял душ до ужина. Пока вода очищала поры, он стоял, закрыв глаза, и слушал монотонное, молитвенное бормотание струек на кафельных плитках. Намыливаясь, он внимательно осмотрел свое тело: волос стало больше, чем несколько лет назад, но кожа выглядела более беззащитной, не такой здоровой; бедра сохранили трапециевидную форму и убедительный объем; воодушевившись, он посмотрел выше и увидел пах, похожий на темные заросли кустарника, из которых свисал вялый член, скукоженный, как смущенный зверек или странная обездвиженная личинка. Из чистого самолюбия он слегка его потряс и дождался неохотной реакции. Потом устало закрыл кран и вытерся.

Вместо того чтобы сразу поужинать, он остановился у окна и сосредоточенно попробовал хоть частично вернуть необъяснимое ощущение благополучия, владевшее им до сна, ленивое удовлетворение, настраивающее на добродушный лад, когда радуют самые обычные вещи: есть, спать, мочиться — а плохое утреннее настроение кажется ерундой. В какой-то момент реальность ознобом напомнила о себе. Он пошел на кухню и принялся есть, размеренно и равнодушно. Вернувшись в комнату, взял сапоги из поношенной черной кожи и натер их гуталином, представляя себе, что трет спину уставшего жеребца — казалось, он слышал, как кожа утоляет жажду, вытягивает из черной субстанции влагу и пропитывается ею насквозь. Полюбовавшись блестящим слоем косметики на истертой коже, он решил, что это знак судьбы. Бережно натянул на себя сапоги, почувствовал их бесформенную заскорузлость. Войдя в комнату, он сел перед домишкой, озером и тропинками. Потянулся, придвинул фрагмент облаков, букет белого газа причудливой формы, который предстояло вписать в огромное небо. Прикинул, откуда могли взяться далекие блики Науэль-Уапи и тени на двери домика, и убедился, что был прав: через равные промежутки времени его действительно звал настойчивый, далекий голос, а сам он прятался за стволом дерева (не лумы), пахнувшего временем. Сколько раз он бродил по воде в черных резиновых сапогах, сколько раз его миновала мрачно предсказанная пневмония, к явной досаде вечно насупленных бровей. Рубка хвороста всегда служила поводом получить свободу, топор покоился у него на плече, словно разрешал себя пожалеть, и его острие по одну сторону затылка сладкой щекоткой напоминало о неизбежности рока. Тот самый топор, столько раз служивший знаком для рыжей девушки, огненной красавицы с беспощадной улыбкой, тихони, обладающей особым даром ускользать, но, как все огненные существа, чудовищ-

но любопытной; удивление, которым он пользовался, чтобы пофорсить своим топором, подавляя спазмы желания. В оркестровом гвалте птиц монотонный, зовущий голос обычно смолкал, затерявшись в какой-нибудь глупой детали.

IX

Она была изумительно красива и старше меня. Одевалась, как все местные, то есть максимально скрывала тело. Жила она недалеко, но для меня этот участок земли, иногда превращавшейся в непролазную грязь, был связан с целым ритуалом, с дорогой, которую так просто не пройдешь. Я всегда отправлялся в путь в страшном смятении, посреди дороги сворачивал, обманывая себя, подходил к Науэль, бросал в воду камни и думал, что нет никакой необходимости так страдать, что лучше вернуться домой, а потом, сам не заметив как, снова оказывался на земляной тропинке с колотившимся под курткой сердцем. Но я не обращал внимания на сердце и шел, представляя себе сладострастные сцены, которые путал с самой что ни на есть целомудренной любовью. И вдруг — раз! — заставал ее одну, сидящей на каком-нибудь бревне, мою рыжую богиню. Я махал ей рукой или, как идиот, топором, будто для того, чтобы нарубить хворост, нужно было тащиться куда-то дальше выгона, окружавшего наш дом. Не знаю, понимала ли она это или действительно всегда витала в облаках, но махала мне в ответ и ждала, пока я, как зачарованный, брел в ее сторону. Весной или когда отпускали холода, мы бродили по горам, и каждый раз перед подъемом я спрашивал себя, хватит ли когда-нибудь у меня, горе-ловеласа, храбрости обнять ее за талию и поцеловать наконец без всяких страхов.

X

В то утро Деметрио пришлось долго ждать Негра в гараже. Прохаживаясь между грузовиками в поисках своего, отремонтированного, он заметил, что у одного из них спущена шина. Деметрио оглядел огромную территорию гаража, похожую на зловещий похоронный зал для усопших слонов, и убедился, что диспетчер отвлекся и слушает транзисторный приемник. Он присел и не спеша спустил остальные колеса. Сунул два нипеля в карман. Чтобы не топтаться на месте, еще раз взглянул на диспетчера и перешел к соседнему грузовику. На этот раз он спустил одну шину сильно, а другую — чуть-чуть и подумал, что совершил глупость, спустив все шины у первого грузовика, потом сообразил, что совершил еще бóльшую глупость сейчас, потому что заподозрят кого-нибудь из водителей — все знали, как тяжело работать на

этих чудовищах. И тут Деметрио понял причину своих безотчетных действий: чем больше у механиков будет работы, тем быстрее они починят его старый грузовик. Догадка выглядела вполне убедительной. Он почувствовал себя разумным и справедливым. И спустил еще две шины на двух разных грузовиках.

Негр появился с почти двадцатиминутным опозданием — случай настолько из ряда вон выходящий, что Деметрио обнял его, когда тот добежал с другого конца гаража, тряся животом и отдуваясь. Что случилось, Негр? А то, что моя жена — шлюха, вот что случилось. Ты о чем, болван, она тебя любит, как кошка, сам знаешь! Говорю тебе, чистая правда, Деметрио, понимал бы что, давай шевелись, не то зароемся в дерьме, ехать надо. Идет, только ты мне сейчас все расскажешь, потому что это чистая ахинея, Негр, дурья башка. Да что ты знаешь. Они завели мотор, Деметрио опять стало стыдно из-за шин. Когда они выезжали, диспетчер помахал им рукой, не отнимая транзистор от уха.

Нет, Негр, ты уверен? Бывает, человек навыдумывает, а потом приходится просить прощения. Негр театрально покачал головой с обреченным видом человека, смирившегося со своей участью. Коротышка заказал еще стакан красного и смеялся в одиночку. Ну, расскажи, расскажи мне, Негр. Да что тут рассказывать, просто она напилась и трахнулась с другим мужиком, да вдобавок распустила нюни, а я, как последний кретин, вместо того чтобы навалять ей хорошенько, взялся ее утешать, но увидишь, когда вернусь, я ей этого не спущу. Деметрио вспомнил жену Негра: на несколько лет моложе мужа, она старалась сохранить цвет лица и фигуру и чересчур сильно красилась. Она была совсем не красивая, но ее походка, то ли беспомощная, то ли развязная, возбуждала в мужчинах что-то вроде тревоги или необъяснимой злости. Заботливая мать и, что самое скверное, более образованная, чем Негр. Да ладно тебе, не злобствуй, Негр, пойми, ведь ей одиноко, наверняка она скучает, каждый день столько часов тебя не видит, оставь ее в покое, ты же знаешь, как она тебя любит. Негр продолжал мотать круглой усатой головой, но Деметрио показалось, что в его глазах мелькнула искра сомнения, а желваки на щеках исчезли.

XI

Он пообедал в баре. Ему захотелось есть, но он вспомнил, что холодильник пуст. Прочитав меню на дощечке с рекламой кока-колы, он порылся в карманах брюк, зная, что денег мало, но это его не остановит. Он объяснил официанту, что бифштекс должен быть немного с душком, в салат не надо класть лук, а в кофе, если можно, добавить половину чашки холодного молока. Те-

перь он шел по Пласа-де-Майо в сторону улицы Леандро Нисефоро Алема и раздумывал, не изменить ли обычный маршрут, как вдруг увидел подъезжавший на всех парах девяносто третий; когда в следующий момент он понял что к чему, то уже стоял, вцепившись в липкую спинку сиденья, задыхаясь в толпе пассажиров, и смотрел на длиннющий проспект Либертадор. Ему хотелось быть сейчас в Чакарите, в своей квартире, проваливаться в сон в своей постели, и временами ему даже начинало казаться, что все так и есть, пока не вторгалась реальность и не заставляла его осознавать, что движение на дороге застопорилось, что, несмотря на зиму, в автобусе жара, что ему наступают на ноги, его пихают и снова наступают на ноги.

Свое жилище показалось ему настоящим спасением. От недосыпа кухонная плитка плыла перед глазами. Он пошел в туалет, с наслаждением помочился, сбросил ботинки, расправил подушку и, уже отключаясь, вздохнул между простынями.

Когда будильник забился в приступе тахикардии, возвращая его в сознание, Деметрио сел и с легкой ностальгией вспомнил полдень. Пошарил возле кровати, нащупал потертую кожу черных сапог. Аккуратно надел их и отправился на кухню; разбил и пожарил два яйца, взглянул на часы: половина десятого. Проглотил яичницу, безвкусный кусок резины, и подошел к окну. В те времена, когда он еще не бросил курить, ему нравилось по вечерам наблюдать за улицей — тогда казалось, что каждая затяжка серым дымом совпадает с ритмом уличного движения; но теперь, когда сигареты стали случайным угощением или чужим удовольствием, часть квартала, обрамленная оконной рамой, изменилась: она двигалась медленнее, не так бодро — предсказуемый рисунок, уже не похожий на прежние синеватые подвижные картинки. Сам того не замечая, он выдохнул так, будто выпускал из легких дым прошлого, и отвернулся от потока машин, от рассеянного неона закрытых магазинов. Вернувшись в комнату, он сел к столу. Осмотрел горку деталей и небо с прорехами — закрыть их уже не составляло труда: цветы закончены, трава, буйная и яркая, почти скрыла кошачью драку. Стоял день, но если присмотреться к берегам озера, вечер успел доложить о своем приближении. Деметрио слишком хорошо знал этот момент, он оглядел свои сапоги, словно печальное предзнаменование. Небо постепенно затягивалось тучами.

XII

Тот грустный вечер меня оглушил.

Пятничные вечера были самыми привольными, старики отпускали вожжи и, если мы хорошо себя вели и хорошо учи-

лись всю неделю, нам разрешали вернуться домой поздно. Я был не из тех, кто все хватает на лету, не из тех умников, что смотрят мамочке в рот, а сами не знают, откуда берутся дети, но как-то потихоньку учился, и учителя не так уж часто на меня жаловались. После полдника я спускался к берегу Науэль, даже в холода, — озеро было моим огромным водным братом, который понимал меня и ничего не требовал взамен. В тот раз я бросал с берега камни, ноги в сапогах отсырели, за временем я не следил. Вдруг вижу издалека теплую куртку и волосы, которые нельзя не узнать, золотистые, как грустные вечера возле Науэль, но прикидываюсь дурачком и продолжаю кидать камни: жду, окликнет она меня или нет, если я ее не окликну. Я был уверен, что не окликнет, но вдруг она замахала рукой и зовет: эй, Деметрио, идем покурим в лесу. Я хотел было сказать нет, поломаться немного, но вдруг вижу, что поднял руки и несусь к ней по берегу, как последний кретин.

Когда мы смотрели друг другу в лицо, я не мог не нервничать; хорошо еще, что у нас были сигареты, и мы делали вид, будто молчим нарочно, чтобы спокойней и сосредоточенней курить. Волосы у нее совсем растрепались, и легчайшие яркие пряди рассыпались по плечам; какая ты красивая, думал я, но молчал, потому что курил, какие у тебя прекрасные глаза. И тут она, бедняжка, закашлялась, не такая уж она была отпетая курильщица, и тогда я то ли хлопаю ее по спине, то ли приобнимаю, не поймешь, а она вроде уклоняется, но в то же время льнет ко мне, и вот она еще кашляет, но уже не взахлеб, и в следующую секунду мы молча смотрим друг на друга, очень серьезно, и я впервые вижу ее такой же испуганной, как я сам, еще более красивой, чем обычно, и, не знаю как, скорее всего, чтобы прервать неловкость, наклоняюсь и целую ее, дышу ей в рот, а она обхватывает меня и крепко прижимает к себе, и больше мы друг на друга не смотрим, все произошло вслепую, я сверху, все еще в куртке, лезу ей за пазуху и нащупываю груди, твердые и холодные. Знал я мало и просто перешел к делу, стащил кое-как с нее джинсы, она поддалась, хоть и не помогала, но и не сопротивлялась, шумно дышала и все время целовала меня, словно в отчаянии. И когда все уже было в порядке, и я чувствовал, что кожа ее ног трется о мои бедра, тогда это случилось: страх поднялся в груди, парализовал кровь, ее лицо затуманилось перед моими глазами, вместо него появились тысячи других видений, не имевших никакого отношения к происходящему, меня охватило чувство вины и раскаянья, мне хотелось кричать, оказаться дома, жевать свой полдник или стать вдруг лохом похуже тех, что целыми днями зубрят уроки; я перестал слушать ее дыхание, чувствовать ее ноги, зато услышал каждое насекомое в лесу. Некоторое время я

еще двигался, один, над лежащим подо мной телом, пока весь холод ночи, весь страх, а потом — весь стыд не собрались внутри меня в одной неподвижной точке.

XIII

Более оживленный в воспоминаниях, чем наяву, проспект Независимости замер и опустел. Время от времени какое-нибудь бодрствующее такси или автобус проезжали в сторону проспекта Девятого июля. Деметрио и Негр собирали пакеты на углу, когда вдруг из горы пластика и объедков выскочила подвижная масса неразличимого ночью цвета, заставив их отпрянуть и инстинктивно закрыть лицо. По-звериному разодранная дыра обнажила влажные внутренности пакета, и через секунду оттуда вылетел второй упругий силуэт и присоединился к первому, чтобы вместе удалиться, играясь, как две задорные марионетки. Деметрио пробрала дрожь. Они молча продолжали работать.

С того дня, как Негр опоздал в гараж на двадцать минут, он выглядел спокойным, но именно поэтому Деметрио подозревал неладное; Негр расторопно работал и, как обычно, с наступлением утра свистел женщинам из окна грузовика и громко хохотал. Деметрио боялся спрашивать, но воображение подсказывало. Глянь-ка, глянь на эту, Деметрио, еле идет, обтянулась вся, чертова шлюха. Но он представлял себе ночи, заполненные криками и скандалами, когда детей укладывают пораньше, потому что завтра в школу, заботливо целуют, прежде чем погасить в их комнате свет, а потом заводятся, яростно, выдвигая друг другу претензии, которые Негр всякий раз обрывает первым. Они вошли в бар на улице Боливара и сразу заметили, что Которышки нет. Официант казался встревоженным, как будто безлюдье в заведении стало для него очевидным только теперь, когда больше не надо каждое утро подавать Коротышке три-четыре стакана красного. Привет, дружище, парочку сандвичей и два кофе, мне без молока, потому что я сегодня никакой, объявил Негр и положил локти на стойку. Деметрио пошел в туалет и, расставив ноги, встал над писсуаром. Когда он уловил теплые испарения мочи, его вдруг охватило смутное чувство вины.

На свалке им сообщили хорошую новость: их грузовик отремонтировали, и он готов к работе. Деметрио и Негр хлопнули друг друга по спинам и отправились в разные стороны: Негр — на вторую работу, Деметрио — в центр. Он вышел из автобуса на улице Марсело Торкуато де Альвеар и пошел по Либертад, самой чистой и необычной улице из всех его маршрутов. Он задержался перед огромным игрушечным магазином. Не увидев на витрине того, что искал, вошел и спросил продавщицу — она принесла

ему три коробки. Одну, с каким-то нелепым лесом, он отложил сразу; на вторую посмотрел с сомнением, почти с тревогой и, наконец, впился глазами в третью. Он разглядывал ее, не шевелясь. Огромный серый небесный мешок вот-вот лопнет над соснами. Свет тревожно мечется по озеру. Продавщица почувствовала неловкость и начала обслуживать других покупателей у прилавка. Деметрио стоял, как каменное изваяние, держа коробку обеими руками.

Он закрыл дверь и сразу прошел в комнату, к столу. Осмотрел старый пейзаж, уже законченный: небо сомкнулось, все цветы на месте, домишко готов противопоставить зиме прочные стены и дымок, озерная гладь нигде не прерывается. В окно слышен металлический звук кошачьего мяуканья. Деметрио оставил купленную коробку на столе, осторожно положил законченный пейзаж в другую коробку и лег без обеда, следя краем глаза за распластанными возле кровати черными сапогами.

XIV

Узенькие листья, ароматный папирус. Небольшой треугольник зеленой крыши, скорее всего, самый свод. Берег с нисходящими скалами. Заросшие травой расселины. Серо-белая яростная стихия, рваная, над вершинами гор. То и дело пенная рябь на воде. Гроза уже близко.

Араукарии показывают изящные, едва проклюнувшиеся пальцы, немного дальше все желтое, островками, пока разрозненными — наверно, альстромерии. Серый с лиловым отливом озерный ковер слегка топорщится, вздувается и опадает в предгрозовом волнении. Горизонта не видно, только нечеткая поверхность воды, и все цвета непрерывно меняются.

Еще, похоже, просматривается легкий, неразветвленный силуэт, небольшая крона только наверху. Но Деметрио не помнил, чтобы в этом месте рос кедр.

XV

Коротышка не появлялся четыре дня. Официант, Деметрио и Негр о нем не говорили и от этого его отсутствие в углу, среди пустующих столов, становилось еще заметнее. Но в то утро они оказались не одни: в бар зашла позавтракать женщина средних лет, с унылым выражением лица. Сообщив, что только что отвела дочку в школу, она плюхнулась массивными ягодицами на вращающийся стул. Ее одежда производила странное впечатление: в такой не ходят за покупками и по домашним делам, но для официальных выходов она тоже не годилась. Поза посетитель-

ницы говорила о какой-то неловкости, которая читалось и в ее глазах. Они оба за ней наблюдали. Вдруг Деметрио с ужасом осознал, что она похожа на жену Негра, и опасливо покосился на напарника, как раз вовремя, чтобы заметить его вытаращенные глаза, хотя тот сразу же привычно подмигнул. Деметрио еще раз оглядел распластанные до края сиденья ягодицы и настоял на том, что сегодня он платит за двоих. Они быстро вышли из бара на жестокий холод.

Придешь в Бомбонеру[1] в воскресенье? Наши играют с "Циклоном", в этом году мы их били, как детей, побьем и в этот раз, вот увидишь. Не могу, Негр, прости, в воскресенье я занят, но ты не горюй, пойдем в следующий раз, обещаю. Ладно тебе, предатель, будешь еще говорить, что болеешь за "Боку"[2]. Честное слово, не могу, Негр. Будешь еще говорить, что болеешь за "Боку", слышь? Они оставили грузовик на стоянке среди других машин, сняли спецовки и попрощались. Деметрио смотрел, как Негр бежит по улице (сегодня не успею, пропади все пропадом, глянь, который час, да еще маршрутка то и дело опаздывает) с обычной своей неуклюжестью, казавшейся в нем трогательной и даже симпатичной. Когда Негр скрылся из виду, Деметрио не спеша пошел обратно по бесконечному краю гигантской ямы, которую они подкармливали каждое утро. Его заворожила хаотичная мозаика линялых оттенков, и в какой-то момент показалось, что они с ямой смотрят друг на друга и одновременно зевают.

Кругом ощущалось пятничное оживление. Прохожие на улицах, пассажиры в автобусах, пока еще спрессованные в толпе, уже готовились разбежаться и обсуждали все те же унылые, затасканные темы энергичнее, чем в другие дни. Деметрио закрыл глаза и, ощущая каждый толчок и рывок автобуса, радовался этому дню, предстоящим выходным, вольготности, которую чувствуешь только в пятницу, когда отдых еще впереди.

XVI

Жалюзи, похожие на неторопливые веки исполина, открыли глазам молочное небо. Скудный свет размывал все предметы до белесости. Деметрио раздраженно вспомнил субботу, которую добил при помощи сна. Он не смог ни прогуляться по улицам, ни спокойно почитать газету, время прошло бессмыслен-

1. Футбольный стадион в Буэнос-Айресе. Настоящее название – стадион Альберто Х. Армандо.
2. Район Буэнос-Айреса и название футбольной команды.

но, разрушив привычное течение дня. Даже к столу в гостиной он не присел ни разу. Зато ел, когда попало, смотрел телевизор, почти не понимая, что именно смотрит, вечером лег спать в обычное для нормальных людей время и в конце концов возненавидел такой отдых. Он вышел из комнаты со смутным ощущением, что его обманули, и постарался не смотреть на черные сапоги. Без аппетита поел. Хотел почитать на кухне газету, но мысль о том, что надо идти ее покупать, энтузиазма не прибавила. Мало-помалу он с тяжелым сердцем осознал: воскресенье — это тоскливое тяжкое утро, безрадостный обед в полдень, футбол, крик, Бонбонера и предательство во второй половине дня.

Он принял душ, довольно тщательно оделся, решил не обедать, оставил черные сапоги у двери до своего возвращения и вышел на улицу. Машины сонно проплывали между тротуарами. Чакарита томилась, ожидая полудня. Деметрио дошел до остановки. Старик, немного похожий на Коротышку, наблюдал за ним, опершись на палку. Деметрио закинул голову к небу, ощутил на лице вязкое прикосновение света, ветерок холодил влажные волосы. Он огляделся: город втягивал голову в плечи. Деметрио решил не ждать и пошел на станцию “Лакросе”. По мере того как он спускался по матовым металлическим ступенькам, картина вокруг становилась все подозрительней. Он чувствовал, что старик идет за ним следом, и ускорил шаг, стараясь быстрее оказаться под землей. Обернувшись пару раз, он ступил на эскалатор и съехал на платформу. Там он заглянул в тихую темноту тоннеля и сначала ничего не увидел, но вдруг расширяющаяся точка и нарастающая дрожь лишили рельсы покоя, все напористей возвещая о себе; визг усилился, и вот уже его ослепило мощное, дурманящее око; сталь надрывалась в преумноженном грохоте, ускоряющем темп, пока не заполнила весь тоннель и всю платформу, окончательно оглушив Деметрио. Двери распахнулись, он шагнул внутрь. Состав тронулся, но, оказавшись в вагоне один, он на какой-то миг забыл, куда едет.

На станции “Карлос Пеллегрини” Деметрио вышел и окунулся в серый полдень. Хотел было пройтись пешком, но невыносимая лень не позволила. Доехав на автобусе до парка “Лесама”, он пересек его, как оазис: здесь чувствовался город, радость воскресенья, населенного голосами, велосипедами и запахом яблок в карамели, танцующей осью с лошадками, которые то взлетали, то опускались, держа на спинах маленьких удивленных наездников, футболистами, бредившими футболом и делившими в игре пластмассовый мяч, другими велосипедами, двухколесными и трехколесными, неутомимыми качелями; одеждой и мелким гравием, непрерывной беготней туда-сюда, взяв-

шись за руки, продавцами прохладительных напитков, бесчисленными деревьями. Деметрио задержался на краю парка и немного побродил по листьям и земле. На другой стороне дороги он опять прибавил шаг и добрался до Боки, до одной из улиц, которую хорошо знал и люто ненавидел, до заброшенных железнодорожных путей, покрытых травой, до растрескавшегося асфальта, до того угла, где собирался тайком ждать, пока Негр выйдет из дома и отправится в "Бомбонеру".

Он ушел ровно в семь, хотя знал, что Негр, скорее всего, вернется не раньше восьми, а может, и позже, если друзья напьются или если команда выиграет. Снова миновал те же непригодные ржавые рельсы, прошел по той же улице. Он еще чувствовал запах женского тела и духов, легкий, тошнотворный, провоцирующий отвращение, но, одновременно, желание и забытье. В паху до сих пор пульсировала кровь, приятное тепло разливалось внизу живота, он чувствовал что-то вроде отголоска прикосновений сбоку от ягодиц и вокруг талии, жжение от укусов на шее, легкую спутанность волос на руках и густой кисло-сладкий привкус у основания языка. Но от всех этих приятных мелких ощущений отвлекал глухой, назойливый голос, заставлявший его испытывать отвращение, отвращение к самому себе, к раннему воскресному вечеру, к тому подлейшему безразличию, с которым он думал о завтрашнем утре и о Негре.

XVII

Альстромерии, скопление пятен пшеничного цвета. Постаревшее небо теперь стало заметнее: на него указывает араукария (ствол дерева покрыт светотенью; слева, со стороны берега, в облаках начинается странное волнение, угрожая лазурным прорехам). А вот этого не было: на другой стороне взметнулась макушками мачт сосновая роща. Линия горизонта, которой пока нет, ограничит бег воды, над ней высятся кряжистые хребты большой горной цепи, гигантской костлявой рептилии. Пока в складках ее кожи лежит лишь немного мертвенно-бледного холода, вырисовывается только одна из вершин.

Он задает себе вопрос, не прячется ли где-то в тени, в какой-нибудь выемке этого пейзажа, может быть, за альстромериями, на камне у берега, прекрасная, манящая фигура с бледным лицом, с копной волос цвета тусклого, подернутого пеплом рубина, этих вечно струящихся, пунцово-красных нитей, которые он желал, перебирал, нюхал холодным вечером, наполненным травами и видениями.

Гроза надвигается и ветер нагоняет пугающие, черные громыхающие тучи. Вода перемещается, вспениваясь на ходу.

XVIII

Пока они застегивали спецовки, он не сводил глаз с Негра. Дул порывистый ветер. Ночью отбросы начинали бродить, и смрад заставлял содрогнуться даже самых бывалых. Деметрио следил за движениями Негра, который никак не мог справиться с "молнией". Наконец он помог ему и поторопил его. Негр коротко кивнул, они сели в грузовик и выехали из гаража.

А знаешь, что? Моя жена, похоже, образумилась, поверь, дружище, уж я-то за ней внимательно слежу. Бедняге хорошо досталось, я ей устроил разгон от души, всю ночь мозги вправлял, а она сидела паинькой и помалкивала. Да, знаю, хотел ее бросить, избить до смерти, но что поделаешь, Деметрио, нужно прощать, если хочешь, чтоб и тебя прощали, и потом, она права, как я могу подложить такую свинью детям, ведь они еще маленькие, и что же, прожив в доме столько лет, мне уходить? В другой дом? Нет уж, дудки! Дело ясное: вцепилась в первого встречного болвана и трахнулась с ним от тоски и одиночества, как ты и говорил, именно так все и случилось, да прямо в моем доме, это-то меня больше всего и бесит. Но я не олух какой-нибудь, сразу смекнул, потому что вижу, она постель меняет, хотя меняла только вчера, ха-ха, своему папочке пудри мозги, не мне. Ну, этим и кончилось, сказал ей пару ласковых, но ты б ее видел, Деметрио, клянусь, не узнал бы: на коленях стояла, сплошное раскаянье, говорила, что любит меня, что неужели за одну ошибку я так ее накажу после десяти лет преданности. Зато теперь готовит — пальчики оближешь, как в доброе старое время, ждет меня и всегда не прочь идти со мной в комнату, святая душа. Деметрио кивнул, хлопнул его по плечу и сказал, правильно поступаешь, Негр. Улица Дефенса терялась впереди, как узкий темный коридор. Какой-то звук привлек внимание Деметрио и заставил внимательно прощупать пакет — он снял перчатки, развязал узел и нашел на дне несколько кусков фарфора. Это было десертное блюдце, расколотое на три части. Белое блюдце из старого дома, где подают чай. Он нагнулся, положил на землю осколки и сдвинул их вместе; оказалось, что в середине недоставало треугольного кусочка. Торопливо порывшись в пакете, он ничего не нашел. Тогда соединив, как сумел, осколки, он связал пакет и запрыгнул в грузовик, оставив блюдце на углу Дефенсы — сервировку для угрюмого холода.

XIX

Прощание с Коротышкой назначили на семь вечера среды, а похороны — на следующее утро, в восемь. Узнав об этом от рас-

строенного официанта, которому сообщил неизвестно кто, Деметрио и Негр договорились созвониться и решить, могут ли они пойти. Нужно было выяснить, отпустят ли Негра со второй работы, при условии, что Деметрио откажется от вечернего сна. Негра не отпустили, по крайней мере, так он сказал. Тогда они попробовали договориться с мусороуборочной компанией и получили ответ, что все решаемо, но им урежут на полтора часа отработанное время (или на два, для круглого счета), с шести тридцати до восьми — на официальное время разгрузки мусора. Деметрио предложил выйти на работу в час ночи. Негр отказался, сославшись на усталость, начальство его поддержало, напомнив, что в час ночи тот грузовик, который они оба так хотели получить обратно, будет еще занят и освободится только в три, и что, как ни крути, перестановки смен и изменение графика работы машин потребуют перетряски всего рабочего расписания, но ради полуторачасовых похорон компания на это не пойдет. В конце концов было решено, что они закончат смену раньше, и им вычтут два часа, хотя, судя по их лицам, такое решение никого не обрадовало.

Они собрали мусор с мстительной медлительностью, проволынившись на Дефенсе, устало уложили пакеты на углу проспекта Независимости и улицы Перу. Разгрузив и кое-как запарковав машину, сняли спецовки и обрызгали себя одеколоном. До центра ехали на автобусе, оттуда взяли вскладчину такси, простояли во всех городских пробках и с небольшим опозданием, минут в десять девятого, добрались до входа на кладбище Чакарита. Похороны еще не начинались. Народу было мало, человек восемь-девять, включая священника, двух могильщиков, Деметрио, Негра и официанта, который от огорчения не открывал бар ни в тот день, ни в среду. Кроме них похорон ждал какой-то нелепый человечек с портфелем, в травленом молью костюме.

Деметрио заметил, как могильщики подали сигнал священнику, и тот торжественно, с опущенной головой, двинулся вперед. Все, включая человечка, пошли вслед за гробом, который несли двое кладбищенских рабочих. Раздались одинокие рыдания, ими давилась старуха в трауре и, чтобы скрыть свою боль, горбилась все сильнее. Ее никто не поддержал, и вскоре она затихла. К ним подошел официант. Деметрио изумился, увидев на нем галстук вместо бабочки; рубашка и брюки были те же, что и в баре. Официант прошептал: я думал, у Коротышки нет жены. Ясное дело, сказал Негр, бедняга всегда таскался один, вот мы и считали, что он не женат. Нет-нет, это мне сам Коротышка сказал. Что сказал? Что он вдовец.

Пока священник тарабанил молитву, Деметрио решил, а может, почувствовал себя обязанным посвятить Коротышке

какое-то воспоминание, самое последнее. Хотелось по-доброму представить себе его среди пустующих столов в баре на улице Боливара, но он понял, что не может вспомнить Коротышкино лицо. Он помнил седую шевелюру, почти всегда прикрытую серой кепкой с пуговкой, помнил слезящийся блеск близко посаженных глаз, помнил пронзительный надтреснутый голос; но как выглядело его лицо? Он шепотом спросил об этом Негра, но тот только шикнул и приложил палец к губам. Могильщики знаком показали вдове, что она может бросить горсть земли на гроб мужа, которому сейчас (подумал вдруг Деметрио) оставалось бы выпить последний утренний стаканчик красного. Сразу после молитвы священник и могильщики исчезли, остальные молча разошлись.

Возле кладбищенских ворот их остановил человечек, с интересом пронаблюдавший за похоронами. Он поставил портфель на землю и представился: меня зовут так-то. Деметрио и Негр смотрели на него с изумлением, и Негр спросил, что ему надо. Человечек протянул руку для прощального рукопожатия и сказал, что ничего не надо, что ему поручили проверить, действительно ли они собирались на похороны родственника, близкого человека или друга, что он в этом полностью убедился и таким образом выполнил свою миссию, а раньше не ушел из уважения к вдове и еще потому, что ему нравятся похороны. Сказав все это, он снова протянул руку, поднял портфель и исчез прежде, чем они успели дойти до выхода.

XX

Хотя бы в этот раз Деметрио не пришлось долго ехать домой. Негр отправился на вторую работу своей обычной походкой, то ли спотыкающейся, то ли торопливой, то ли решительной, то ли неуклюжей. Деметрио сунул руки в карманы, чувствуя, что вернулся из долгого путешествия и ему нужно все вспомнить: окрестности станции “Федерико Лакросе” и переполненный девяносто третий, разбитые тротуары, ободранные углы на перекрестках, постоянную морось, туманившую Чакариту даже в те дни, когда погода казалась хорошей. За короткий путь он понял, что не хочет спать, и даже растерялся: не было в мышцах привычной глухой истомы, вызванной усталостью, и Деметрио вдруг захотелось пойти к Веронике. Он вспомнил ее дешевые духи и дурманящий запах пота, представил себе ее немного отвислые груди, качавшиеся в порыве желания, как два близнеца, широкие, но крепкие бедра, обрамлявшие мучнистые ягодицы и прячущие черную скважину зада. Чувствуя слабую эрекцию, которой мешали изгибы брюк, он засомневался:

заходить в лифт или развернуться и поехать на автобусе до парка Лесама, перейти старую железную дорогу возле дома на улице Арнальдо де Эспосито и подняться на ненавистный десятый этаж, чтобы еще разок попользоваться женой своего приятеля.

Но он вернулся домой. Осторожно открыл дверь, как будто с ним жил кто-то еще, кого он не хотел будить. Прошел рядом со столом в гостиной, даже не взглянув на него. Взял вчерашнюю газету и сел читать. Рассеянно просмотрел новости о курсе доллара, о воскресном матче "Боки" в Росарио, о том, что некая авиакомпания до сих пор не сообщила причин катастрофы, о новой голодовке учителей в Катамарке, о визите президента республики в Соединенные Штаты и о том, что, согласно источникам в Комитете по каким-то исследованиям, ожидаемая вакцина может появиться в ближайшие десять лет. Он быстро устал и подумал, что это хороший знак. Веки отяжелели, желудок бунтовал. Было почти двенадцать; он решил, что поест, проспит до восьми, потом примет душ, наденет черные сапоги и будет работать за столом в гостиной, пока не придет время собираться на свалку. По дороге на кухню он представил себе тарелку макарон с томатным соусом, а потом отдых с его нехитрыми удовольствиями и забытьем.

XXI

Призрак прекрасной манящей фигуры гнался за ним по полю альстромерий, отмеченному приближающейся грозой. На самом деле он шел сзади, это она мчалась впереди, в белой рубахе, какую носит смерть в юном обличье, недосягаемая, как порыв ветра, заставляя полы савана развеваться так, что они путались в ногах, и, тем не менее, да, это именно она преследовала его.

Он рывком сел в кровати и запрокинул потный лоб к потолку спальни, до восьми было еще далеко. Он торопливо выскочил из постели. Босиком, чувствуя давление в пижамных штанах, со смутным воспоминанием о каком-то помрачении, он закрылся в туалете и принялся мастурбировать так, как будто ему приказали. И снова черные сапоги, легкий ужин, неспешные машины за окном, стол и пейзаж с неспокойным небом, поигрывающим сероватыми облаками, словно мышцами, каменистый берег Перито-Морено[1], или Науэль-Уапи, или того и другого, кедр, который не должен быть кедром, сосновая роща рядом с берегом, более светлая изнутри. Он ищет альстромерии, перетряхивает коробку с фрагментами неба, травы, воды,

1. Ледник в национальном парке Лос-Гласьярес.

дерева; чувствует, как они увлажняются, словно в пароварке, и угадывает, что вот это желто-коричневое, мелкое и беспорядочное и есть то, что он ищет. Он пробует и — да, понемногу на столе вырастают незаконченные стволы леса на острове Виктория, на берегу озера, куда в сезон приезжают туристы, чтобы фотографировать желто-красное цветение альстромерий и неподвижное время. Летом, вслед за запахом влажной древесины, появлялись бестолковые туристы и все портили, но именно летом можно было придумывать себе свободу и экскурсии на остров в компании девушки с полыхающей гривой и снежно-белыми щеками, знавшими, как об нее не обжечься. Разговоры, сидя на бревнах, игра в курение, туристы, которых гнали цепочкой по самым непривлекательным тропам, пока эти двое нарочно шли в другую сторону, ложились под пышной кроной и учились ласкам, более приятным, чем зимой.

XXII

Она боялась, это было видно по глазам, хотя выглядела спокойной. Я до сих пор помню, что, заметив ее страх, почувствовал себя смельчаком... Она впервые испугалась по моей вине, и от этого стала для меня еще желанней. Ей нужна была моя защита, а, значит, я в защите уже не нуждался. Как же мы останемся здесь на ночь, спрашивала она, что мы завтра скажем дома? Да брось ты, солнышко, сейчас ведь лето. Я успокаивал ее и чувствовал себя вполне взрослым мужчиной, будучи на два года моложе нее.

Избежать встречи с лесником было просто. В полной эйфории мы смотрели, как отчаливает последняя лодка с туристами. В этот момент мы целовались, а потом уже ничто не имело значения, кроме рук, ее и моих. Лес был холодным, но прикосновения рук — изумительными, нескончаемыми, ее волосы потемнели, но оставались рыжими, я нюхал их, голова сладко кружилась, как в счастливом хмелю, я торопливо впивался в нее губами, одежды на ней уже почти не было, но она совсем не замерзла. Ее дыхание напоминало мне о грозах на озере и о шумно уплывающих лодках с бестолковыми туристами, которым никогда-никогда не придется испытать того, что испытывал я в ту минуту. Что же я скажу дома, Деметрио. Не волнуйся, солнышко, сейчас ведь лето, и я обнимал ее.

XXIII

Влажное свечение спецовок преодолело пелену дождя. Мусорный пластик потел, отдавал воздуху часть своей вони и в конце

концов выплескивался в тонкий ручеек, пролегавший по дну канализационных труб на улице Пьедрас. Казалось, что скользкая и блестящая мостовая проседает под чавкающими подошвами резиновых сапог. Машин не было. Негр ждал, не заглушив мотора.

Незадолго до того как войти тем утром в бар на улице Боливара, который уже никогда не будет прежним, Деметрио и Негр пристально посмотрели друг другу в глаза. Чувствуя, как капли размягчают темя и расползаются по щекам, Деметрио стоял неподвижно — понурые плечи, потерянный взгляд, волосы, похожие на темную плотную массу, — он понял, что Негр определенно ничего не знает и никогда не сможет ответить ему на его ненависть. Напарник неуклюже, с симпатией похлопал его по плечу, и это ласковое прикосновение пырнуло его в тот момент, когда дождь снаружи хлынул с новой силой. Он улыбнулся и потрепал Негра по спине.

Они сидели за стойкой и смотрели в окно бара. Как всегда во время ливня Деметрио испугался, что дождь никогда не кончится и будет его исступленно преследовать, пока не растворит кожу, мышцы и кости, пока не размоет его, как старые виноградные выжимки. Дождь воздвиг прозрачную стену вокруг того места, где они укрылись. Кофейная чашка прилипала к пальцам, горячая жидкость жгла горло. Негр с довольным видом сделал знак Деметрио, что в этот раз платит он, и отдал официанту сложенную отсыревшую банкноту, которую тот предусмотрительно расправил, прежде чем положить в кассу и отдать сдачу. Без всякой уверенности, что вода позволит ему открыть дверь, Деметрио направился к выходу. Вдруг он почувствовал запах домашнего красного вина, но не посмел обернуться к столам, пустующим в углу.

Тебе не кажется, что грузовик издает какой-то странный звук, Деметрио? Я про сцепление, звук не такой, как был перед поломкой, но очень похожий, как будто что-то оторвалось, слышишь? Как будто там, внутри, что-то оторвалось наполовину. В гараже наверняка скажут, что машина идет, как по маслу, вот увидишь, потому что они слишком заняты и, пока грузовик не развалится у них на глазах, даже смотреть не станут, ничего не слышишь, Деметрио? В сцеплении. Хрустит как будто.

XXIV

Этим летом мы три раза убегали на остров. Я постоянно представлял себе, как мы занимаемся любовью среди альстромерий, медленно и неутомимо. Нас сурово наказывали, меня нещадно били, проклинали навек, но мы снова сбегали вместе, и для меня она уже утратила свой возраст, сохранив только цвет и запах

озера и ночи, она крепко держала меня за руку и верила, что свободна, и благодаря ее надежде я тоже в это верил. Провести рассвет не дома было безумной затеей. Я смотрел на это не как на приключение, а, скорее, как на судьбу. Но в третий раз пошел дождь, затяжной, сильный, беспрерывный. Мы прижались друг к другу, закрыли глаза и не разговаривали, альстромерии дрожали, озеро словно раскалывалось по нашей с небом вине. И тогда она поцеловала меня по-другому, долгим печальным поцелуем, я его совсем не понял, но он был как окончательное решение. Именно в то утро я испытал к ней особую нежность, и с тех пор моя жизнь так и идет, выпрашивая крохи этого чувства. Не помню, говорил ли я ей, что люблю ее, и что вообще говорил, но думал об этом всю ночь, пока не убедил себя: с этого дня счастье может только убывать, а страх — увеличиваться. Когда мы, наконец, вернулись на туристическом катере — катера приходили все реже и все более защищенные от непогоды — и я ступил на берег и увидел покрытую грязью тропинку наверх, то почувствовал себя уже мертвым, но мужественным человеком.

XXV

Марио Мигель Феррандо, он же Коротышка, перестал читать прессу в том возрасте, когда мальчик становится похожим на мужчину, вскоре после открытия своего первого киоска. Его отец и старший брат продавали газеты, дед в свое время продавал газеты; прадеда Коротышки уже никто не помнил. Теперь он сам, сидя на улице Альсина между пятью синими цинковыми листами, думал, что хотел бы обучить своему ремеслу сына, если бы у него был сын. Речь шла о простом, но требовательном деле: нужно вставать до зари, на пять минут опередив будильник, чтобы выключать его уже одетым и не испытывать соблазна снова уснуть. Научиться завтракать, когда и чем придется. Уметь так дотрагиваться до первых страниц газет, чтобы не испачкать пальцы краской (как до женщины, парень, как до женщины, сказал бы он сыну, когда тот стал бы достаточно взрослым, чтобы обзавестись собственным прозвищем или навсегда унаследовать отцовское), а еще угадывать момент, когда нужно что-то подсказать человеку, нерешительно листающему газеты, или, наоборот, промолчать; не путать порядочных покупателей с теми, кому нельзя верить в долг, особенно бородатыми, потому что, по словам его отца, небритый мужчина не заслуживает доверия.

Он понял: любой читатель газет тайно уверен, что газеты пишут о нем. Марио Мигель Феррандо перестал читать газеты, когда убедился: они никогда не пишут о том, что касается лично его, и с этого дня он стал настоящим киоскером. Прошед-

шие с тех пор тридцать лет могли бы показаться очень короткими, если бы он считал дни недели по первым страницам “Ла насьон”, “Кларин” или “Кроника”: понедельник, двадцать третье, вторник, двадцать четвертое, среда, двадцать пятое, пока стопки газет таяли, вырастали и снова таяли.

Каждый день Коротышка приносил в киоск красный термос с мате. Пару раз в день, когда не было покупателей, он твердой рукой наливал себе мате и осушал термосный стаканчик одним долгим, глубоким глотком, втягивая свежевыбритые щеки. Потом выдыхал оставшееся во рту тепло и смотрел, как пар понемногу рассеивается и исчезает в ледяном воздухе. Вот так, под синим цинковым потолком, прокуривая утро, Коротышка тридцать лет ждал, когда настанет час хорошего красного вина или хорошей смерти.

XXVI

Деметрио выскочил из сто пятьдесят второго и рискованно, не соблюдая правил, перешел ратушную площадь. Оставив позади оживленные улицы, он углубился в район затененных тротуаров — небом здесь служили кроны деревьев. Прохожие встречались редко, безмятежные, хорошо одетые, с довольными лицами, иногда в сопровождении собаки. Он свернул направо и попытался найти нужную вывеску на противоположной стороне улицы. Не нашел. Занервничал. Обернулся и невольно пожал плечами: вот же она, прямо перед ним. Прежде чем войти в кафе, он попробовал разглядеть через стекло черную, чересчур блестящую шевелюру Вероники.

Две чашки дымились в центре стола, обмениваясь ароматами. Вероника курила, глубоко и нарочито затягиваясь. Деметрио то ласково на нее посматривал, то отводил глаза. Она говорила, чрезмерно артикулируя полными губами, подчеркивая мимикой свою тревогу. Но больше я не могу, Деметрио, ты пойми, мало мне было раньше, так теперь он еще постоянно словно шпионит за мной и требует, чтобы я ему ни в чем не перечила, я делаю все, что могу, вспоминаю те времена, когда мы только встречались и он хотел быть со мной счастлив, ай, Деметрио, ну возьми хоть вчера, я еле живая от усталости, представь себе, день-деньской в заботах, в детях, а он является, съел горяченький ужин, выкурил сигаретку, все замечательно, и тащит меня в комнату, и это притом, что я еле жива, но дело ясное, Деметрио, уязвленный господин может требовать и требует, но я так больше не могу. Нужно потерпеть, негритянка, я сейчас не могу сделать больше того, что делаю, ты знаешь, потерпи немного. Но как мне еще терпеть! Она посмотрела на не-

го с укором, жадно глотая сигаретный дым. Пару раз пригубила кофе. Как ты можешь, ведь сколько уже я так живу, и ты отлично знаешь, чего я натерпелась. Да, Веро, знаю, не сердись, я только хотел сказать, что нам нужно быть благоразумными. Вероника выпустила губами дым. Официант! Еще кофе для сеньориты! Не хочу больше кофе, Деметрио. Хорошо, тогда мне. Я хочу храбрости, а не благоразумия! Да, ясное дело, тебе нужно совсем другое. Мне нужен мужчина. Деметрио одной рукой сжал ее руку, а вторую положил ей на бедро. Ты сукин сын. А ты королева, Веро, королева с роскошными ногами, самая красивая. Деме, любимый, убери руку, люди заметят. Ладно, негритяночка, время еще будет. Он посмотрел на ее шею. Нежная и порочная, она так и подстрекала укусить ее или придушить. Деметрио ненавидел эти вступления, всегда в отдаленных кафе или в парках с шумящими детьми, этот словесный понос, предваряющий влажность, ее животный запах и подвижные груди — настоящую встречу. Ты неотразима, негритянка, выпей еще кофе и пойдем.

Они вышли с оглядкой, держась за руки. Моросило. Мимо пробежали двое мальчишек. Вероника некоторое время смотрела им вслед. Спустившись обратно к ратуше, они повернули на короткую улицу, уже не такую зеленую, тихую, с редкими подъездами. Почти на углу стоял гараж, рядом другая дверь из затемненного стекла. Деметрио пропустил Веронику вперед, но внутри обогнал и облокотился о стойку. Мрачный усач с необъятным брюхом слащаво осклабился. Деметрио что-то сказал, толстобрюхий ответил и протянул ему ключ. Они поднялись по ступенькам с ковровой дорожкой и нашли нужный номер в конце коридора, разукрашенного, как балаган.

Заперев дверь, Деметрио увидел, что Вероника уже оголяет грудь, похожую на зрелые плоды. Пальцами босой ноги она сняла вторую туфлю, наступив на задник. Юбка упала, как будто на нее неожиданно подействовало земное притяжение, чулки сбились вокруг лодыжек потемневшими сливками, оставив легкий след на волосках ног. Мелкие зубки впились в карминовую губу, куцый лоскут, прикрывавший треугольник лобка, натянулся и исчез, едва коснувшись ковра, живот появлялся и пропадал от неконтролируемой дрожи. В это время Деметрио немного в стороне спокойно расстегивал рубашку.

XXVII

Вероника посмотрела на него недвусмысленным, излишне откровенным взглядом. Прежде чем отвернуться и попросить еще салата, Деметрио предостерегающе округлил глаза. Стол ломил-

ся от еды. На нем были тарелки для закусок и засаленные салатницы, оплетенные бутылки красного вина, газированная вода, кока-кола, приборы с деревянными ручками (воткнутые в кусок мяса, они заставляли его истекать густым пунцовым соком), большое количество хлеба, белого, разделенного на ломти и оставлявшего между тарелками горы крошек — и все это на старомодной клеенке в синюю и белую клетку. Отведя взгляд от Вероники, Деметрио стал смотреть на двух мальчиков, весело гомонивших после каждого отправленного в рот куска. Блестящая прямая челка падала старшему на глаза. Он говорил, морща нос и показывая дырку на месте выпавшего зуба, в то время как младший то и дело перебивал его и заливисто хохотал, откинув голову и издавая пронзительный вибрирующий звук, от которого Деметрио хоть и передергивался, но с какой-то родительской снисходительностью в душе. Дети знали его имя и, приветствуя, обращались к нему запанибрата, хотя церемонно протягивали руку — так отец научил их здороваться со всеми мужчинами. Их отец, Негр, дружелюбно хлопал Деметрио по спине, подливал ему вина, временами обнимал заботливыми, энергичными руками жену, следил за своими смышлеными отпрысками с блеском в глазах, вызванным отчасти отцовской гордостью, отчасти алкоголем, и был, в конце концов, самым счастливым рогоносцем на свете, подумал Деметрио.

Принимая приглашение, он проявил не столько хладнокровие, сколько обыкновенную неосмотрительность. Они впервые обедали вместе с тех пор, как Деметрио стал спать с Вероникой, по крайней мере, с тех пор, как стал спать с ней регулярно, и все эти месяцы, четко разделяя работу и удовольствие, он полностью освободил себя от угрызений совести. Но сейчас, в присутствии обоих, важно было вести себя естественно, и Деметрио это удавалось с трудом, но не из-за моральной дилеммы (с ней он разделался давно), а из-за неудобной жалости к слепому Негру, этому добряку и простаку с угольно-черными усами и выпирающим пузом. Деметрио старался смотреть на мальчишек, сосредоточиться на жадных до всего на свете глазах, на детском смехе, простых, восторженных словах и благодаря их невинности отвлечься. Хочешь еще винца, Деметрио? Давай налью, это красное — просто улет.

Второй взгляд был быстрый, но настойчивый. Деметрио понял, что должен действовать, если хочет покончить с этой игрой, поэтому встал, взял тарелку и пошел на кухню вслед за Вероникой. Негр остался за столом куролесить с детьми, дверь почти заглушила их голоса. Она ждала его с горящими глазами, кончик языка поблескивал между зубами. Совершенно спокойно, убедившись, что неразборчивые крики в столо-

вой по-прежнему слагаются из трех голосов, Деметрио набросился на Веронику и стиснул ей грудь.

XXVIII

Деметрио вернулся домой без единой мысли в голове. Он чувствовал тяжесть алкоголя, сонливость и злость. Встав над унитазом, он некоторое время смотрел на свое отражение, пока оно не расплылось от капель мочи.

Проснулся он после восьми. Побродил по дому, дожидаясь аппетита. Устав ждать, остановился у окна, и его зрачки вспыхнули фосфоресцирующим светом закрывающихся магазинов. От Федерико Лакросе машины разбегались в темноту. Он провожал взглядом одиноких пешеходов, пока они не исчезали за углом станции. Они никогда не обменивались ни словом между собой. Деметрио хотелось бы выйти на улицу и заговорить с ними, и еще ему хотелось, чтобы в этот момент кто-нибудь выглянул из его собственного окна и окликнул и его, и прохожего, и поздоровался бы с ними, и предложил им зайти. Он вернулся в гостиную. Посмотрел на часы. Заметил, что по-прежнему не голоден, и решил не ужинать. Еще зевая, но уже предчувствуя утреннее просветление, он сел за стол и взял пригоршню деталей. Тонкоствольная, покрытая туманом сосновая роща на склоне берега была почти готова, пара кедров охраняла спуск к скалам. Поле альстромерий, похожее на скрупулезно исписанный пергамент, как будто разорвалось в преддверии неминуемого урагана и отдавало ветру каждый лепесток. Хаос чувствовался в скалах и в пене, но не хватало главного. Деметрио порылся в изрядно опустевшей коробке. Призрачная фигура с затененным, прекрасным, манящим профилем исчезла.

Они осмелились хотеть друг друга. Их связали необъяснимые, но могучие узы проснувшейся плоти. Он вспомнил поцелуй на ветру, уже по-осеннему колючем, перед тем как они пошли каждый по своей тропинке. Он поцеловал ее спокойно и уверенно, как человек, готовый принять наказание. Но ее взгляд и обнявшие его руки были не так решительны, страх пересиливал эйфорию от разгадки тайны, которую так тщательно скрывали взрослые. Когда они прощались, высокие ели словно наклоняли к ним свои ветви, стараясь защитить. Но когда он остался один на пути к угрюмо поджидавшему дому, он вдруг подумал, впервые с тех пор как они отправились на остров, что его храбрость, возможно, была ошибкой. Отец поджидал на дворе, он первым услышал шаги или почуял его приближение острым нюхом тирана, которому бросили вызов. Он поджидал во дворе у крыльца с длинной кедровой палкой в руке.

Два месяца взаперти. Ночами скрип дерева лишал сна, с которым у Деметрио и без того было плохо. Днем в доме стояла липкая жара и непрерывный птичий гомон. Именно в это время, когда он не мог ни погоняться за кошками, ни ощутить дыхание озера, появилась последняя причина для бессонницы: в одном из шкафов он обнаружил два старинных пазла на пятьсот деталей, отсыревших и покрытых пылью, и занялся ими в надежде довести себя до изнеможения и забыть ее скорбную фигуру в пелене волос, которую увидел тогда в сумерках.

XXIX

Это утро выдалось хмурым и неприветливым. Деметрио стал свидетелем двух происшествий, окончательно убедивших его в том, что он не имеет отношения ни к этому городу, ни к толпам его обитателей, что он определенно далек от всех горестей бесчисленных пешеходов, водителей, торговцев, попрошаек, полицейских, студентов и проституток. Они с Негром начали уборку на проспекте Независимости точно по графику. Ледяной ветер из порта дул не в привычном направлении, а упорно набрасывался на все подряд, заставляя улицу неуверенно покачиваться, вместо того чтобы встряхнуть ее разом; он врывался во флуоресцирующие спецовки Деметрио и Негра, гулял в каждой складке, залезал в штанины и рукава. Они монотонно и молча работали, в пять утра Негр грузил пакеты в задний отсек, а Деметрио, дожидаясь его за рулем, вдруг заметил двух типов, нервно ковырявшихся в дверце серого "форда-фалькона". Они находились на другой стороне улицы, и Негр не мог их видеть, но с переднего сиденья картина открывалась, как на ладони: один из типов стоял впереди и прикрывал напарника, пока тот, изрядно промучившись, не взломал замок и не влез в машину, где возился примерно минуту, а потом пригласил в нее своего приятеля. Только тогда Деметрио понял, что нужно было сообщить Негру, выйти из грузовика самому или хотя бы сейчас, пока машина еще не тронулась с места, перейти улицу и попробовать помешать им улизнуть. Ничего этого он не сделал, даже не шевельнулся, просто следил за резкими маневрами "форда", пока тот не растаял в конце улицы. Деметрио отлично понимал свою задачу: записать нечаянно осевший в памяти номер машины и сообщить об угоне в полицию. Как раз в нескольких метрах от него, перед поворотом на Дефенсу, находился полицейский участок Сан-Тельмо. Он знал, что, сам того не желая, отлично запомнил лицо, внешность и даже одежду одного из субъектов и приблизительно — внешность и куртку второго. Но даже не попытался выйти из

грузовика, и, когда Негр, наконец, забрался в кабину с другой стороны, не нашел в себе сил рассказать об увиденном.

Второе происшествие случилось, когда сбор мусора подходил к концу, и рассвет лениво и словно нехотя первыми тонкими мазками рисовал утро. Хорошенькая девушка лет пятнадцати или чуть старше, из тех, что нравились Негру, торопливо шла мимо, прижимая к груди папку — девушки такого типа производили бы впечатление взрослых женщин, если бы в их походке не чувствовалось столько радостного смущения. Деметрио хотел было показать ее Негру, занятому пакетами, но увидел, что из подъезда вышел мужчина и пошел за ней. Прежде чем они свернули за угол, преследователь уверенно оглядел ее ноги и обтянутые юбкой ягодицы, прильнул к ней и что-то сказал на ухо. Деметрио видел происходящее болезненно ясно, невыносимо отчетливо: она напряглась и пошла медленнее, немного задрав подбородок; вдруг оба развернулись и пошли обратно, он — держа ее за талию, она — изогнув спину и пытаясь избежать прикосновения ножа. Деметрио продолжал сидеть и смотреть сквозь стекло на искаженное лицо девушки, и в этот момент в его голове прозвучал отдаленный голос. Этот голос уже обретал смысл и складывался во что-то похожее на предостерегающий крик, когда Негр, весь в поту, забрался в грузовик и велел трогаться, быстрее, давай же, чего ты ждешь, поехали. Дни и недели напролет Деметрио будет повторять себе, что это не он, не он, а его руки и ноги, действуя бездумно и механически, повернули ключ зажигания и торопливо повели грузовик, стараясь не пропустить зеленый сигнал светофора.

XXX

Через неделю мне стало легче. Ведь я был на грани срыва, а домашний покой, хоть и злил временами, помог мне прийти в себя. Настоящие беды начались, когда тишина стала невыносимой, а влажная древесина напоминала, что за окном еще лето, и солнце по-прежнему разбивалось о водную гладь, когда я в полной мере понял, что на самом деле один на всем свете.

Именно тогда начались беды. Я и раньше не умел спать, как мой старик — тот заваливался в кровать и, если не использовал ее для выполнения супружеского долга, что случалось очень редко, без задних ног отключался на свои законные шесть часов. Я унаследовал от него почти все недостатки, но тут я пошел в деда Хасинто — он, как мне рассказывали, закончил дни, сойдя с ума от бессонницы. Я никогда не умел спать, но эти два месяца навсегда оставили мне темные круги под глазами. Держаться на ногах удавалось только за счет сиесты, когда после

материного обеда, перегруженного калориями что летом, что зимой, я проваливался в сладкий сон. Но через два-три часа просыпался, и бессонница преследовала меня весь остаток дня и почти всю ночь с короткими интервалами забытья, которое обычно прерывала какая-нибудь мысль или внезапный страх. Именно тогда пришло время бед и бездарных попыток от них избавиться. И пазлы. В детстве я сложил их несколько, но мне всегда казалось несусветной глупостью часами восстанавливать уже напечатанную на крышке фотографию, вместо того чтобы играть с кошками или прятаться в укрытии среди елок. Но это, если тебе постоянно не хватает времени, если время для тебя — праздник, которым торопишься насладиться, пока он не кончился; но сейчас, когда казалось, что часы перестали сменять друг друга, что ночь — не сегодняшняя, а та же самая, первая — все тянется и тянется, тогда любое занятие, особенно связанное с наведением порядка, как минимум спасает от безумия...

Деметрио видел: ураган входит в силу, коварная пелена загустела, проникла в прибрежные сосны и заслонила тусклый горизонт. Неистово полыхающие канделябры араукарий, изломанные ветром альстромерии — все сливалось в правдоподобную и устрашающую картину, совпадавшую с фотографией на коробке. Домика на ней не было, но он помнил его так же отчетливо, как переливающиеся неоновые огни, которые окрашивали стекла его квартиры.

Под утро я думал только о ней. В комнате, сидя под настольной лампой, слабо светившей неприятным желтоватым светом, я то и дело бросал работу и возвращался на остров Виктория, к альстромериям, к черной рыхлой земле, к ней. Я запрещал себе это, только не думай, не смей, но каждый раз легчайшая дрема переносила остров на мой стол или мою комнату — к озеру, и я пытался представить себе такую фотографию, которая была бы чем-то вроде воспоминания о моих мечтах и чтобы все происходило на ней, на моем столе. Не знаю. Но одно могу сказать точно: именно тогда начались беды, определенно тогда.

XXXI

Две чашечки кофе, парень. И не суетись, сегодня у нас есть время. Негр говорил высокомерным тоном, хорошо знакомым Деметрио и особенно бесившим его без четверти восемь утра. Негр посмотрел на него и подмигнул, Деметрио ответил ему пустым взглядом, но не окатил презрением, как делал обычно в другое время суток. Вот так-то, думал Деметрио. Спохватился, да поздно, и теперь подмигиваешь мне, как кретин. Он отвлекся и поглядел туда, где обычно сидел

Коротышка: от одного из столов убрали стулья, и на нем по диагонали лежала засушенная роза.

Было почти десять. Измученный, чувствуя мелкую дрожь во всем теле, постоянно соприкасаясь с чужой одеждой и чьими-то руками и ногами, Деметрио старался не задохнуться в девяносто третьем. Мимо окна проплыла утопающая в зелени площадь Франции, взятая на абордаж детьми и воскресными толпами, сразу за ней появилось кладбище Реколета, империя за белой стеной, охранявшей известных мертвецов, не таких, как он, кому придется отправлять свои кости в старую землю Чакариты, где имя пишут на плите или на позолоченной табличке ниши колумбария. Так что я обрету покой там, где нахожу его сейчас, иными словами, умру там, где живу, отлично! и с этой мыслью он снова принялся смотреть в окно.

Казалось, улица Федерико Лакросе вот-вот окаменеет. Каждая сцена тянулась дольше, чем нужно, непредсказуемо долго, пешеходы переходили улицу целую вечность, люди выплывали из метро медленнее медленного; продавцы гаррапиньяды, зажигалок и авторучек, выкликая свой товар, никак не могли закончить фразу, их замороженные крики протяжно зависали на перекрестках; автобусы, остановившись в Чакарите, не трогались с места. Деметрио плелся к дому, проталкиваясь свозь толпу. Когда он, наконец, отпер дверь своей квартиры и закрыл ее за собой, все вокруг перестало казаться замедленным и вернулось в свое обычное состояние, он принял душ и даже испытал что-то вроде удовольствия. Беспорядочно просмотрев газету, он приготовил салат из холодного риса, яйца и нарезанных кружочками помидоров и кусок жареной телятины с большим количеством соли. Налил себе вина и проглотил все это с упоением голодного человека. Закончив, он перешел в гостиную и сел в кресло с бутылкой граппы, зажав стакан между колен. Он торопливо осушал стакан за стаканом, пока не увидел незнакомый жилой дом, не услышал отдаленный шум мусороизмельчителя, перекрывающего голос Негра, который ругался с Вероникой, и не почувствовал, что его собственное дыхание пахнет лумой. Тогда он поставил бутылку на стол. Шатаясь, добрался до постели, устроил свое тело между простынями и увидел чудовищный сон. Проснулся он в восемь, совсем ничего не помня.

XXXII

Вероника рычала ему в шею. Обернув его ногами, исступленно дергая за волосы, вжимаясь животом в живот, она кончила, изогнувшись дугой, и рухнула, как будто ее разрубили на куски. Немного погодя они рычали вместе, на этот раз не видя друг дру-

га, она — вжимаясь ладонями и коленями в постель, он — держа ее за талию, двигаясь вперед и назад. Момент необъяснимого ослепления, полной дезориентации и внезапный покой в общем поту. Вероника зажгла сигарету и повернулась лицом к потолку, глядя в невидимый горизонт, который открывается удовлетворенным любовникам. Они долго молчали, потом она заговорила. Ты мне всю жизнь отравил, Деметрио, ты должен что-то сделать. И он сделал: набросился на нее, заломил назад руки и крепко стиснул. Она вырвала руки, перевернулась, села на него верхом, стиснула ногами и с бесконечной злобой отхлестала по щекам. Потом начала целовать и двигалась деликатно, очень нежно.

XXXIII

С каждым разом публика на улице Корьентес выглядела все наряднее. Театры заполнялись, в кинозалах поменяли кресла, в круглосуточных магазинах никогда прежде не было такого изобилия и не слышалось столько иностранной речи. И, конечно, понемногу исчезали некоторые детали городского пейзажа: грязные киношки, старые букинистические лавки, пропахшие засаленными страницами и пылью, где торговали невообразимые старцы, знавшие все на свете, закрывались убого обставленные мелкие забегаловки. Но какая блестящая, элегантная публика на улице Корьентес! Деметрио видел, как эти люди вальяжно выходят из такси, "мерседесов" и "БМВ", придавая тротуарам еще большую элегантность, благоухая одеколоном. Его, давно не бывавшего в центре, эти перемены не слишком занимали.

Он спустился по улице Реконкиста до площади Лавайе и там натолкнулся на два людских потока — двуцветное существо, похожее на тигра о двух головах, золотой и темно-серой, — с одной стороны тянулись вереницы в коже, бархате и мехах, с другой стороны — серые молчаливые тени[1]. Иногда их траектории пересекались, после чего слышался недовольный возглас, требовательный окрик и, наконец, зачастившие каблуки или позвякивание ювелирных украшений. Для Деметрио это зрелище было не в новинку, но сейчас контраст казался особенно сильным. Это его удивило, но никак не обеспокоило. Он с трудом пробирался между двумя потоками — блистающим золотом и почти черным, ощущая гнетущую неприязнь с обе-

1. Площадь Лавайе в Буэнос-Айресе — место постоянных митингов и протестов, откуда люди иногда не уходят месяцами.

их сторон. Вдруг он заметил витрину магазина игрушек и пробрался к ней: плюшевые звери, мячики, странные игры в космическую войну, какие-то светящиеся предметы непонятного назначения, но для него — ничего интересного. Он вошел и обратился к продавщице — она посмотрела на него немного удивленно и с заученной улыбкой ответила "Этого нет".

Он обошел еще несколько магазинов, но все зря. Некоторые вообще не торговали наборами из пятисот деталей, другие торговали, но среди них не было изображений Барилоче, его озер, гор и окрестностей. Расстроенный, Деметрио шел обратно по площади Лавайе. Понемногу темнело, казалось, что последний августовский холод не желает отступать из города. Деметрио спешил к остановке девяносто третьего, но вдруг боковым зрением ухватил что-то важное. Он обернулся и увидел неяркую витрину. Сделав несколько шагов, уткнулся носом в стекло и сразу заметил нужную коробку. Он торопливо зашел в магазин и, не задавая вопросов, взял коробку с витрины, заплатил, вышел и торопливо покинул центр, держа под мышкой пятьсот частичек высокогорного приюта с видом на озеро Науэль-Уапи.

XXXIV

Засохшая тортилья, непрожаренный кусок телятины, плохое вино и очищенный апельсин — все через силу. Чтобы взбодриться, он выпил кофе. Принимая душ, снова осмотрел свое тело и пришел к выводу, что живот пока плоский, ноги сильные и упругие, член не выглядит потрепанным или порочным. Растительность на груди темнела без намека на седину, и количество волос на решетке ванной пока не вызывало тревоги. Закрыв кран, он почувствовал себя хорошо. Кожа источала свежесть, полотенце промокало ее дружелюбными прикосновениями. Он надел рубашку, брюки и старые черные сапоги, поджидавшие возле кровати. Не задерживаясь у окна, прошел в гостиную и сел за стол, где все уже было готово.

Сначала труба. Она выросла на пустом месте, близко к верхнему краю прямоугольника, маленький домик для дыма, с любопытством высунувший свою птичью головку. Теперь, следуя за кровельным сланцем, можно было продолжать, идти дальше, прорисовывать равнобедренный контур вместе с верхушками каких-то растений на заднем плане, прочный корпус из бревен, отблески дня на стекле будущего окна и почти назойливое журчание воды, нежный ветерок над ее поверхностью...

Непонятно, почему беды всегда ищут друг друга, словно желают создать семью, но в то лето они распространялись, как зараза. Из дома я слышал, что Науэль шумит иначе, будто в спеш-

ке, слишком неспокойно для января; все, включая жару, изменилось и стало неузнаваемым. Конечно, сидя взаперти, я не мог отчетливо представить себе, что происходит снаружи, но нехватка свободы имела свои преимущества: я слышал разговоры старика. Через те же стены, которые позволили мне узнать, что родители иногда хотят друг друга, я два месяца слушал новости — старик приносил их с лесопилки, каждый раз все более печальные, и рассказывал, понизив голос. Помню, самые последние я уже не смог разобрать.

В стороне — одинокий, огромный ствол кедра, защитника и патриарха. Сочная бирюза неба позади печного дыма может означать только полдень. Островки белых цветов с золотым глазком словно по чьей-то прихоти трепещут на ветру, а за ними целый архипелаг высокой растрепанной травы и рваная рана ржавого цвета, кругом разбросаны серебристые монетки воды.

По ночам больше не раздавался скрип кровати, только голоса: голос старика, непрерывный, настойчивый, увещевающий, иногда нервный голос матери. Дела шли неважно, производство сокращали, и ходили слухи, что лесопилка уволит часть рабочих или даже закроется. Но старик по-прежнему вставал на рассвете, неторопливо завтракал, мама провожала его молча, печальная, еще не притронувшись к еде; он по-прежнему брал с собой обед в старой пластиковой коробке, а когда возвращался, уже темнело, древесина слабела от холода, и дом начинал тихонько поскрипывать. Но мы все знали. К этому времени я бросил попытки разобраться со сном и привык к усталости. Иногда в час, когда появляются странные птицы и луна в последний раз отражается в Науэль, она появлялась и, горько плача, пролетала в окне или над моим столом.

XXXV

На свете нет ничего важнее работы, и нужно, чтоб она была пять раз в неделю, только так, потому что, как ни крути, это она тебя кормит, а не сладкий сон после обеда по выходным, не футбол, не семья, ее-то и приходится кормить в первую очередь. Я всегда говорил это Деметрио, но он ходил, как потерянный, считал ворон, последнее время мы редко разговаривали, потому что он ходил, как потерянный. Я, бывало, ему говорю, слушай, брат, если будешь опаздывать и работать как попало, нас вышвырнут, а он и ухом не ведет, что прикажешь делать. Ясное дело, говорил я ему, у тебя нет детей, которых надо кормить, можешь себе позволить роскошь взять и заявить, что сыт по горло этим мусором, поглядите-ка на него! а мне, думаешь, нравится, Деметрио? Просто ты старикан уже,

говорил он мне. И мы с этим сукиным сыном начинали ржать, просто ты старикан, говорил он мне, а я ему отвечал: нет, Деметрио, просто я многое понял. А он — знай себе веселится.

Иногда я говорил жене, рассказывал ей, что мне кажется, будто Деметрио стал какой-то странный. Чем странный, а я говорю, не знаю, но странный. Она ничего такого не замечала, но все равно меня слушала, я который месяц держал ее на коротком поводке после той интрижки; тогда я ее простил, потому что в жизни надо быть добрым христианином, кроме того, никто ничего не узнал, и это было единственный раз, бедолага мне поклялась, единственный раз, вся в слезах мне клялась. Мне кажется, это сосед с третьего этажа, знаешь, о ком я? Тот еще пакостник, уже много раз следил за Вероникой, так, исподтишка, мне плевать, если он таращится на ее задницу, но, если точно узнаю, что это он, пойду и вышибу ему мозги, она мне клялась, что нет, не он, говорила, давай забудем. Наверно, она права. Так вот, она меня слушала и говорила, Негр, ты не злись на Деметрио, ты же видишь, он не такой работяга, как ты, Негритенок, он всегда устает и живет один, ты же понимаешь, каково жить одному, ни с кем не общаться. И точно, Вероника была права, потому что у меня есть, по крайней мере, любящая жена и здоровенькие дети, которые ходят в школу и хорошо учатся. Поэтому я всегда, когда только мог, приглашал его по субботам обедать, понимаешь? Чтобы не сидел в зеленой тоске у себя дома, и сначала он-таки приходил, обязательно, и мы отлично проводили время, пили винцо и болтали о футболе. Но потом стал приходить как-то реже, говорил, что не может, что в эту субботу собирается куда-то... Почем я знаю. Тогда, ясное дело, мы стали приглашать его реже, и с этого все пошло как-то странно. Один раз мне даже пришлось поругаться с Вероникой, потому что она вела себя с ним невоспитанно, я ей сказал, как можно так вести себя с гостем, принеси ей немедленно кофе, черт подери, как будто парень должен ее обслуживать, поверить невозможно, черт подери. Может, он из-за этого обиделся, хотя не думаю, но суть в том, что приходить стал реже. Хотя он и прежде был немного странный. Я почти всегда платил за его завтрак, из дружбы, ты понимаешь, потому что последнее время видел его все больше каким-то грустным, но, помню, один раз он мне сказал, дурень ты, Негр, ко всему еще и за завтрак мой платишь, а я засмеялся, потому что не совсем его понял, но он очень серьезно это сказал. Довольно странно было.

XXXVI

В конце проспекта Независимости, как раз перед тем, как он упирается в гигантскую многополосную артерию, эту брат-

скую могилу имени Девятого июля, проходит улица Такуари. Скромная, с небольшим движением, неприметная Такуари была последней остановкой во время сбора мусора; для Деметрио и Негра ее основное преимущество состояло в том, что по ней они спускались прямо к Бельграно, где можно было запарковать грузовик недалеко от пересечения с улицей Боливара и позавтракать, прежде чем возвращаться на свалку и оставлять машину. Улица Такуари никогда не менялась. Густой свет, казалось, прилипал ко всем предметам, и силуэты их тяжело поднимались ему навстречу, словно окаменевшие и лишенные объема. Деметрио апатично передавал Негру пакеты с таким видом, словно хотел подчеркнуть их содержимое. Негр брал их, что-то бормоча себе под нос. Они уже покончили с Такуари по эту сторону проспекта и садились в грузовик, чтобы пересечь его и двигаться дальше, когда Деметрио вдруг заметил в сумраке подъезда бесформенную кучу тряпья, из которой высовывалась серебристая борода. Он показал на нее Негру, тот тоже удивился: они знали наперечет все углы и всех кошек на каждом углу, всех воров и всех нищих. Этого они никогда не видели. Нищий — он не спал — почувствовал, что на него смотрят, что-то пробормотал надтреснутым голосом и медленно высунул нос, направив его в сторону освещенного серебристым светом тротуара. Негр нагнулся, нос вынырнул еще немного, и они оказались на одном уровне: бородавчатый, кривой нос нависал над усами, переходившими в бесконечную бороду. В гуще волос виднелся мокрый темный ротик, как у зверей. Он заговорил и предложил им отправляться ко всем чертям. Деметрио, необычно оживленный, объяснил, что они не хотели его беспокоить, но прежде никогда его не видели, поэтому и удивились. Теперь перед ними явились два сефардских глаза и сдвинутая на макушку шляпа, нищий сообщил им, что проводит на этой улице вторую ночь, и поведал им свою историю. Деметрио и Негр узнали, что он делил скамейку и костер с компанией нищих с проспекта Девятого июля, но те все прибрали к рукам, сколотили шайку, затеяли войну за территорию и мусорные баки и подчинили себе стаи попрошаек, более слабых или тех, кто ни к кому не примкнул, таких, как он сам, уже слишком старый, чтобы тягаться с кем-то за власть, и слишком бывалый, чтобы терпеть указания всякой швали. Поэтому он решил переселиться на улицу Такуари, ничейную территорию, где рассчитывал на спокойный сон, а если повезет — на милостыню или хотя бы на приличный мусор. Деметрио слушал и все больше ощущал какую-то странную наполненность пространства под этим металлически поблескивающим утром; пренебрегая изумлением и причитаниями Негра, он пригла-

сил старика в грузовик, обращаясь к нему на "вы", и придержал дверцу, чтобы пропустить его вперед.

Старик, надо признать, благоухал совсем не розами, от его изношенного пальто поднималась загустевшая от сырости пыль, похожая на легкий белый прах, порождаемый смертоносным дыханием времени. Шляпа, когда-то фетровая, неопределенной расцветки, сдерживала вонь гнилой веревки, исходившую от зарослей волос. Его заскорузлые пальцы совершенно черного цвета трогали в кабине все подряд, как всякие незанятые делом руки, что не добавляло радости Негру. Но в том, как старик с Такуари через лобовое стекло разглядывал улицы, было что-то похожее на детское счастливое забытье, и это наполняло утро Деметрио смыслом.

Официант в баре на улице Боливар замер с открытым ртом при виде такой картины: впереди Негр, представительный, усатый, с раздраженным выражением лица, облаченный в фосфоресцирующую спецовку, за ним — Деметрио в таком же наряде, с улыбкой, деликатно придерживая под руку неуверенно переставлявшего ноги старца, оборванного и запущенного, уверявшего, что отлично может идти сам, — все трое торжественно входят в бар. Они заказали три кофе с молоком, три круассана и облокотились о стойку. Старик из Такуари посмотрел на чашку, потом на Деметрио и улыбнулся почти беззубой улыбкой. Потом, совершив торжественный ритуал расчленения, отправил в рот по очереди обе половинки круассана и, наконец, одним глотком выпил кофе, резко дернув кадыком. Деметрио заметил, что старик не положил в кофе сахар, а спрятал пакетик в карман вместе с чайной ложкой. Деметрио попросил официанта получить с него за всех. Негр смутился. Услышав слова Деметрио, старик с Такуари сунул руку во внутренний карман пальто, вытащил металлическую миску и тряхнул ею, как погремушкой. Он протянул ее Деметрио, но тот, в отличном настроении — это сразу было видно — решительным жестом отверг ее: да вы что, бог с вами. Старик пожал плечами, поблагодарил, не ломаясь, и спрятал миску в недрах своих лохмотьев.

Они вернулись к грузовику. Деметрио снова пригласил старика и рассказал, куда они едут, описывая свалку, будто речь шла о магазине игрушек. Темные глазки-пуговки старика с Такуари загорелись, но потом он, похоже, испугался, и ответил, что ехать не может, что ему нужно вернуться на Такуари, что он боится слишком устать от такой дальней поездки, хотя очень благодарен за любезность и за завтрак. Пока Негр поднимался в грузовик, Деметрио предложил подвезти старика до подъезда, где они его нашли. Тот снова поблагодарил и сказал, что это лишнее, потому что немного пройтись полезно для костей.

XXXVII

Серо-голубой дым, похожий на невесомый, почти незаметный вьюнок, спутывал свои нити; от любого дуновения он распадался, как всполошившийся призрак, чтобы тут же восстановиться, снова плести колонну и продолжать ленивое путешествие вверх. Сигарета Вероники, высунувшая из пальцев раскаленную головку, словно хотела заглянуть между ног, доживала последнюю пару затяжек. Вероника нежно трогала ее губами, почти не вдыхая, а потом разрушала медленное шествие дыма серым ураганом выдоха. Они лежали голые на кровати, не глядя друг на друга, созерцая часть потолка, освещенного ночником. Слов тоже не было слышно. Они спокойно дышали в такт дыму. В комнате можно было разглядеть только стул у кровати с висевшей на спинке одеждой, а в глубине — занавески без рисунка, освещенные анемичным уличным светом. Темнота скрывала все остальное, кроме куска ковра, попадавшего в узкий луч из дверной щели. Деметрио подумал о том, который час, о том, что скоро дети Вероники выйдут со дня рождения своего приятеля, и пора будет их забирать, и о том, что ему хочется уйти домой, а не лежать молча в чем мать родила, рядом с чужим, голым, небезупречным телом. Тебе пора, сказал он немного холоднее, чем рассчитывал, ты опаздываешь. Казалось, она отложила ответ до последней затяжки; выдохнув дым, несколько секунд смотрела на него, потом с легким щелчком разлепила губы. Я знаю, это мои дети, если ты вдруг забыл. Вероника повернулась на бок и погасила сигарету в стоявшей на ночном столике стеклянной пепельнице со штампованной эмблемой. Ладно, буду одеваться, пробормотал Деметрио, продолжая лежать; еще только половина, у меня полно времени, а если возьму такси — будет еще больше, ответила она. Иди лучше сюда, любимый, побудем еще минут пятнадцать, какая разница. Хорошо, Веро, но я не понимаю, зачем дожидаться последней минуты, если уже знаешь, что будет потом: спешка, нервы, вечно одно и то же. Конечно, но я очень редко тебя вижу, и мне хочется насладиться сполна, это время мне гораздо дороже, чем все нервы и спешка вместе взятые, понимаешь? Слушай, негритянка, не уверен, что побыть еще пятнадцать минут, когда уже пора идти, и впопыхах ловить такси, называется насладиться сполна. И добавил: кстати, насчет того что мы редко видимся, можно поспорить. Да что ты? Как странно, что ты ничего подобного не говоришь перед тем, как лечь в постель, когда у тебя в штанах все так горит, как ты рассказываешь. А что, если бы сказал? Для этого ты недостаточно мужик. Наверно, твой муж достаточно мужик, непонятно только, зачем ты его обманываешь со мной. Какой же ты сукин сын! — и она тайком вытерла две злые слезы.

XXXVIII

Бывали ночи, когда я умирал от невыносимой тоски и все-таки тащился в туалет, но заниматься онанизмом не мог, было противно и страшно, я слышал, как она разговаривает со мной среди альстромерий, и рыдал, пока не перехватывало дыхание. Хоть таким образом мне удавалось иногда уснуть. Потом наступало время завтрака, всегда одинакового, старик к тому времени уже уходил на лесопилку, мы с матерью ели вчерашний хлеб с домашним вареньем и пили кофе с молоком, в какой-то момент она поднимала на меня глаза и тоже начинала плакать, говорить, что постоянно вспоминает моего брата Мартина, проходившего армейскую службу в Неукене, что он не вернется к нам жить, она это точно знает, а через два года заберут и меня, и чтобы я, ради бога, вернулся домой помогать старику, времена нынче тяжелые, и все продолжала плакать, но я не мог ее утешить и еще меньше — плакать вместе с ней, потому что с огромным трудом пытался найти в себе хоть каплю сочувствия. Все свои слезы я успевал растратить накануне вечером.

На подоконнике каждого оконца цветочные горшки, похожие на флаги. Никто не выглядывает из окон, чтобы посмотреть на столетний кедр, ствол которого становится все толще, или на фрагменты озера — хоть и разрозненные, но уже узнаваемые. Пятнышки бирюзы, переливы мягкости и холода. Желтокоричневый язык дороги пока не открылся до конца, но, может, конца и нет; а кровельный сланец, как упрямая ночь средь бела дня, не намерен таять и возвращает воздуху сияние неистового, пока отсутствующего солнца.

На самом деле я ничего не знал, но в один особенно холодный день начал догадываться так отчетливо, как будто это стало очевидным. Отец вернулся слишком добродушный, особенно заботливый, и когда позже мы молча сели ужинать, он то и дело поглядывал на меня, и от его улыбки, какой-то участливой, мне становилось страшно. Меня быстро отправили в комнату, даже не попросив убрать со стола и помыть посуду, я закрылся у себя собирать пазл или плакать, и всю ночь от них не доносилось ни звука. На следующий день мать устало сообщила мне, что с этой осени я больше не буду ходить в школу, обняла меня и шепнула на ухо, что я должен срочно повзрослеть.

XXXIX

В этот раз ждать пришлось Негру. Его объемистый силуэт маячил, как дополнительный выступ во тьме гаража. Молчаливые грузовики уснули тяжелым сном, чтобы остудить свои желуд-

ки. Деметрио так пристально смотрел на Негра, что забыл, кто из них двигается: ему казалось, что это он сам, стоя на месте, видит, как Негр увеличивается в размере и невозмутимо приближается к тому месту, где он его ждет, настороженный, готовый к любому повороту дела. Но Негр даже не замечал Деметрио вплоть до того момента, когда его лицо уже можно было различить в свете лампочки, висевшей в глубине, позади Негра — сам Негр успел облачиться в флуоресцирующую спецовку и зевал, растягивая усы и почесывая мошонку так, как это делают мужчины только в темноте. Похожий на приглушенное эхо или воспоминание, из будки охранника доносился чей-то тоскующий голос, его чувствам вторили переливчатые всхлипы бандонеонов. Деметрио открыл рот, чтобы поздороваться, только когда они оказались лицом к лицу, привет, Негр, как дела, как будто предпочитал отчетливо видеть его, когда тот будет отвечать, живем потихоньку, Деметрио, что тут скажешь, и он не сдержал чудовищный зевок, от которого усы напряглись, как нервный зверек. Деметрио успокоился.

Светофор испускал никому не предназначенное красное предупреждение. Они не обращали внимания на светофоры до тех пор, пока на улицах не появлялись автомобилисты, но сейчас Деметрио продолжал смотреть на свет, держа неподвижные руки на руле. Он сидел в этой позе, пока сигнал не перешел вниз, сменив цвет, как фишку на доске, — тогда Деметрио встрепенулся и сказал, знаешь что, давай навестим старика. Негр только скрестил руки на груди и посмотрел на Деметрио, ожидая какого-нибудь разумного объяснения. Однако немного погодя грузовик остановился на углу Такуари, с него спрыгнул один Деметрио и пошел ко второму подъезду справа. Никого не найдя, он было заволновался, но продолжил поиск у следующего подъезда и там действительно разглядел его, скорчившегося на верхней ступеньке возле дверного косяка и так сильно втянувшего голову в безобразное одеяние, что казалось, на подъезде валяются только пальто и брошенная сверху шляпа. Деметрио громко произнес: Эй! По складкам одежды прошла дрожь, потом появилась седая шевелюра, напоминая выползающую из грязи черепаху, а за ней — корявый носище старика с Такуари.

Они отвели его к грузовику. Видя, что Деметрио задерживается, Негр тоже вышел из машины, и сейчас все трое возвращались на угол необычной разномастной процессией: серо-белого нищего поддерживали два флуоресцирующих телохранителя, вторгшихся в молочную белизну проспекта Независимости. Старик привычно влез в грузовик и занял место в середине сиденья. Деметрио устроился за рулем. Но Негр не садился, он стоял у машины и разглядывал их, подбо-

ченясь, вряд ли воображая, что его напарник резко сорвется с места. В чем дело, а второй остается? спросил старик, пытаясь немного привести в порядок свою шляпу.

XL

В этот час сильнее всего выделялись стекло и пластмасса. Немного позже это будут консервные банки, а уже в сумерках — снова пластмасса и стекло, хотя Деметрио не приходил проверять. Он созерцал блеск стеклянных осколков, пустые измятые пластиковые емкости, похожие на тусклые островки, пережившие приступ чьей-то спланированной, низменной злобы, которая сокрушила все вокруг. Он не знал, что делали со всем этим добром по прошествии лет, где прекращали существование излишки этой горы, в каком желудке, в какой глотке. По логике и смыслу количество их должно было расти, но свалка достигла такого размера, когда ее прожорливость, похоже, лишила смысла любое усилие, любую настойчивость: ее состояние не менялось, словно чудовищное вогнутое пространство ямы, однажды насытившись, не допускало повышения существующего уровня. Он представил себе, что эта громадина, переварив зловонное угощение, испражняется отбросами в самое сердце города, а оттуда они попадают в жилища и уличные контейнеры, где их снова забирают и привозят кормить свалку, и так без конца. Думать о дерьме и его передвижении было занятно, возможно, не так занятно, как о кино, кабаре или карточных играх, но я не билетер, не ночной бармен и не азартный игрок, я мусорщик, думал он, и должен думать о дерьме, с которым работаю, и он снова замер, разглядывая гору. Он чувствовал, что не против видеть это зрелище каждое утро всю свою жизнь, важно только ничего не менять, ничего не менять... Какое-то облако сдвинулось там, наверху, и бутылочные осколки вспыхнули, как печальные угольки пожарищ после сражения.

XLI

Я тебе скажу, эта история с нищим мне сразу не понравилась, я не понимаю, на кой черт его катать, ты что, не видишь, это обыкновенный вшивый бродяга, мы здесь на работе, и приспичило тебе на него отвлекаться, надо же! сеньору понравился старикан, смотри-ка. Сейчас-то я понимаю, почему он это делал, вернее, могу себе представить, понять — нет, не могу, но ведь перемалываешь все это в голове и в один прекрасный день — бац! — до тебя доходит, что Деметрио это делал, чтобы не думать о другом.

Он ходил, как потерянный, как будто постоянно считал ворон, я уже говорил, с этим парнем бывало одно из двух: либо его все беспокоило и он утро напролет воротил морду, либо оживлялся дальше некуда, когда вытворял глупости, вроде этой, с нищим. Дело в том, что ты уже покойник, Негр, говорил он мне, тебя все устраивает, ты не хочешь ничего видеть. Почему ты так говоришь, Деметрио, потому что так и есть, Негр, а ты сам? думаешь, тебя не устраивает? Нет, говорил он, меня не устраивает. Я просто подчинился.

Да, он был странный. Именно когда говорил это, может, немного позднее, месяцем позже, не знаю, именно тогда он казался вроде более спокойным, после истории с этим нищим, тогда все это было. Я знаю, что ему было тяжело, это было как предательство, самое последнее, но потом он стал меньше жаловаться и работал хорошо, молча и усердно, и я думал: наконец-то парень решил больше не дурить и теперь бросит свои выходки. И я обрадовался, понимаешь? Обрадовался. Но, выходит, что нет, все было наоборот. Просто у него уже не было слов, чтобы объяснить, как его все доканало.

XLII

Отцу на лесопилке дали компенсацию. Не бог весть сколько, но достаточно, чтобы какое-то время протянуть, поэтому не из-за денег он заболел (хотя, в конечном счете, работал ради них). Я смотрел, как смотрит на него мать, и понимал: что-то идет не так и уже никогда не пойдет, как надо, невозможно было видеть обмякшего на стуле отца, сначала перед окном, из которого открывался вид на чуть поблекшее ликование альстромерий, потом — созерцающим ковер сухих листьев на лугу, потом у печки, где с каждым днем горело все больше дров, и позже все еще сидящим со старым пледом на коленях; невозможно было видеть, как за месяцы он постарел на годы, и не подозревать неладное.

Он не искал или не смог найти работу, я уже не помню. Зато помню, что мама помешалась на экономии, и я не понимал, почему. Старик только как-то раз, серенькым днем, поднялся с кресла и ушел из дома; в ту ночь снова, как в былые времена, слышались крики: примирительный голос мамы и заполнявший всю тишину дома рык отца, а потом — пружины кровати. Мама сказала ему, что пойдет работать. Отец сначала не отреагировал, молча слушал ее за едой с обычным теперь для него отрешенным видом, потом сел у огня, будто собираясь вздремнуть, но вдруг вскочил, как разъяренный зверь, и начал кричать на мать, что непонятно, как такое могло прийти ей в голову, что бывает выход, который вовсе не выход, потому что он ранит

чувство собственного достоинства, что деньги у нас пока не кончились и что если мы решили злить его, пока не добьем, то мы на верном пути. Эта фраза оказалась пулей, которой отец выстрелил себе в висок, но она прошла и через мамин висок, и, по всей видимости, через мой. Я всегда думал, что мне, по счастью, удалось уклониться от того выстрела, но теперь думаю, не убила ли та пуля меня первым, просто я узнал об этом слишком поздно, так же как я поздно узнал о родительских сбережениях.

В ту ночь крики прекратились, то был последний раз, когда в доме стоял крик, и первый, когда я задумался о том, кто же о ком заботится и есть ли у меня действительно семья, не сирота ли я при осиротевших родителях, не будет ли моя жизнь с этого дня наполнена тошнотворными вопросами вроде этого.

XLIII

Усталый, равнодушный перед возможными красотами запылавшего неба, стоя рядом с громадной ямой, Деметрио вспомнил старика с улицы Такуари. В тот раз он опять отклонил приглашение поехать с ними в гараж. Холодно, кости, страх перед расстояниями, возраст — все самые убедительные причины отступили вдруг перед уверенностью: старику не позволяла ехать гордость. Как будто возможность посетить это зловонное место, где можно найти горы всего, что из последних сил подбирается на тротуарах и в уличных контейнерах, стала таким сильным соблазном, что превратилась в унижение. Они с Негром недавно попрощались. Негр, с каждым днем все более круглый, все более никчемный, по-идиотски помахал ему, стоявшему рядом с колоссальной непотребной ямой, и скрылся под горой. Деметрио пошел в гараж, переоделся и оставил спецовку в грузовике. Немного погодя он стоял в очереди перед зданием почты и ждал девяносто третьего. Очередь была длинная, томительная. У него не было шансов попасть в число счастливчиков, которых подберет первый переполненный вибрирующий автобус. Приходилось ли старику с Такуари ездить в автобусах? Деметрио представил себе, каково это — жить всегда бродягой, всегда бездомным. Хотя, с другой стороны, подумал он, если бы старик кормился объедками, ему не пришлось бы больше их собирать и таскать в другое место. Каково это — жить среди отбросов, быть одним из них?

XLIV

В тот липкий, бесприютный день Деметрио приснился сон.

Он идет по улице. Незнакомой, но что-то напоминающей. Мимо проходят чужие фигуры, плоские, как газетные выре-

ки, — их словно притягивает что-то интересное за спиной Деметрио, идущего им навстречу. Деметрио слышит торопливые шаги прохожих, но видит их только долю секунды. Его ничто не удивляет, он шагает по проспекту, потому что это вдруг оказался проспект. Известный. Неожиданно он видит бар, хочет зайти, но не узнает ни место, ни улицу, ни даже дверь, передумывает и идет дальше. Он петляет по переулкам, тоже вроде знакомым, снова оказывается на проспекте (это определенно был проспект), ему кажется, что он вернулся на прежнее место, но, возможно, он просто вспомнил свои мысли в начале первого проспекта, хотя идет уже по второму, похожему, так и не узнав ни тот ни другой. Просто идет. Но двигается не обычным шагом. То ли оказавшись на перекрестке, то ли дойдя до него, он видит узенькие улицы, как велосипедные спицы расходящиеся в разные стороны, и стоит в замешательстве. Он подозревает (или чувствует, или знает), что не сможет выбрать. Он беззвучно плачет, почти покорно, и тут с одной из улочек, которые во множестве вливаются в перекресток и вытекают из него (хотя перекресток уже не похож на прежний), появляется низкорослый косолапый человек в допотопной железнодорожной фуражке, и это не кто иной, как Коротышка или неотличимый от Коротышки незнакомец. Сначала Деметрио боится, что Коротышка его не узнает, пройдет мимо, как остальные прохожие из газетной бумаги, но Коротышка не только его узнаёт, но даже обнимает (как дотягивается: до половины), проявив радостное дружелюбие. Деметрио удивлен, но отвечает взаимностью, даже платит за кофе Коротышки; они выходят из бара на давешний проспект, рядом с кладбищем, Деметрио замечает, что он один, а по обе стороны бегут в разных направлениях неуловимые, бесчисленные силуэты из газетной бумаги. Он начинает их считать. Потом поднимает глаза и видит, что перекресток, напоминающий велосипедные спицы, сильно уменьшился, и Деметрио легко находит нужный подъезд — вон тот, радостно указывает ему Коротышка. Коротышка что-то говорит и тут же исчезает, ненадолго, потому что Деметрио уже определил подъезд и приближается к бесформенному мешку, лежащему на пороге, чтобы сорвать с него шляпу и сдернуть пальто, которое рассыпается в прах: это Коротышка, без шляпы и пальто он шаловливо прикрывается локтем и вскрикивает со своей ступеньки: ты меня разоблачил! Во рту у него нет ни зубов, ни десен, только большая черная дыра. Деметрио плачет, не испытывая боли, и не знает, где он: стоит ли там, на улице, или лежит между простынями в знакомом полумраке.

XLV

Люди создают семью, скорее всего, чтобы попробовать расправиться со своим сиротством, от которого каждый страдает с рождения. Поэтому я чувствовал себя таким одиноким, когда видел, как мама несет отцу суп и хлеб, и он не смотрит ей в глаза, слишком сосредоточившись на печке, как будто представляет себе пламя, в котором его сожгут, и пытается привыкнуть к нему, проникнуть в него взглядом, в котором отказывает маме. Мы все чувствовали себя одинокими.

Ну вот. Теперь здесь распоряжается кедр, император всех деревьев; если бы он рос быстрее, то мог бы, наверно, убить птиц. Картина безукоризненна. Пыльный язык дороги — в другое время года просто грязи — обрывается, но до берега уже рукой подать. Что до неподвижной воды, то ее гладкий лик спит, ему не хватает двух фрагментов. Деметрио знает, каких. В коробке на пустом столе гостиной разбросаны в ожидании детали, словно последние искры огня, сознающие, как мало времени им осталось.

Дров нам тоже не хватало. В начале зимы мы заложили ими весь сарай, но теперь отцу приходилось довольствоваться малым, и он грелся, шевеля ногами под старым шерстяным покрывалом. Ты пользуйся. Пользуйся, говорил он мне, живи. Неделю назад меня освободили от наказания, и я мог снова вдохнуть воздух Науэль. Иди-иди, возвращайся не поздно, но делай, что хочешь, в конце концов ты уже большой, верно? все изменилось, старик разговаривал со мной не спеша, стараясь, чтобы его голос был на двадцать лет моложе его опустевшего взгляда. Мама хлопотала по дому, и было странно слышать от нее, как плохо она себя чувствует, и одновременно видеть ее такой оживленной, такой довольной и настолько моложе, чем старик. Это она рассказала мне о нашем отъезде: мы уезжаем, Деметрио, очень скоро, куда, в столицу, Деметрио, вот куда. У меня в груди стало горячо, и заболела голова, но я быстро пришел в себя, ничего уже не чувствовал и ничего не говорил. Никогда. Я обошел берег, осмотрел тропинки между кедрами, вернулся к своим привычным скалам и укрытиям из веток, нарезанных на случай, если вздуется небо и начнется гроза. Но с ней мы не встретились. Потом я узнал: ее не выпускали из дома и запретили со мной встречаться. Мне все показалось очень логичным, предельно понятным, одна беда зовет другую беду, ясное дело, это очень просто. Я закрыл глаза, где были альстромерии, где были тайники на острове, я попробовал запечатлеть все это на обратной стороне глаз. Это так просто. Как будто ты умер, подумал я и вернулся в домишко, где все ос-

тавалось на своих местах, вся мебель и, конечно, старик, а мама продолжала молча готовить. Но все изменилось. Я закрылся в комнате, уже не моей, чтобы, как дурачок, лить слезы, которых у меня уже не осталось.

Маргаритки рисуют сами себя по краям дороги. Законченная, четкая крыша купается в интенсивном полуденном солнце. Цветочная пыльца. Птицы, они попрятались. Рыбы, они плывут и добираются до границы воды, до дна огромной ладони, собранной в пригоршню и предлагающей воду бесконечно жаждущей земле. Жара и горы. За ними сосновые рощи, дальше все, или ничто, окрашено в синий цвет. А еще дальше стол и другая рука, она одновременно больше и меньше, она трогает картину кончиками пальцев. Белая стена и тусклая лампочка, похожая на виселицу со светящейся головой. Стул, бодрствующий человек, погруженный в тишину гостиной. И, наконец, витающее в воздухе красное свечение, призрак красивой манящей фигуры в рубахе, с нежной, как зефир, грудью, упругой и ароматной — холодный призрак висит за окном и созерцает по-рыбьи прозрачными, мечтательными глазами человека, одиноко сидящего спиной у стола, занятого делом.

XLVI

Каблучки Вероники постукивают ни для кого, просто так. Юбка чуть ниже колен. Вероника курит на ходу, и слишком черная шевелюра переплетается с дымом. Под блузкой и джемпером с треугольным вырезом грудь подскакивает в такт ходьбе. На каждом шаге она на мгновение припечатывает ногу к тротуару, сумка раскачивается и гладит ей талию. Сыновья помахали Веронике от дверей школы с восторженным ожиданием приключений в улыбках. Половина десятого. Вокзал Чакариты погружен в отстраненную суету. Временами продавцы гаррапиньяды выкликают свой ароматный хрустящий товар. Станция метро “Лакросе”, привычно, как вулкан — лаву, извергает костюмы, шляпы, фартуки, лохмотья, снова костюмы, портфели. Вероника пересекает толпу и поворачивает направо, ее каблучки постукивают ни для кого, просто так.

Она знает: квартира пуста. Нажимает звонок наугад и ждет. Кто там, откройте, пожалуйста, я забыла ключи, иди расскажи своей бабушке. Еще разок: да, это-о... почтальон, сеньора; я бы сказала, почтальонша; да, но так говорится; ладно, заходите. Она толкает дверь и щурится, чтобы лучше видеть коридор. Не в силах дождаться лифта, она решительно поднимается на несколько этажей, отдыхает на предпоследней площадке, выравнивает дыхание, поправляет прическу. Уже перед дверью Де-

метрио она слышит шорох у соседей и торопливо спускается на несколько ступенек. Из квартиры напротив выходит сеньора пышных форм, она дышит так, будто решается на каждый вздох. Вероника выглядывает и видит, что сеньора нажимает кнопку лифта, с огромным трудом открывает его дверь (с таким же трудом закрывает) и, наконец, уплывает вниз внутри черного ящика. Вероника снова идет по лестнице, открывает на ходу сумочку, достает белый конверт, замирает перед дверью Деметрио и какое-то время медлит. Потом приседает, наклоняется, инстинктивно придерживая края выреза. Подсовывает конверт под дверь и спешит вниз по лестнице, ее каблучки постукивают ни для кого, просто так.

XLVII

Помню, я сказал ему, ты сошел с ума, что ты городишь, это просто бред, но он ноль внимания, то есть слушать меня он слушал, смотрел по сторонам, на мои руки, понятно, я ими отчаянно размахивал, потому что он нес ахинею, ты бредишь. Ведь другая работа на дороге не валяется, или ты думаешь, найти другую работу пара пустяков? Да не в этом дело, говорил он мне. Ах, нет? А в чем же, черт подери, объясни мне на милость. Слушай, Негр, пойми, если у меня будет другая работа, все равно все закончится тем же, ну почти тем же, неужели ты не понимаешь? Хорошо, Деметрио, давай разберемся: ты задолбался, так? а? скажи мне. Да, Негр, задолбался. Хорошо, тогда, что будет, если ты уйдешь, а потом не найдешь другую работу, ведь этого никогда нельзя знать. Да, но я пытаюсь тебе объяснить, что проблема не в этом, послушай, Негритенок, попробуй меня понять, я больше не могу этого выносить, да, правда, я задолбался, но это следствие, понимаешь? Нет, господин хороший, не понимаю, просто дело в том, что ты решил испоганить себе жизнь. Нет, просто дело в том, что ты тупица, Негр, тебе даже невдомек, какая ты тупица. Может быть, но, как видишь, живу не так сложно, как ты. Да, Негр, но я если и осложняю себе жизнь, то, по крайней мере, получаю больше свободы. Ах, вот что? а на кой черт тебе свобода, скажи на милость, если ты так задолбался.

Мы общались все реже и реже. По утрам ругались, я не хотел спорить, потому что с ним спорить невозможно, понимаешь? невозможно, он хочет быть всегда прав, потому что наш господин шибко умный, образование в детстве получил, видите ли, поэтому ему негоже облажаться, как простому смертному, в этом он очень похож на Веронику, они как две капли воды, вот что я тебе скажу. Кроме того, я от злости совсем не могу собраться с мыслями, несу всякую чушь и только, два

предложения без мата связать не могу, ко всему цепляюсь и все путаю, потому что я такой человек, у меня кровь сразу закипает, да так, что аж заикаться начинаю от злости, не умею ломать комедию, как Деметрио, тот всегда как будто без нервов, не знаю, я предпочитаю с ним не связываться, предпочитаю обходиться без этого, правда. Но, ясное дело, он был такой серьезный, что я не мог не спросить, в конце концов, он же мне товарищ, какие уж тут шутки, но у тебя, парень, есть хоть что-то за душой, у тебя хоть что-то отложено? как ты собираешься жить без денег! Клянусь, я всерьез подумывал, что он рехнулся, не знаю, но что его действительно подкосило, так это история с тем чокнутым стариком, из-за этого нищего его накрыла хандра, потому что Деметрио навыдумывал бог весть что, вообразил, бедняга, что они друзья.

XLVIII

Вращающийся луч оставлял оранжевый след на асфальте. Грязь, скопившаяся за день, вечер и часть ночи, на секунду попадала в свет и снова погружалась в темноту. Перед уборкой район Сан-Тельмо напоминал корявую потную шкуру, поверхность со старыми струпьями, ждущую спасения. Автомобильные покрышки вспахивали черный проспект, все еще черный после полночного ливня. Рядом с ощетинившимся углом улицы Боливара дорогу перебежала тень, на секунду окрасившись в оранжевый цвет.

Из грузовика спустились двое: Деметрио и застенчивый дохляк. Негр заболел гриппом, его заменили чахоточным малым, который наблюдал за каждым движением Деметрио внимательно до тошноты, как прилежный ученик. Почтительно и въедливо он задавал короткие, подробные вопросы об уборке, скорости, графике и маршруте. Деметрио вовсе не прельщала идея кого-то обучать, и еще меньше — сбору отбросов на улицах. Он не мог удержаться от резкостей, что нисколько не смущало чахоточного. Из грузовика они вышли вдвоем, но Деметрио велел ему ждать в машине.

Спецовка Негра напоминала огромное гибкое существо, сожравшее все тело чахоточного целиком, кроме головы, которая нервно торчала наружу и постоянно вертелась. Деметрио раздраженно спросил парня, почему он не взял собственную спецовку или не попросил другую, поменьше. Тот ответил, что собственной у него нет, вернее есть, но не совсем собственная или не только собственная, просто каждую ночь он надевает одну из двух спецовок подходящего размера, имеющихся в гараже, но именно сегодня обе оказались в

стирке, поэтому он надел спецовку Негра — в конце концов, она не хуже любой другой. Деметрио принял последний пакет с улицы Перу, неуклюже брошенный чахоточным, который, судя по всему, больше боролся с собой, чем с весом пакетов. Тебе наврали, лох, крикнул Деметрио, они никогда не стирают спецовки, к тому же я не знаю, нужна ли она тебе вообще, голяком ты работал бы лучше. Чахоточный сразу же засмеялся немного изумленным смехом и забрался обратно в грузовик. Деметрио увидел сточный люк и сплюнул.

Они почти доехали до проспекта Девятого июля, но Деметрио не упомянул старика с Такуари. Он думал о нем в молчании и представлял себе, как тот скрючился возле полусгнившего деревянного подъезда, терпя порывы бокового ветра с проспекта Независимости, неприметный под пальто и шляпой, похожий на странную ночную тень. Деметрио пообещал себе навестить старика, как только Негр поправится, и подумал: возможно, даже завтра. Чахоточный с трудом освободился от перчаток, положил их в бардачок рядом с перчатками Деметрио и теперь смотрел вперед пустым взглядом солдата, ожидающего приказаний. Деметрио стиснул руль, добавил скорости и, даже не повернув головы, проехал мимо бара на улице Боливара, где сонный официант расставлял за стойкой чашки и чувствовал себя чуть более одиноким, чем обычно. Когда до свалки оставалось недалеко, чахоточный пригласил Деметрио позавтракать, мы ведь заслужили, правда? сказал он. Я никогда не завтракаю, ответил Деметрио, особенно в этой робе запаршивевшего космонавта.

XLIX

Любимый,
я пишу тебе потому, что мы не видимся вот уже больше недели, и ты мне не звонишь. Я знаю, ты не должен звонить, потому что Негр может оказаться дома, но это не страшно, любимый, вспомни, один раз так уже было, и ты прикинулся, что звонишь ему. Это было так рискованно, так возбуждало! Поэтому мне кажется, тебе просто неохота мне звонить, неохота разговаривать со мной, как прежде, когда ты, помнишь, сравнивал мой голос с нежной флейтой? Негр никогда мне такого не говорит. Но теперь я не знаю, скажешь ли и ты.

Деметрио, ты отлично знаешь, если я больше не лягу с тобой в постель, ничего не случится, как-нибудь переживу, найду другого, даже не сомневайся. У меня есть характер и голова на плечах. Но чего я не могу терпеть, так это когда говорят, что любят, и ты отвечаешь, что тоже любишь, и даже очень, а потом проходят

два года, два года, Деметрио! и вдруг оказывается, что все, чего ты достигла — это чувствовать себя любимой две секунды после оргазма. Что бы ты ни говорил, Деметрио, это так, я как будто слышу твои слова. Разве ты не понимаешь, что единственное, чего я не выношу — обещаний. Лучше б моим любовником был какой-нибудь бедолага, который ничего бы не говорил и пользовался мной, как надувной куклой, а я бы это знала и тоже им пользовалась. Но ты мне говорил, что любишь, и в это начинаешь верить, живешь с этим, каждый день обманываешь, стараешься быть хорошей матерью и хозяйкой, послушной женой. Мне не трудно врать. Я имею право на это и на многое другое, потому что настоящая жертва не в том, чтобы работать и приносить получку по первым числам. Не в том, чтобы убиваться на двух работах по утрам и вечерам, жертва как раз в том, чтобы отказаться от работы. Я могла выбрать другую участь. Я знаю, ты скажешь: сама виновата. Это так, ты прав, Деметрио, сама виновата, но вам не понять, что значит хранить в себе другую жизнь, оберегать ее и учиться любить ее почти год, вы можете только представлять себе эту жизнь и прикладывать ухо к нашему животу. Что вы понимаете! Я родила своего сына и отдала ему и сказала, возьми его, вот ребенок, которого ты так хотел, возьми его, я отстрадала за двоих. Мне пришлось оставить работу на четыре месяца, еще на два после родов, и вот, только ты собираешься вернуться на работу, а эти сукины дети тебе говорят, извините, но компания и так далее. Мне заплатили две зарплаты, вот и все. Судиться слишком долго и дорого, сам знаешь, и неизвестно, чем бы это кончилось. Но в конце концов Негр получил своего ребенка, он его совсем маленького уже учил бить по мячу обеими ногами, чтобы привыкал, чтоб одна нога не была, как деревянная, смотри, какой молодец, какой умница, говорили мы. Тебе никогда не понять, что женщина чувствует после такого, и почему я тогда подумала, сама не знаю как: ну и пусть, пусть он содержит его и меня. Его и меня. Пусть содержит нас обоих и расплатится со мной за мою жертву. А теперь я даже не чувствую, чтобы обо мне кто-то заботился, обо мне или о сыне, который уже ходит в школу и не умеет бить левой так же, как его отец.

Так что, сам видишь, насколько мне на все плевать. Но тебе я отдала больше, чем даже собственному мужу, и не могу стерпеть, что прошло десять дней, а тебе все равно, пусть меня хоть поезд переехал. Небось, как приспичивало, думал, не позвонить ли мне, не спросить ли, как я поживаю, кровосос ты, закоренелый окаянный холостяк.

Поэтому я тебе и пишу, я не могу так существовать целых десять дней, мне тоже нужно жить, Деметрио. Мне нужно слышать, что ты меня любишь, пусть я пошлая, что тут поделаешь.

Разве ты не видишь, не так уж много мне и надо, хочу только говорить с тобой и чтобы ты меня слушал, любимый. Чтобы хоть иногда меня кто-то слушал. Я тебя люблю, я тебя хочу, ты мне нужен, без твоего голоса я быстрее состарюсь, и у меня уже не будет сил ненавидеть своего мужа и помнить, что я заслуживаю лучшего. Ты мне помог это понять. Поэтому прошу тебя не изменять своим словам, которых из тебя никто не тянул.

Люблю и жду,

Вероника.

L

Самый тяжелый чемодан, черный, с единственной ржавой ручкой, достался мне. Я тащил его молча, еще у меня был огромный рюкзак, который тянул назад, и мне приходилось всем телом помогать себе переставлять ноги и сильно наклоняться вперед, чтобы не упасть. Мама говорила, жестикулировала, отдавала распоряжения, но ее чемоданчик был совсем маленький, только с одеждой, а старик, хоть и окреп немного, и руки его снова напоминали пару поленьев, нес только два средних чемодана, подаренных нам соседями, а за собой тащил что-то вроде сундука, который даже мама смогла поднять, когда мы собирались на станцию — я был самый сильный. В это не верилось. Я смотрел на маму и отца — он хрипло дышал и смотрел в пустоту, как будто хотел разглядеть что-то в будущем, а меня переполняли силы и одновременно какая-то растерянность, прежде мне незнакомая, я думал: значит, теперь я самый сильный, и прибавлял шагу, и сжимал шершавую ручку чемодана крепче, но с большим страхом.

Мы ждали поезда, сидя на перронной скамейке, ели яблоки и не разговаривали. Народу было мало. Не знаю, почему, я запомнил малыша, который играл с коллекционной машинкой, из тех, что похожи на машины мафиози или на старинные такси, что-то в этом роде — я ее запомнил, потому что у меня была такая же, с очень высокой крышей, она мне нравилась, эти машины встречались только в кино, но не в жизни; мальчонка, бедняга, играл один, мать на него даже не глядела, но он вел себя очень тихо. Вдруг машинка выскользнула у него из рук и скатилась на пути, упав как раз между рельсами; мальчонка обалдело замер, словно ждал, что кто-нибудь ее достанет, он посмотрел на меня, и я ему улыбнулся, но делать ничего не стал, как обычно поступают взрослые с детьми, а малыш стоял, словно в изумлении, и ждал, и как раз в это время раздался громкий звук, похожий на звук флейты, я увидел локомотив, раздался шум. Малыш еще немного приблизился

к рельсам, было ясно, что он раздумывает, тут я, конечно, собрался встать и предупредить сеньору, которая продолжала разговаривать с другой сеньорой, и уже почти встал, но не пришлось, потому что малыш сам остановился, догадавшись, что ничего не выйдет, и покорно смотрел на черную машинку в последний раз, пока махина локомотива не разнесла ее так, что даже осколки не брызнули, просто — раз! и она исчезла. Обернувшись, мальчонка глянул на меня искоса, будто с упреком, а потом ушел со своей матерью. Поезд был длинный, старый, с желтым дизельным локомотивом, но меня он разочаровал, я ожидал увидеть паровоз с трубой, весь в дыму. А этот был какой-то урод. Немытые окна в вагонах, внутри виднелись игрушечные кроватки с лесенками, позади них — проход. Сколько нам ехать? спросил я маму, но за нее ответил старик: полтора дня, оставь мать в покое, она устала; так и было, она сидела на скамейке сгорбившись и опустив голову, смотрела на платформу, в разношенном свитере, лохматая, старая, такая же старая, как отец. Полтора дня! Выходит, тридцать шесть часов, что ли? поэтому и нужны кровати, но как же далеко столица, и кто уместится на этих досках? уж точно не отец. До станции мы ехали на автобусе, единственным возможным способом, но ехать на автобусе до столицы слишком дорого, сказала мама, да и вещи наши в нем бы не уместились, но так или иначе, я все равно предпочитал поезд: мне рассказывали, что в нем можно ходить по вагонам, что на площадках между вагонами трясет вовсю, что иногда поезда останавливаются, чтобы отдохнуть и остынуть, и тогда можно смотреть вокруг и слушать тишину, на автобусе так не получится. Было прохладно. Солнце освещало только часть платформы, и свободных скамеек там не осталось. Из поезда начали выходить люди, они спускались на платформу и без любопытства, устало смотрели по сторонам. Мама вдруг встрепенулась, вставайте, пошли, отец подал мне знак, и я снова подхватил черный чемодан. Ладони горели, пальцы не сгибались. Мы шли вдоль поезда в поисках нашего вагона, который был почти в конце, давай, Деметрио, не отставай, кричал мне старик, но я смотрел в окна — из некоторых высовывались головы, из некоторых устало свешивались руки, похожие на пустые рукава, я то и дело отвлекался и бегом догонял родителей, но тут же снова отставал. Странно было видеть человека, который, дойдя до своего купе, растянул на окне мятое влажное полотенце, и я сообразил, что в других вагонах были такие же полотенца. Мы нашли наш вагон и, поднимаясь по металлическим ступеням, я заметил желтые буквы, нарисованные на стальном боку дрожащего локомоти-

ва: “Южная звезда”. Мы вошли в вагон, старик — спиной, подтягивая рукой маму. Вскоре прозвучал гудок, мне он показался уже не флейтой, а инструментом с более печальным голосом. Что, что ты говоришь? спросил отец, я переспросил, он сказал: от пыли, сынок, полотенца нужны от пыли!

LI

Белые нити, уже законченные, сплетаются в мягком стекле озера. На горизонте отдыхают каменные хребты с заснеженными складками. Небо, как никогда, напоминает блестящий фаянс, стайка хвойных деревьев, зеленая мозаика, оглаживает воздух позади домика со старой шиферной крышей. Некоторые птицы, потеряв ориентир, летят прямо на солнце, другие прячутся в укрытиях на гигантском кедре, лесном патриархе. Теперь дорога уже лижет землю до самого Науэль-Уапи, законченное озеро спит. По обе стороны дорогу сопровождают золотые маргаритки, напоминая о весенних альстромериях. На безупречном битуме крыши треугольник из воздушных хлопьев — это птица села на крышу, чтобы наблюдать за озером. В воздухе отчетливо видно, как легкий дымок, застенчиво выползая из трубы, пачкает чистый день.

LII

Ни в углублении для педалей, ни на сиденьях, ни рядом с запасным колесом. Ни в гаражных шкафчиках: нигде их не было. Негр вздохнул, но не очень горько, скорее, как человек, почти довольный тем, что его недобрые предсказания сбылись; он понимающе чесал усы и молчал. Но не так, как Деметрио. Побледневший Деметрио молчал совсем по-другому, с сонным взглядом и безразличным выражением лица, свойственным проигравшим.

Накануне утром Негр вернулся на работу. После трех дней гриппа у него остались мешки под глазами и воспоминания о севшем голосе, скрежетавшем теперь на первых словах, как металл. Увидев в гараже вместо чахоточного ученика всегда пунктуального Негра, Деметрио почувствовал облегчение. Уборка в то утро прошла энергично, с бодрящим автоматизмом, без идиотских вопросов, по временам — с громкими замечаниями и не слишком веселыми смешками. Углы улиц методично освобождались от мусора, кошки, казалось, узнавали знакомую пару и не поднимали тревожных воплей, не ощетинивали спины. Когда грузовик въехал на Такуари, Деметрио подал Негру знак, они вышли вдвоем, почти в отличном на-

строении. Нищий поджидал их, широко раскрыв беличьи глазки, сжав руки под коленями, в шляпе с заломленными назад полями. Деметрио протянул ему руку в перчатке, старик с Такуари пожал ее с покорностью больного ребенка.

Они позавтракали втроем, как небольшая семья, соблюдающая простой ритуал. Деметрио не мог себе объяснить, почему смотрит на старика и Негра с такой симпатией и чувствует, что обязан их беречь. Когда они вышли, Деметрио предложил старику все ту же поездку, и на этот раз старик согласился. Безмятежно выдыхая зимний пар, они сели в грузовик и поехали на свалку. Там Негр торопливо переоделся и попрощался, дружелюбно помахав упитанной рукой. Деметрио, стараясь, чтобы их не заметил сторож, провел старика по разноцветной горе и рассказал о том, как отбросы перекочевывают из грузовика в глубины. Старик с Такуари слушал, кивал с беззубой улыбкой, говорившей не только о страданиях, но и о жажде хоть как-нибудь выжить. Устав от прогулки, он сел и прислонился к колесу грузовика, и тогда Деметрио предложил ему остаться в гараже до четырех утра, в укрытии и в тепле, пока они с Негром не придут утром и не отвезут его обратно на Такуари. Старик согласился. Подходящее место сразу нашлось рядом с дежурным грузовиком, за штабелем старых покрышек, которые годами стояли в дальнем углу. Старик, улыбаясь, попрощался и пробормотал слова благодарности. Деметрио переоделся, оставил спецовку в грузовике рядом со спецовкой Негра, обернулся в бездонную глубину ангара и представил себе старика с Такуари у стены, возможно, уже спящего, усталого и древнего, а может, даже смог разглядеть его тень через отверстие в покрышке.

Утром, без десяти три, Негр увидел Деметрио. Негр ждал, привалившись к грузовику, скрестив на груди руки, с недовольным и одновременно улыбающимся лицом. Он театрально распахнул дверцу грузовика и показал Деметрио кабину. Деметрио пробежал до конца ангара, пинком откатил три-четыре старые покрышки и вернулся к Негру уже без удивления и растерянности в глазах. Тщательно осмотрел бардачок, заглянул под сиденья. Он знал, что не найдет спецовок в шкафчиках еще до того, как пошел проверять. Наконец, он сел за руль, и Негр принес две другие спецовки, с чужого плеча. Теперь Деметрио смотрел в пустоту, в сторону неподвижной гнилой махины, едва различимой в холодной утренней тьме.

LIII

Тяжелым ударом, вот чем обернулась для бедняги Деметрио история с этим нищим, я знаю, он переживал больше, чем го-

ворил, это понятно, строил из себя умника, не хотел выглядеть одураченным, но меня-то как ему обмануть, скажи на милость. Я помню, лицо у него вытянулось, только на секунду, он сразу взял себя в руки, но я видел это лицо и уже не забуду. Куда ты положил спецовки, Негр, где ты их оставил? скажи, не может быть, ты уверен, Негр? не смотри на меня так, ищи, друг... Он не долго сомневался, сразу затих, бедняга, смекнул, что к чему, да какое там, он с самого начала понял, просто не хотел смириться, конечно, я понимаю, Деметрио, сказал я ему, каждый ошибается, брось, давай-ка, переоденься спокойненько, возьми, Деметрио, надень вот эту, которая поменьше, тебе отлично подойдет, мне вторая маленько жмет, но плевать, давай, брат, поторопись, а то уже поздно.

Он все утро держался молодцом, мы хорошо позавтракали, даже в бодром настроении. Единственная неприятность ждала в конце проспекта Независимости, ох, там я подумал, вот черт! сейчас он захочет пойти искать старикашку, черт его дери! Но нет, ничего подобного, он взял себя в руки и говорит, Негр, сходи лучше ты, а я посижу, пакетов-то мало, ты не против? Конечно, брат, еще не хватало, говорю, вышел, но, правда, признаюсь, хоть мне и пришлось для этого подпрыгнуть, посмотрел исподтишка на тот подъезд, потому что помирал от любопытства, там этот тип или нет, что тут поделаешь. Но никого не увидел, а? ой, ну я не очень разглядывал, конечно, но мне показалось, что не было его. И сразу вернулся в грузовик, Деметрио тоже ничего не спросил.

Мне казалось, ему нужен отпуск, но, ясное дело, у кого его будешь просить, если честно, я работаю в два раза больше, но столько не брюзжу, говорил я ему, ты один, живешь себе потихонечку, и меня вообще-то даже злит, что ты такой, не знаю, это несправедливо, тут убиваешься на работе, а сеньору неженке осточертело, видишь ли, работать, посмотрите на него. Но все-таки мне казалось, что ему обязательно надо отдохнуть, хоть несколько дней, не знаю, поехать в деревню, например, в конце концов, он же деревенский, верно? пару неделек и готово, он бы перестал принимать все так близко к сердцу. Хотя, да, сейчас, после всего, что случилось, начинаешь думать, надо было бросить все это раньше, все это дерьмо, а не терпеть, пока и впрямь станет невмоготу.

LIV

Она извивалась так, как будто хотела что-то нащупать; он наблюдал за ее беспорядочными содроганиями, за этой полуженщиной — полумиражом. Хотя видеть себя он не мог, но от-

четливо представил на секунду, нарисовал в воображении собственное тело в четырех стенах, со спины, терзающее другое тело. Из этой воображаемой позиции он искал точки соприкосновения с чужим телом, но с трудом совпадал с ним только в ритмичном слиянии, искал хоть какую-нибудь деталь: ласковое прикосновение к затылку, грудь, которая вздымалась и опадала, приближалась и отдалялась; но все казалось напрасным, ничто в нем ему не принадлежало. Зачем, зачем стонать, для чего это вранье, молча кричал он Веронике, мерзость, секс сам по себе, без нашего участия, секс, творящий сам себя. Деметрио думал сбивчиво, урывками: твой пот, как холодная вода, мысль обрывалась, и снова: мне жалко тебя, когда ты стонешь.

Однако был момент, когда Деметрио сдался, на несколько секунд поверил, что был не прав. Потеряв контроль, он настойчиво бил Веронику на глубину ножа и смутно слышал: ай, любимый, да, быстрее, продолжай, как я люблю тебя такого. Вдруг — нарастающее головокружение, все меркнет, он не помнил ни дня, ни места, ни номера комнаты, другой голос присоединяется к однообразной песне, а-а, да, любимый, я тоже, зеркало лопается на тысячи осколков, их острые фрагменты падают ему на спину и впиваются в его плоть, причиняя восхитительную, нестерпимую муку. Молния прошла через все его время, объявляя конец, слепота сковала движение, и он упал. Потом они нежно целовались, и он любил ее больше, чем когда-либо, или как всегда, или как раньше. Но хватило одного объятия, еще одного поцелуя, слишком долгого, чтобы зеркало мгновенно восстановилось и улетело обратно на потолок, чтобы прильнувшая к нему в нежном упоении женщина опять превратилась во что-то чужое и липкое.

Уже лежа на спине, он закрыл глаза и представил себе одиночество на берегу. Ночь, все замерло в ожидании. Вода доносила свое журчание, прохладный воздух слегка струился. Не поднимая век, он медленно вздохнул, чувствуя, как ночь затекает в его легкие и наполняет их крошечными звездами. Он поискал другие пальцы, их руки сплелись. Он дотронулся до мягкого, спокойного бедра и сразу понял, что выше будет тонкая белая рубаха, живот, похожий на алтарь, далекое лицо, а потом волосы, пылающие призрачные нити; он знал, эти пальцы зовут его воскреснуть, чтобы снова умереть, и, распаляясь от этого прикосновения, бросился на нее, чтобы овладеть ею окончательно.

LV

Ярок вспыхивают облака. Мощные вершины ощупывают лихорадочное небо. Отлетевшие быстрые камушки царапают ко-

жу великана; и пока еще горят багрянцем облака. Заглянув в воды Перито-Морено, гора Лопес с удивлением замечает свою дряхлость. Ветры бродят наугад, возле стремительных вершин, покрытых пятнами снега, под облаками, готовыми угаснуть и окраситься в мертвенно-лиловый цвет.

Новый дом выходил на мощеную улочку. По ней ездили не столько машины, сколько велосипеды, было чудесно, потому что здесь бегали, кричали и играли дети — моя улица оказалась чудесным захолустьем. Мы жили на втором этаже, не высоко, но для меня это стало удивительнейшей новостью — обедать и спать над головами соседей. Кухня была темная, и отец все повторял маме, как сейчас его слышу, послушай, тут нет света, нужно пробить окно, вряд ли это очень дорого, что скажешь, но мать и слушать не хотела, говорила, что при такой уйме предстоящих дел мы не можем тратиться на дырку в кухне, которая нужна только для того, чтобы чистить лук при свете солнца, замолчи, будет тебе, дурень, не говори глупостей. В глубине квартиры была маленькая ванная, там мама стирала белье. Она развешивала его на веревках под окном гостиной, и, поскольку мы делили эти веревки с соседями по площадке, приходилось с ними договариваться; если честно, то нам нелегко давалась жизнь в окружении стольких людей, ведь там, в окрестностях Барилоче, соседом назывался человек, живущий от тебя в десяти минутах ходьбы, к нему иногда наведывались попросить дров или встречали его летом, когда он плавал в Науэль-Уапи или в Морено, но здесь, в Ланусе, было очень много домов, довольно тесных и низеньких, двери квартир находились одна над другой, это напоминало жизнь в пчелином улье, но отец уверял, что в самой столице дела обстоят еще хуже, и обещал как-нибудь взять меня с собой и показать. Мне отвели квадратную комнату с двумя кроватями — на тот случай, если вернется мой брат Мартин. В почти пустой комнате был только стенной шкаф с деревянными полками, облицованными белым картоном, и с металлическим стержнем для вешалок. Я сложил в него все свои пожитки, кроме книг и пазлов — их я клал на пол или в ящик из-под фруктов, который отец отшлифовал, покрасил и отдал мне, возьми, переверни, и сможешь ставить на него лампу. Тогда я еще не хранил собранные пазлы, не было смысла. Книжек было две, в твердом желтом переплете, с изображением исторических личностей и списком других книг на задней обложке. Шрифт в них был очень мелкий, страницы плотные и истертые, мне нравилось их трогать и нюхать. Самым ценным преимуществом в этом доме оказалась вода, нам уже не приходилось греть ее в кастрюлях, потому что на кухне стоял огромный нагреватель, немного терпения — и она

текла, отменно горячая. Родители спали в тесноте, но не жаловались. Мы со стариком каждое утро ходили искать работу, он — сунув под мышку газету и кашляя; мать протестовала, беспокоилась, тепло ли он оделся. Когда мы уходили, она принималась наводить в доме порядок к нашему возвращению.

Взгляд горы вертикален. Расплывчатые тени. В озере что-то бурлит и нарушает рисунок воды, что-то энергичное и глубинное. Все контуры двигаются, не закрепляясь на занавесе горизонта, то появляются, то снова исчезают. Нет ни птиц, ни мороси, небо сейчас пустое, только немного покрасневшее, или даже лиловое, из-за отдельных облаков, которые распадаются в тишине.

LVI

Было ровно четыре утра, когда Деметрио, одетый в чужую спецовку, возник в темноте, как бледная головешка. От неприятных испарений Рио-де-ла-Платы его губы задеревенели, он выпустил ими компактную каплю слюны в направлении канализационной решетки и проследил, как прозрачная субстанция разделилась между двумя-тремя прутьями, прежде чем упасть в темноту; удовлетворившись, он почти автоматически подобрал зубами лишнюю влагу с губы. Негр что-то ему сказал. Он не ответил, сосредоточенный на прутьях решетки, на не до конца натянутых перчатках, погруженный в себя. Негр начал терять терпение и растолковал ему, какую взбучку им устроит компания, какую он получит лично от Негра и чем их одарит судьба вслед за этим. Казалось, глухота Деметрио от этого только усугубилась, он напоминал эскимоса, поднявшего от удивления плечи и забывшего их опустить. Голос впадины уходил по проспекту Независимости в сторону Девятого июля, не задерживаясь на параллельных улочках их будущего маршрута. Одетая в перчатку рука Негра хлопнула Деметрио по плечу, не то чтобы грубо, но с явным намеком на менее дружелюбное обращение в перспективе. Деметрио со вздохом вышел из столбняка, подтянул перчатки и наклонился, чтобы взять за узлы два пакета и без промаха бросить их Негру, тут же наклониться снова, снова отправить пакеты в полет, точно в руки напарнику, который составлял их в отсек грузовика, пока Деметрио брался за следующие.

Утро симметрично распределилось по часам. Дефенса ждала их в своем неизменном обличье и без кошек; на улице Боливара, а затем на Перу работа оказалась совсем легкой и без сюрпризов; улица Пьедрас, наоборот, с безлюдным гостеприимством щедро предложила им свои отбросы; на углу

Пьедрас и Умберто I они заметили какую-то личность, но не женского пола; на спуске проспекта Сан-Хуан, повернувшись лицом к ветру, Негр увидел, наконец, первую дрожащую от холода студентку; на Пасео Колон и при новом подъеме по проспекту Независимости встречалось гораздо больше такси, автобусы наполовину заполнились заспанными пассажирами; по направлению к центру на Бельграно Негру уже с лихвой хватало на что поглазеть, но на этот раз он не встречал ни поддержки Деметрио, ни его улыбки.

В этот час город уже пытался от них избавиться. Фосфоресцирующие чужаки, они собирали последние пакеты с чувством смутной неловкости, которую никогда не обсуждали. Последняя смена самая паршивая, обычно жаловался Негр, Деметрио так не считал, но кивал, соглашаясь. Большое количество пакетов оказалось с дырами. Собаки и кошки, похоже, в эту ночь вступили в сговор, намереваясь добраться до самых потрохов всей округи, ее интимных тайн, спрятанных в траурные мешки, завязанные узлом, хотя бы только для того, чтобы их содержимое увидела единственная интересующаяся этим пара. Или, по крайней мере, он, Деметрио, засмотревшийся теперь на детские подгузники, сиявшие среди гнилья, странно белоснежные под черной кожей целлофана, чистые и юные среди всего протухшего, ненужного, сломанного, отброшенного, забракованного, что наполняло пакеты до краев, на эти светлые и деликатные подгузники, которые всего лишь скрывали свое истинное содержимое.

В баре на улице Боливара они взяли гренки и кофе с молоком. Говорили мало и с долгими паузами. Официант спросил Негра, как у них дела, и Негр ответил, хорошо, скрипим потихоньку. Вижу, как и все. Да, жизнь непростая штука. Но надо крутиться, верно? Конечно, надо крутиться, что поделаешь. Да-да. Деметрио не понравилось, что молоко холодное, он немного скривился, но ничего не сказал. В баре сидели еще два посетителя. Один толстый и расплывшийся, второй, полусонный, похожий на печального или виноватого священника.

LVII

Это или пересмешник, или жаворонок. Или шевелящийся клочок дыма. Облако еще не закончено, небо пока не сомкнулось, оно путается, расползается... Летящая птица. Нет, тень. А это отражение на поверхности озера? Не хватает деталей. Есть еще темные? Может быть, где-то на дне... Он видит, что небо вспыхнуло пурпуром, и несмотря на это... Здесь ничего не сделаешь, не получается.

Он, мой отец, вставал в два часа ночи. Возвращался в полдень, ел, немного сидел с матерью, читал газету и ранехонько ложился, потому что в три начинали выпечку хлеба, а это дело ждать не может. Мне он сказал, чтобы я оставался дома и помогал матери, что он один сможет нас обеспечить, а если нет, тогда посмотрим, что в доме нужно многое починить, и что для этого я и нужен, уже взрослый парень, да и матери, бедняге, такой одинокой, будет компания. Она годами повторяла, что всему виной холод, вечно твердила одно и то же, как будто уверенность в точной причине как-то ее утешала. Выходить из дому так рано, да еще зимой, повторяла она. Но я-то знаю, что кашель отца мы слышали уже давно.

Склон горы по другую сторону. Какой-нибудь фрагмент дня, наверху, далеко. Где же блики, которых не хватает на озере?

Я знаю, он делал все, что мог. Вот чего я никак не могу понять, так это какого дьявола я, бездельник, баба, сидел дома и красил в зеленый цвет какую-нибудь дверь или готовил вместе с мамочкой завтрак. Чего ждал? Нет чтобы выйти и сказать ему, нет, это вы останетесь дома, отец, а работать пойду я, потому что я здесь самый сильный, а вы отдыхайте, или хотя бы подменить его под утро, не знаю, сделать хоть что-нибудь, хоть что-нибудь. Вместо этого я тайком набивал комнату сигаретами и пазлами.

Небо вспыхивает пурпуром?

Мы повесили в гостиной занавески, отец принес подержанное кресло-кровать с твердыми, прямоугольными подушками светло-горчичного цвета. Я приделал к нему недостающую ножку.

Внизу тоже не хватает деталей: вода струится только обрывками. А та сосновая роща, которая должна быть именно на склоне, никак не выходит.

Старое, но удобное кресло, вполне приличное. Оно не скрипело, когда с него вставали. Я его починил.

Сумерки оборвались на половинѐ. Лучше не становится.

На этом кресле, именно на нем, он лежал с тех пор, как началась пневмония.

Он перепробовал все детали. Ни одна не вписывается в гору, не сливается с водой, не годится ни для облаков, ни для снега.

LVIII

Душ ливнем бил по плечам. Было больно, как будто его избивают, он стоял неподвижно, беспомощный под наркотическим действием сна. Пар облизывал кафельные плитки. Деметрио

провел по всему телу сильно намыленными руками, налил на голову шампунь, предоставив воде самостоятельно промыть ему мозги. Он смотрел, как пена бежит по дну ванны, оставляя на лодыжках белый след, и представил себе, что это закручиваются завитками седые волоски, которые у него появятся или уже появились, на своем пути к водосточным трубам. Выключив кран, он поискал чистое полотенце. Лениво вытерся. Кожа стала шершавой, или это со временем в нее набились мелкие ворсинки полотенечной ткани. Дойдя до бедер, он остановился. Оглядел дряблый бледно-розовый член, похожий на несуразного спящего зародыша. Слегка сдавил одной рукой яйца, другой обнажил головку. Полотенце упало на пол. Сев на край ванны, он собрался мастурбировать и нащупал ступней полотенце. Ему показалось, что звонит телефон, но он не обращал внимания, пульс стал учащаться, он закрыл глаза и продолжил, в гостиной отчетливо звонил телефон. Он прервался. Но подходить не стал. Вскоре звонок смолк. Он представил себя со стороны: придерживающим мошонку, унылым, по-прежнему немного заспанным, в ожидании, что телефон зазвонит опять.

Алло? Деметрио, это я. Привет. Привет, почему ты не подходил? Спал. До сих пор? знаешь сколько времени? Да, знаю, Вероника, скажи, что ты хочешь. Поговорить с тобой, дурачок, чего же еще. Ну, прекрасно, вот он я, говори. То есть как "говори"? ты разве не знаешь, что сегодня воскресенье и играет "Бока"? Ах, да, Негр в пятницу сказал, что мы играем, может, схожу посмотрю... Веро? Ты здесь? Да, здесь, чертов ублюдок, ты ублюдок и я тебя ненавижу, слышишь? Да, конечно, как я могу тебя не слышать, если ты орешь, как сумасшедшая. Ты думаешь, что можешь издеваться надо мной всю жизнь, и я буду вечно терпеть? Слушай, Веро, успокойся, разбудила меня, теперь оскорбляешь, охолони немного, ладно? Ты сильно ошибаешься, если так думаешь, очень сильно! Меня затрахали твои претензии, Вероника. Ты сволочь! У тебя истерика. Послушай, Деметрио, мало того, что я должна звонить тебе, потому что ты не звонишь, чтобы не тратиться, мало того, что я могу звонить, только когда Негр ушел на стадион или на другую работу, мало всего этого, так я еще должна навязываться и напоминать тебе о наших встречах, но знаешь что? так дальше не пойдет, потому что я не намерена терпеть, слышишь? я больше не стану этого терпеть. Послушай, Веро, у меня есть и другие дела, кроме свиданий с тобой, иногда мне кажется, что помимо детей ты думаешь только о том, как бы обмануть своего мужа. Да как ты смеешь, Деметрио Рота, как ты смеешь! Ладно, не злись, детка, прости, послушай, ладно, давай сдела-

ем так, я сейчас оденусь, позавтракаю и приду, договорились? Нет, не договорились, я сыта по горло, так дальше не пойдет, понял? не пойдет. Отлично, подружка, тогда объясни мне, как пойдет, будь добра. А это очень просто, дорогой, единственное, чего я хочу, так это развестись, навсегда, взять чемоданы, забрать вещи и переехать к тебе. Ну, приехали, опять ты за свое! а дети что? Об этом мы уже говорили, Деметрио, они останутся с бабушкой, она для этого и есть, не видишь, как она жаждет вырастить их на свой манер и всегда мне перечит, вот и отлично, пожалуйста, пусть переезжает в дом своего любимого сыночка и выращивает их, мы можем с ней меняться через неделю, у меня скоплены кое-какие деньги, ведь в твоем доме найдется место для двух детишек? разве нет? разве ты не понимаешь, Деметрио, что так даже лучше! конечно же лучше, когда я с детьми в твоем доме, а в выходные с ними отец и бабушка, пусть на неделе будут со мной, я их вожу в школу, они привыкли, тебя это не затруднит, Деметрио, я тебя люблю, ты не понимаешь, чего мне стоит и дальше жить в этом доме, зная, что ты там один в своем! Деметрио, что ты молчишь? Э-э... послушай, Вероника... я не так уверен, деньги у тебя когда-нибудь кончатся, не знаю, а детям нужно... Детей будет содержать их отец, так же, как сейчас, бестолковый, кроме того, я прекрасно знаю, что им нужно, за меня не волнуйся, и, когда мы будем вместе, ты можешь подыскать другую работу, тебе не кажется, ты ведь на своей не слишком убиваешься. Ты поосторожнее, ладно? не диктуй мне, сколько я должен работать. Но, любимый, я это говорю потому, что случай у нас непростой, сам подумай! Да, Веро, я уже много раз думал и говорю тебе, ты не можешь здесь жить, я уже говорил. Но почему, господи, почему? Потому что нет, Вероника. Очень хорошо! очень хорошо, договорились, как тебе угодно, но знаешь что? если ты через столько времени не хочешь жить вместе, я тебя бросаю. Ах вот как? Да, окончательно. Правда? Да, сеньор, правда! Ай, лад... Что "ай", что "ай", я говорю серьезно, мы больше не увидимся, я сыта по горло обещаниями! Ты хочешь сказать, что предпочитаешь все порвать, вместо того чтобы иногда встречаться, как сейчас? Именно. То есть вот так: либо черное, либо белое? Нет, Деметрио, просто ты никогда меня не поймешь, о боже, в каком одиночестве ты меня оставляешь... Одинокой ты остаешься, потому что сама захотела, Веро, почему бы тебе не успокоиться немного и не подумать хорошенько. Потому что я уже достаточно думала, если я не могу жить, как хочу, то предпочитаю не думать, что есть другая жизнь, чао, Деметрио, прощай, в душе ты будешь еще более одиноким, потому что не умеешь никого любить.

LIX

Костер посреди площади похож на оранжевый куст, который со всех сторон треплет ветер. Старик с Такуари в последний раз поглядел на него, пока, прихрамывая, разворачивался в другую сторону. Одна бровь кровоточила, ребра саднило. На секунду он засомневался. Хотел было пойти назад, но враждебные взгляды горстки нищих заставили его передумать. Проспект Девятого июля был такой бесконечный и такой пустынный, что смена огней светофоров казалось какой-то нелепой шуткой или ошибкой ночи. Обелиск вдалеке указывал на письмена, начертанные на расплывчатом, необычном небе. Ощущая самый страшный в своей жизни холод, старик с Такуари поднял воротник и пошел, с трудом переставляя ноги. Он по-прежнему слышал, как на площади выкрикивают ругательства и приветствуют его бегство раскатами пьяного гогота. Не останавливаясь, он посмотрел на свои ступни, босые и грязные. Он мог понять, что его лишили еды и скамейки для сна, мог понять, что его избили за отказ уйти с площади, но зачем им понадобились старые сапоги, если они не собираются их носить? Они даже не позволили ему подобрать их, когда он поднялся с земли, и кто-то двумя пинками отфутболил их далеко. Теперь старик с Такуари шел вниз по проспекту Независимости, стараясь остановить кровь, с окоченевшими ногами и лодыжками. Вдалеке костер, похожий на огненную птицу в кольце оборванных силуэтов, махал крыльями, не взлетая.

LX

Деметрио нанялся учеником часовщика в маленькую мастерскую напротив городского рынка Лануса, в двух кварталах от дома. Он должен был работать у толстяка Маскарди с девяти до двух и с четырех до девяти, сортировать по размеру колесики, маховики, пружины и шестерни, пробивать отверстия в кожаных ремешках для наручных часов и, помимо прочего, протирать стекла и подметать пол после рабочего дня. Позднее, когда Деметрио заслужил доверие толстяка, тот разрешал ему изучать кристаллы кварца испорченных электронных часов, которые им приносили в починку, и, если работы было не много, объяснял устройство удивительного революционного изобретения: атомных цезиевых часов. Со временем время меняется! возбужденно восклицал толстяк, и был совершенно прав, по крайней мере, в отношении Деметрио, которому пришлось расстаться со своим возрастом, повзрос-

леть в одночасье, как пророчила его мать. Правда, ее пророчество не предполагало, что они останутся в доме вдвоем.

На первую зарплату Деметрио купил старенький телевизор неизвестной марки, с двумя бельевыми прищепками на антеннах и еще одной, прижимавшей переключатель каналов, аппарат имел вполне сносный вид. К тому времени его мать начала приходить в себя, немного спала по ночам, проявляла какой-то интерес к телевизионным программам, ходила за покупками, в одиночестве бродила по кварталу. Когда Деметрио приходил домой, они обедали, смотрели новости, а потом говорили о часах или о Мартине (об отце — никогда) до тех пор, пока толстяк не открывал мастерскую после перерыва. Несколько месяцев назад медицинская комиссия признала Деметрио негодным к воинской службе из-за плоскостопия, но все равно он стал единственным кормильцем в семье и не был обязан, как Мартин, служить в армии — брат изредка писал, что планы продолжить военную карьеру и проблемы в гарнизоне Неукена пока не позволяют ему их навестить. Деметрио курил много, как никогда, а по выходным продолжал складывать пазлы. Над своей кроватью он повесил портрет Мерилин Монро, с обольстительной улыбкой наблюдавшей за его одинокой половой жизнью. Вот уже несколько месяцев он не писал писем, все равно она ни разу ему не ответила.

В учениках у толстяка он проработал около полугода. А потом, поскольку родительские сбережения закончились, а зарплата в часовой мастерской Ланусе не росла, Деметрио несколько раз съездил в столицу, и в один прекрасный день вернулся, получив место помощника часовщика на улице Эсмеральда. Путь был неблизкий (поездом до вокзала Конститусьон, потом — на тихоходном, переполненном автобусе, и, наконец, несколько улиц пешком до Эсмеральды), зато платили почти в два раза больше, чем в Ланусе. Деметрио не забывал толстяка Маскарди и иногда его навещал. Мастер выходил к нему в синем фартуке, с карманом, набитым пинцетами и миниатюрными отвертками, и приглашал выпить с ним матэ. Со временем время меняется, парень! Но уже тогда Деметрио начал подозревать, что в жизни некоторых людей время не меняется никогда.

LXI

Лично мне свобода всегда казалось такой штукой, которую лучше не искать, если она все равно не про тебя, но Деметрио постоянно об этом говорил, о том, что хочет быть свободным, не знаю, как будто можно — раз! и послать все к черту. Я,

дорогой мой, предпочитаю думать о том, как прокормить своих сыновей, говорил я ему, но он с каждым разом все меньше меня слушал, общаться с ним стало невозможно, что делать. Так сложилось.

Отмочил какую-нибудь дурь, это уж наверняка. Парень из бара мне кое-что рассказал, и я понял, что он бросил все, не сказав ни слова, просто смылся! И когда прошло одно утро, потом другое, а он не появился в гараже, я ему позвонил, он не ответил, прошло еще одно утро, и тогда я решил поехать к нему домой. Долго трезвонил в дверь и вернулся расстроенный, вечером снова звонил ему по телефону, никакого ответа. Так мы три дня ничего не знали, до тех пор пока мне не удалось, наконец, поговорить с хозяином квартиры, он мне сказал, что Деметрио предупредил его о своем отъезде, совершенно неожиданно, три-четыре дня назад, заплатил за месяц, уехал, и все. Я уже видел, что с ним что-то происходит, я тебе рассказывал, слишком хорошо я его знаю и видел, парень что-то задумал, но, ясное дело, разве можно такое себе представить, все-таки мы были друзьями, и он должен был мне хоть что-то сказать, правда? Знаешь, Негр, в этом месяце я ухожу с работы, хотя бы так. Но нет. Просто все бросил и исчез. Как тебе нравится?

Правда, кажется, он не все забрал из дома, остались тарелки, какая-то одежда, постель, всякие пустяки, сигареты! и это притом, что он никогда не курил, никакого курева, Негр, а то потом трахаться не сможешь, так бедолага шутил, не знаю, оставил довольно много вещей в квартире, как будто уехал только на время, хотя ясно, что этого не может быть, потому что на кой черт он тогда заплатил за квартиру и сказал хозяину, что съезжает, почему не предупредил на работе или не попробовал взять отпуск за свой счет, ведь не так уж трудно выпросить несколько дней бесплатно. На самом деле, знаешь, что я тебе скажу? я даже не уверен, что он вообще что-то взял с собой, он не очень-то любил копить барахло и тратиться на тряпки, почти всегда ходил в одной и той же обуви, носил две-три пары брюк, я их помню, а они как раз все висят в шкафу, хотя, может, у него были другие, не знаю. Но квартира всегда так выглядела: полупустой. Знаешь, на душе паскудно, что приятель взял и исчез, ничего не сказав, как будто никогда тебе не доверял. Имей в виду, я его не критикую! у каждого своя жизнь и точка, просто у нас дома все к нему очень хорошо относились, понимаешь? я не знаю, натворил он что или с ним случилась беда, одному богу ведомо, но мы в семье его очень любили, и, знаешь, моя жена, как узнала, что Деметрио исчез, целый день проплакала, святая душа.

LXII

Он с таким нетерпением ждал, когда сменится сигнал светофора, как будто это был вопрос везения. Под мышкой он нес небрежно завернутый пакет. По дороге в обе стороны мчались машины, и противоположный тротуар рябил далеко впереди. Сияние утра разбивалось о линию крыш, телевизионные антенны и опрокидывалось на грязную мозаику улиц. В самом начале пешеходной "зебры", между двумя первыми полосками, медленно испражнялась собака. Деметрио чувствовал легкую боль в висках, она пульсировала в такт крови. Его одолевал сон, рождаясь под веками, прорастая из спины, обнимая за шею. Сигнал светофора все никак не менялся.

Он поднял глаза и посмотрел на перекресток, левее светофора. Несколько рабочих в касках, похожие на терпеливых пауков, забравшихся на строительные леса, копошились на многометровой высоте, а позади лесов виднелся фасад старинного массивного здания с балконами и кариатидами. От широких окон кое-где остались черные дыры, через которые открывались опустошенные внутренности дома с кусками гипса и цемента, свисавшими с еще оклеенных стен. Почти все кариатиды были обезглавлены. Там, где, по всей видимости, находился парадный вход, висела густая зеленая сетка, позволявшая разглядеть внутри только тени. Из разных башенок и выступающих частей здания росли нелепые пучки травы безукоризненно зеленого цвета. Деметрио увидел, что один из рабочих сделал неловкое движение и вот-вот упадет. Его товарищи тут же приблизились, плетя паутину, к тому месту, где он держался рукой за настил, не слишком рассчитывая на веревку, тянувшуюся от его талии к крыше массивного здания. Как только его водворили обратно, все снова гармонично задвигались, объединенные конструкцией лесов. Пешеходик на стекле светофора замигал и к тому времени, когда Деметрио спохватился, настороженно, как электронный хамелеон, окрасил себя в зеленый цвет. Народ ринулся в обоих направлениях. Растерявшись, Деметрио не знал, что делать: ступить на белые полосы или остаться и наблюдать за рабочими на лесах. Ему показалось, что на него, бросившего якорь перед зеленым сигналом светофора, смотрит весь проспект, но он продолжал стоять, рассматривая необычный свежий мох под мышкой одной из безголовых кариатид, и вот уже светофор затикал, водители крепче стиснули руль, весь перекресток завибрировал, готовый взреветь, и тут Деметрио бросился бежать по зебре. Когда он добрался до другого тротуара, взревевшие моторы обдали ему спину горячим воздухом.

В центре витрины стоял настольный футбол, вокруг него с одной стороны лежали мячи, с другой — куклы. В каждом углу было несколько пулеметов, лазерных и не лазерных, полное снаряжение для Вьетнама, набор шпаг и светящихся кинжалов. Сверху свисали гирлянды и переливающиеся венцы Иисуса, смешивая свой блеск с уличными огнями по другую сторону витрины. Внизу, между отражением балконов серого здания, рядом с белокурыми куклами красовались тролли, эльфы и галактические супергерои, похожие на уродливых юных карликов. Деметрио вошел в магазин; коробки, велосипеды и снова коробки громоздились на его пути. Он подошел к прилавку и положил на него тот пакет, который нес под мышкой. Продавщица с глазами сомнамбулы подняла на него вопросительный взгляд, он указал на пакет, продавщица поглядела на пакет и снова подняла на Деметрио свои бесстрастные глаза. Он нетерпеливо раскрыл пакет и извлек из него пазл на пятьсот деталей с фотографией горных сумерек на берегу большого озера. Продавщица погрузилась в созерцание пурпурного пейзажа и беспокойного колебания воды, потом снова обратила на Деметрио свой равнодушно-вопрошающий взгляд. Он легонько постучал ладонью по фотографии и сказал: вот, возьмите, это не годится. Что значит не годится? Вы о пазле? Да, да, он бракованный. Бракованный? этого не может быть, сеньор. Я вам говорю, этот пазл не годится. Почему вы так уверены? Потому что я не могу его сложить, он не складывается, со мной это впервые за двадцать лет. Продавщица как будто проснулась или получила удар током, она испуганно посмотрела на него, плавно, как на колесиках, повернулась и поплыла звать другую женщину, толстуху постарше, и после напряженного диалога с подчиненной та подошла, чтобы любезно вернуть Деметрио деньги. Сладким голосом, поколыхав грудью, она предложила обменять пазл, но Деметрио ответил, что не хочет, забрал деньги и, не попрощавшись, ушел.

LXIII

Мартин написал им, что на следующей неделе приедет из Неукена, но в тот же день, когда они с матерью получили письмо, позвонил вечером с вокзала Конститусьон и сказал, что уже выезжает к ним на такси. Деметрио почти два года не видел брата — тот не хотел навещать их с самого первого лета военной службы, и еще меньше, когда узнал о смерти отца. На похоронах мать оплакивала двоих: мужа, которого больше никогда не увидит, и сына, которого больше не хотела видеть. Но Деметрио решение Мартина совсем не удивило. Не присутствовать на прощании и похоронах — это было все

равно что вылететь из школы или исчезнуть с девчонкой во время каникул, то есть проявить неуважение к отцу, назначившему Мартина без его согласия старшим в семье после себя. С тех пор как Мартин начал проявлять своеволие, Деметрио рос между преклонением перед мятежной, сильной личностью брата и необходимостью заменять его и даже принимать сторону отца в каждом их противостоянии. Мартин убеждал Деметрио, что он, младший брат, ведет себя предательски — из-за его покорности семья (если не считать одного сына) стала такой, как требовал отец.

В то утро Деметрио спорил с матерью. Сначала она заявила, что и слышать не хочет о наглеце, не пожелавшем проститься с покойным отцом, но Деметрио убедил ее воспользоваться шансом, поговорить со старшим сыном и восстановить отношения. Может быть, он попросит прощения, сказал Деметрио — самому себе он не мог не признаться, что мечтает увидеть Мартина. Уже в полдевятого мать не только поменяла мнение, но начала печь сырный пирог, готовясь к встрече сына. Деметрио предпочел не напоминать ей, что это он, а не брат, всегда просил ее приготовить на свой день рождения сырный пирог. Я очень нервничаю, сынок, — призналась она с затуманенными глазами, обнимая его на кухне.

Без пяти девять Мартин уверенно вошел в дом. Он остановился перед матерью, позволил ей несколько раз поцеловать себя в щеку, потом повернулся к Деметрио, который ждал, не зная, что делать: протянуть брату руку или броситься его обнимать. Мартин изменился. Вернее, изменились его манеры, мимика, но черты лица, если не считать двухдневной щетины, оставались точно такими, какими их помнил Деметрио. Мартин подошел и энергично похлопал брата по спине, толкнув широкой грудью в грудь. Но когда Деметрио хотел его обнять, Мартин уже отстранился и замер навытяжку перед дверью гостиной, словно ждал приглашения войти и сесть. Мать потянулась за его рюкзаком, но Мартин сдержанно отвел ее руку и бросил его на кресло в гостиной. В форме и сапогах Мартин выглядел высоким, намного выше отца.

Ужин прошел в расспросах, прерываемых томительным молчанием. Мартин на все отвечал с готовностью, но отчужденно, как будто от него требовался лишь точный отчет о его действиях. Положением в гарнизоне он доволен. После срочной службы его назначили командиром отделения и скоро произведут в ефрейторы. Деметрио заметил, что за едой мать несколько раз пыталась перевести разговор на прошлое, на Барилоче, но ей это не удалось. Однако вся осторожность матери и все расчеты Деметрио оказались разбиты, когда Мар-

тин, съев ужин и неохотно поковыряв вынутый из духовки сырный пирог, вдруг спросил: и как же умер старик?

Перед сном братья сели на кухне поговорить. На столе стояла бутылка красного и сифон. Деметрио узнал, что Мартин познакомился с девушкой из Рио-Негро и больше года назад они обручились. — Поэтому ты не звонишь? — спросил он Мартина, стараясь показать, что они заодно. — Нет, Деметрио, — ответил брат, — это она уговорила меня вас навестить. Навестить для чего? Откуда я знаю, для чего, чтобы увидеться, посмотреть, как дела. Деметрио налил себе еще стакан вина. — Кроме того, — продолжал Мартин, — сейчас, когда я вижу мать, я понимаю, что правильно сделал. Если б ты приехал раньше, ты тоже сделал бы правильно, Мартин, не прикидывайся дурачком. Брось, Деметрио, ты не знаешь, чего мне стоило решиться к вам приехать, этого ты никогда не сможешь понять, потому что никогда не уезжал, всегда был тут, под крылышком, но зато теперь мне... Зато теперь что, Мартин, что, разве ты не понимаешь, что мог приехать намного раньше и все было бы проще. А ты не понимаешь, что сейчас все совсем не так, как было бы раньше, потому что мама очень, очень сдала за три года? Деметрио не ответил. Они немного помолчали. Послушай, ты и я, мы могли изменить нашу семью, — заговорил, наконец, Мартин, — ты принял решение, кому из нас оставаться за бортом: мне или отцу, а мама смирилась бы с любым вариантом. Ты оставил меня в одиночестве, — продолжал он, — теперь в одиночестве вы, а у меня все офигительно; так что заботься о матери, расплачивайся с ней за ее жертвы, а у меня долгов нет, поэтому я тебе и говорю, что у меня все офигительно, Деметрио, в жизни всегда так. Когда-нибудь ты это поймешь.

LXIV

На нем был черный шерстяной свитер, вокруг небритой шеи намотан серый клетчатый шарф. Старые линялые джинсы полностью приспособились к его бедрам, коленям и паху. На ногах — неизменные черные сапоги, потерявшие форму и запах кожи, уже почти без подошвы. Деметрио шел, ощущая ступнями асфальт. В этот день он оделся продуманно. На одном плече висел рюкзак цвета хаки, из тех, что уже не производят — он висел на одной лямке, и для устойчивости Деметрио приходилось немного наклоняться в другую сторону. При каждом шаге рюкзак бил его по левому заднему карману джинсов, заставляя бренчать несколько монет: ключи, спохватился он. Секунду он ощупывал другой карман, но потом вспомнил,

что ключей нет. И прищелкнул языком. Вкус кофе во рту досаждал, хотелось пить. Он остановился перед светофором на проспекте Бельграно. Когда мимо проехала первая машина, он инстинктивно подтянул рюкзак за ремень. Рюкзак весил совсем мало. Внутри лежали коробки с собранными пазлами, приклеенными на кусок картона и заботливо уложенными на дно: альпийский приют, дома вокруг озера, пейзаж с порозовевшим небом над горными вершинами, еще один, с озером и сосновой рощей на берегу и еще один с лодками, плывущими к зарослям лумы. Помимо коробок в рюкзаке лежала кое-какая одежда, в кармашке — бумажник. Машины остановились перед полустертой белой разметкой, издалека доносился звук то ли полицейской сирены, то ли "скорой помощи", то ли пожарной машины. Деметрио перешел проспект. Дальше его путь лежал по улице Боливара. Было холодно, люди на улицах попадались реже, чем кошки. Он посмотрел на часы и перешел на другую сторону, к бару. Официант работал тот же, что и по утрам, была та же темень, что и по утрам, те же запах аммиака и безлюдье. Он положил локти на стойку и попросил кофе с молоком, потом передумал, нет, лучше виски со льдом. Это сюрприз увидеть вас здесь в такой час. Да. Чем занят господин? Ничем, просто гуляю. А рюкзак? (Деметрио взял стакан, не позволив официанту поставить его на барную стойку.) Рюкзак, говорите? Да, вы собрались в путешествие? А, да, в путешествие. Вот это здорово, везет же господину, рад за вас. Да. Виски был дешевый. Он выпил его в два глотка и встал. Сколько с меня. С вас... как за кофе с гренками (официант подмигнул ему и потрогал "бабочку", немного грязную и повязанную слишком высоко). Спасибо. Не за что, любезный господин, хорошего путешествия; будет странно видеть вашего друга за завтраком без вас. Деметрио не ответил, закрыл за собой дверь и оказался на холоде.

Выйдя из автобуса, он некоторое время поднимался по заасфальтированному склону. Звезд будет немного, подумал он. Пройдя по ровному участку асфальта, а затем по земле, он добрался до первых сооружений свалки, уже немного устав. Вокруг никого не было. Он посмотрел по сторонам, на секунду снял рюкзак и поправил шарф. Свернув на бетонную дорогу, он различил впереди гараж, а за ним — огромный холм. Он прибавил шагу. В нескольких метрах от ангара остановился. Казалось, воздух наполнен замороженными хлопьями зловония. Температура продолжала понижаться, в этой части пригорода, в царстве отбросов и мусора, солнце не появлялось. Вдалеке звучало танго, всегда только танго — старик, гаражный сторож, имевший привычку слушать радио в своей ка-

морке, привалившись стулом к стене, всегда сидел молча, с тоскующим лицом. Деметрио подумал, что, если непринужденно пройти перед стеклом, старик ни о чем не спросит, но, на всякий случай, предпочел обойти ангар с другой стороны. По периметру гараж оказался гораздо больше, чем он ожидал, и в какой-то момент он стал подозревать, что ошибся местом, кварталом, временем, что это не может быть тот самый гараж, такой грязный и знакомый запахом бензина и стертых покрышек. Стена тянулась целую вечность, ему уже показалось, что ей не будет конца, но именно тут-то она и оборвалась, Деметрио свернул налево, вскоре — еще раз налево. Поперечная стена показалась ему слишком, непропорционально короткой. Может быть, гараж имел форму трапеции? Ответа он не знал, несмотря на то что столько лет провел внутри. Потом он подумал, как глупо строить гараж в форме трапеции, оглянулся и не увидел конца стены, но почувствовал, что стало еще холоднее. Он подтянул лямки рюкзака. Прошел последний отрезок пути и снова услышал простуженный голос, который пел что-то про безутешные ночи и богатого жениха своей бывшей невесты. Он отыскал ту же бетонную дорогу и пошел дальше к зловонной громаде, которая тоже двинулась к нему навстречу. В ночной тиши ему показалось, что до него доносится плеск воды о камни, но, прислушавшись внимательнее, он понял: нет, просто какая-то машина перемалывает тонны мусора, или это глухое рычание города, разлегшегося, как ленивый зверь, где-то там, за свалкой. Он заметил, что уже не слышит танго и идет, как зомби. Обернувшись, он разглядел ангар, который ему пришлось обходить и который казался теперь совсем маленьким.

По мере того, как приближался конец бетонной дороги, испарения становились все зловоннее. Никогда еще ему не случалось подходить к самому краю мусорной ямы. Деметрио не мог понять, почему ночь так переполнена звуками: урчит огромный, но невидимый грузовик, стрекочут сверчки, кто-то наигрывает танго, и где-то совсем рядом то ли хрустят кости, то ли перекатываются в коробке детали пазла. Внимательно вглядевшись, он увидел впереди мусорную громаду во всех подробностях, ее изогнутый хребет, бугристую поверхность, похожую на скопище раненых, которые непрерывно шевелятся или уже не шевелятся, и тогда это, скорее всего, ночная братская могила всех городов, который теперь час? он обратил внимание, что при блеклом свете гаражных фонарей и луны, скрытой за виниловыми облаками, все похороненные стекла отблескивают зеленым. Что же на самом деле находилось внутри миллионов пакетов? Какие из них его?

Мог бы он их отсюда вызволить? Бетонная дорога оборвалась, он ступил на влажную землю. В нескольких метрах внизу у его ног опухоль всего мира дышала своим отравляющим дыханием. Взгляд терялся в странно разбросанных до горизонта фрагментах, миллионах голов, высунувшихся из-под земли в холодную ночь, чтобы глотнуть немного кислорода. Деметрио не мог понять, Боже правый, откуда такое несметное количество отбросов, хотя вернее было бы сказать, отбросы двигались не как отдельные существа, а стремились слиться — все было так однородно: целлофан, мусор, тишина... Содрогание поднималось снизу, с большой глубины, он чувствовал его подошвами замерзших ног — слабую подземную дрожь, сплетающую все в искусственную непроницаемую кожу, Единый Отброс, море утопленников. Он пристально посмотрел в эпицентр монстра: море! разве нет? Или доисторическое озеро с невообразимым именем, ночь озарила медленным светом поверхность Науэль-Уапи, пахло сыростью, камнем, темная земля подавалась и дышала, бескрайние небо и озеро ворчали друг на друга, как два враждующих медведя, от холода все цвета огрубели. Он сделал еще два шага, оказался практически на кромке и вдохнул ветерок, слагавшийся из крошечных дуновений, ночь была на пороге, казалось, что какой-то мускул дрожит под слоем беззвучной влаги. Он чувствовал, что с плеч что-то опадает, тяжесть проходит, но звезды все равно напоминали чистейшую сталь, они давили на глаза; он опустил голову, и там, внизу, распростерлось все, и он сам; который же теперь час? Часы исчезли, все умирало одновременно (легкое головокружение, сдавленные виски), трепетали ящерки, и все еще слышалось свирепое рычание зверя, это вопрос времени, он подрагивал, у него свои методы — у зверя. Время. Был ли когда-то внизу город, ступни? какие ступни? он знал только, что между обрывками целлофана появились две кошки, они играли, царапаясь и ласкаясь, сливаясь в разноцветный клубок, забирались каждая в свой пакет и выскакивали из двух других, или в каждом пакете пряталось по кошке? что-то похожее на опавшие лепестки лежало на превратившейся в грязь тропе. Внезапно ему стало еще холоднее, он попробовал сконцентрироваться на отдельном облачке, на пурпурном соцветии гибких волнистых газообразных веществ. Поднимался туман. С окоченевшими лодыжками он слегка качнулся, ему показалось, что отблески стекол — это обман: звезды! это звезды на поверхности озера, словно плавающие шпоры, изрешеченная поверхность воды, и рядом с берегом — вдруг она: рубаха, превратившаяся в лохмотья, кожа, поблекшая,

как старый целлофан, темное, но все еще красивое лицо, она мяукает, как кошка, но Боже, который теперь час. Наконец это тело из папируса медленно утонуло между пакетами под аккомпанемент машин и чавкающей грязи; Деметрио услышал, что его зовут, снова услышал, сначала с ненавистью, потом смирившись, приглушенный знакомый звук, отдалённый кашель человека, который хотел его уберечь, а потом — ничего, кроме холода, озера, ветерка, собранного из крошечных дуновений. Чувствуя, что в висках стучит все сильнее, он поправил рюкзак и двинулся вперед с закрытыми глазами, не останавливаясь до тех пор, пока в ночи не раздался небесно-чистый всплеск.

LXV

Вода ударяет берег в настороженной тьме, как брошенный камень, который хранит длящийся, волнообразный звук. Треск сверчков будоражит лесной воздух, светлячки переплетают маленькие вспышки. Тихонько вибрируют лумы, источая влажный аромат потрескавшейся древесины. Проворный холод бродит, не разбирая пути. Земля становится все плотнее, пока не ныряет под каменистый берег, вода бьется о него, посверкивая серебром. На экране неба крохотные монетки вертятся вокруг своей оси. Прячется в тени многослойная охра стволов. Кудрявая растительность перебирает свои воспоминания, между копьями альстромерий торопливо пролетает красный силуэт в рубахе, призрачный и манящий, как единственная игра случая в неподвижном времени.

Гранада, ноябрь 1996 – апрель 1999

Пьера Маттеи

“Каждый сам по себе за чертой пустого пространства”

Стихи

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

Пьера Маттеи окончила философский факультет Римского университета, затем продолжила образование в Стэнфорде, где изучала теорию театра, который на время стал важной вехой в ее творческой биографии. За статьями о театре последовали статьи о кино и — параллельно — пьесы и сценарии, а опыт драматурга и сценариста нашел вскоре продолжение в поэзии и в прозе. Сегодня Пьера Маттеи — автор пяти поэтических книг и пяти сборников рассказов. Ее известность в литературном мире связана также с переводами (в частности, новым прочтением обязаны ей Эмили Дикинсон и Уолт Уитмен), со статьями о поэзии, а в последнее время и с издательством “Гаттомерлино”, которое она успешно возглавляет. Одним из важных начинаний этого небольшого римского издательства можно счи-

© 2005 Piero Manni s.r.l.
© 2009 Piero Manni s.r.l.
© 2012 Passigli Editori s.r.l.
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2016

Фотография Дино Иньяни.

Редакция выражает благодарность Пьере Маттеи за любезное разрешение безвозмездно опубликовать ее стихи на страницах журнала.

тать серию “Поэты фонда Бродского”, открытую книгами Сергея Гандлевского и Елены Фанайловой в переводе куратора серии Клаудии Скандуры.

Неспешному стиху Пьеры Маттеи чужда нарочитая эффектность. Расстояние между миром лирического я и подчеркнуто прозаическим внешним миром условно настолько, насколько этого требуют обстоятельства, в которых замысел обретает, строка за строкой, форму стихотворения.

Символично, что творчество Пьеры Маттеи отмечено литературной премией “Замок Св. Ангела”: она родилась в Риме, и от дома, где живет, рукой подать до знаменитого памятника, одной из главных достопримечательностей Вечного города.

Стихи Пьеры Маттеи обратили на себя внимание переводчиков поэзии на английский, французский, испанский, турецкий и эстонский языки. Читатели этого номера первыми получают возможность познакомиться с ее стихами в русском переводе.

Полдень

Если смотришь с пятого этажа гостиницы
на деревья, у них артритные пальцы,
сложенные молитвенно руки
стариков, что не прочь бы
вернуться в весеннюю пору.

Ниже золото листьев
кружится в беспорядочном танце,
молекулы будут притворятся недвижными
до праздника Пасхи,
пока не пропитаются влагой.

Вы, Деревья,
покорные временам года,
пустили безропотно корни,
покорясь Прозерпине, богине подземного царства,
тогда как мы по земле стопы направляем
в единственном направлении,
сами того не желая.
Ночами под шепот тишины нас мучит
сознание собственного выбора.

О *недостаточности*

Не сердечная недостаточность
пугает,
а сердечная рана,
что ты решил, любимый?
ты меня защитишь
от отраженья последнего часа
в зрачках?

тельца́ под микроскопом,
плавающие в красном,
как жертвы
взрыва в аквариуме.

О*кно* С*именона*

Приняв решение,
она закрыла небольшой чемодан
и покинула квартиру –
свои Помпеи,
цветы в горшках, одежду, бумаги.

В Париже она проводит целые дни у окна,
зная время под вечер, когда
отшлифованные до блеска птицы
пересекают по диагонали небо.
Она называет свое окно окном Сименона,
кочующим из одного его сочиненья
в другое, похожим на автора.
Воображенье рисует
происходящие на ее глазах преступленья.

П*ространства*

Весенняя толпа, выхожу из автобуса.
Слепой измерил пространство тростью.

Привычные движения позволяли
не натыкаться на окружающих,
обеспечивая то, что в постели зовется свободой
одного от другого тела под нестройные вздохи.
Лишь пограничного баобаба не хватало в пустыне.

С видовой площадки пространство
представляется театром.
Вихрастые кроны деревьев
меняют представление о расстоянии.
Купола облаков со стальными каймами
зажигают отсветы в каждом
дворе, ни одного не минуя,
где в трехмерных белых постройках
со стеклянными сотами окон
обитают непримиримые люди.

Прежде я не умела читать, теперь научилась.
Письмо же я освоила раньше —
так ребенок сначала учится говорить,
а потом уже думать, и в итоге
слово и мысль тормозят друг друга,
словно близнецы, когда горячатся,
что-то между собой поделить не могут.
Каждый сам по себе за чертой пустого пространства.

Узел галстука

Полоска шелка, шерсти, шелка с шерстью,
тончайшие цветные рисунки —
ритмично повторяющиеся изящные птицы,
мелкие грызуны, пальмы, лилии, розы,
геометрические фантазии,
в том числе набивные на одноцветной ткани
(мода последнего десятилетия).
Назначение — повязывать на шею,
чтобы нежить грудь,
как шарф, от которого галстук берет начало
и от которого отличается
безукоризненной строгостью
узла.

Сегоняшние газеты посвящают
первые страницы громкому открытию:
кембриджские физики вывели
математическую формулу всех возможных
галстучных узлов. Интересно, от чего зависит
тайна каждого движения? От сообразительности?
От покорности рук, пальцев
замыслу?

А что, как ученые, войдя в раж,
не остановятся на этом и откроют
формулу брошенного бездумно мяча,
за́мка на песке, печенья, размоченного в утреннем
чае,
безупречной игры на фортепьяно, на скрипке,
на других инструментах, послушных
чутким пальцам и смычку, либо дадут
научное объяснение тому, что я вижу и чувствую,
водя в счастливом уединении
кистью по холсту или пером по бумаге?

4 марта 1999 года,
Imperial College, Лондон

Г*рейферы*

я невидимка

сижу, отвернувшись к окну,
и смотрю вниз
с двадцатого этажа

по непреложным рельсам скользит трамвай,
а все вокруг неподвижно,
неизменяемо,
недоступное опыту, устоявшееся

двойные рамы —
повязка на рту
уличного движения

желтые грейферы
бережно поднимают
усталые вежды
к октябрьскому небу

возможно ли, что кому-то наверху
мерещится дружная перекличка
в уличном потоке, и этот кто-то лично
возвращает ее обратно, на землю?

Крушения

не успев переступить порог
гостиничного номера я сказала:
если ты хочешь, я готова!

номер уберет горничная это не наша забота
выключи свет и компьютер
и я поделилась с тобой планом перебраться в другую
страну
я предложила тебе поехать со мной
но ты сослался на звезды
дескать они против

так или иначе
тебе повезло:
поезд сошел с рельсов
и я поплелась по шпалам
одна
ты отказался ехать
сказал что не можешь

выходит звездам виднее
доказательство я получила
оказавшись в минуту крушения одна

уверяю тебя я сохранила
свое достоинство
даже известную тебе улыбку
приоткрывающую десны
сохранила в то время
как сирены
удаляющимся воем
гарантировали целость
моих костей

Подводные подруги

на суше — на шершавой земной коре —
мы жили, помнишь?

шутки ради договорные обязательства —
дом, работа, любовь —

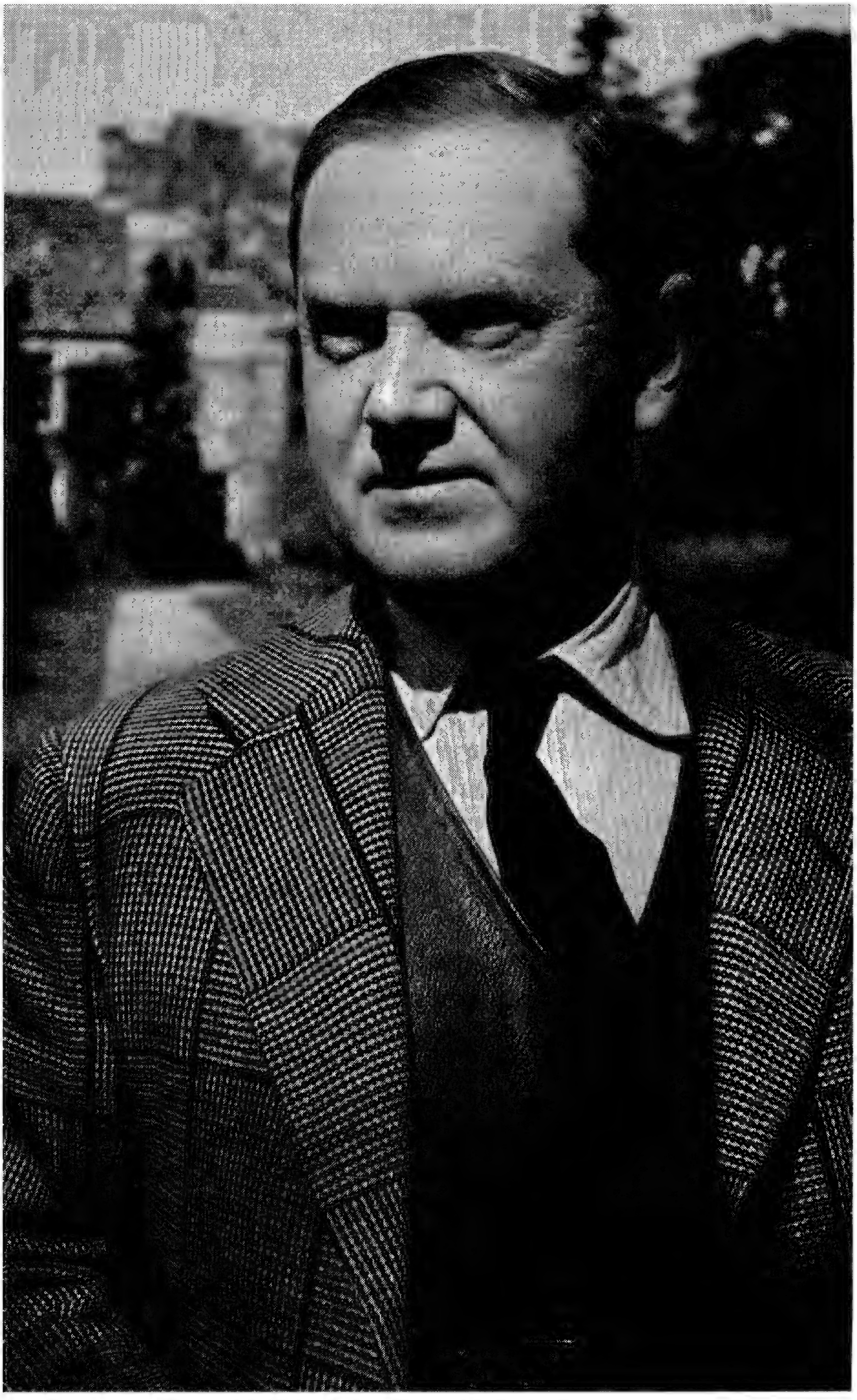
выбирать было проще простого
нас когда мы хотели несла река
а не хотели так плыли против течения

сегодня хоть все мы из разных русел
мы обитаем
в подводном городе недовольные
толщей моря вынуждающей нас
жить среди других утонувших
как будто бы мы живые

вот видишь мы сохранили легкость
одетые радужной чешуею
плывем на большой глубине и дно
шлет во тьму наши светлые отраженья

Отпущенное время

Соединим в одном ряду минуты
дорожные часы и дни
и запахи и взгляды
пустые разговоры споры
трусливые при переходе улиц
овечка белый кролик
на пешеходной зебре
трясущиеся как тип который
на остановке собирает
окурки ожиданий.



Николай Мельников
Знакомый незнакомец

К 50-летию кончины Ивлина Во

Слава богу, читателям "Иностранки" не надо объяснять, кто такой Ивлин Во. Создатель упоительно-смешных зловещих фантазий, в которых гротескно преломились реалии медленно, но верно разрушавшейся Британской империи и в то же время отразились универсальные законы человеческого бытия, тончайший стилист и ядовитый сатирик, он прочно закрепился в нашем сознании на правах одного из самых ярких и самобытных прозаиков XX столетия, по праву заняв место в ряду виднейших представителей английской словесности. Скромно заметим: он вошел в культурный обиход русских книгочеев сразу после публикации в нашем журнале повести "Незабвенная"[1]. С той поры его произведения (в первую очередь, конечно же, романы) вполне приличными тиражами издавались в СССР и продолжают издаваться в постсоветской России, по-прежнему пьяня читателей и перечитывателей диковинной смесью фарса, черного юмора и элегической грусти.

Пятьдесят лет со дня смерти — печальная и в то же время знаменательная дата, позволяющая не только с полным основанием судить о высоком статусе писателя в литературной табели о рангах, но и дополнить наше представление о его эстетических воззрениях, эмоционально-психологическом облике и, главное, творческом наследии, которое отнюдь не исчерпывается художественной прозой — романами, повестями и рассказами. Прославленные романы и повести Ивлина Во, к настоящему времени более или менее благополучно переведенные на русский язык, — всего лишь вершина айсберга, значительная часть которого еще скрыта от отечественного читателя. Между тем, будучи истинным man of letters, Ивлин Во проявил себя едва ли не во всех разновидностях нон-фикшн (критика, эссеистика, путевая проза, биография и автобиография), опробовал едва ли не все существующие критические и публицистические жанры: рецензия, обзор, эссе, памфлет, полемическое письмо, юмореска, фельетон.

Некоторые из образчиков документальной прозы Во — избранные письма[2], дневники[3], наконец, незаконченная автобиография[4] — уже опубликованы по-русски. И все же об адекватном восприятии его литературного канона в России говорить, конечно же, не приходится. Нам почти не из-

© Николай Мельников, 2016

1. "ИЛ", 1969, № 2.
2. Письма Ивлина Во Джорджу Оруэллу и Грэму Грину / Пер. А. Ливерганта // "ИЛ". 2008. № 5.
3. И. Во. Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Из дневника / Пер. А. Ливерганта. – М.: Текст, 2013.
4. И. Во. Насмешник / Пер. В. Г. Минушина. – М.: Вагриус, 2005.

вестен Во-эссеист, публицист и критик, а ведь на этом поприще он был известен своим современникам не меньше, чем автор романов.

Выпущенный в 1983 году Донатом Галлахером шестисотстраничный том статей и эссе Во[1], представляющий его в качестве критика и публициста, включает в себя лишь половину его газетно-журнальной продукции: набранный убористым шрифтом перечень публикаций, не вошедших в книгу, занимает десять страниц. Быть может, львиная доля этих текстов представляет ограниченный интерес лишь для историков-англистов, однако, уверен: без знакомства с основным корпусом критических статей и эссе (среди которых попадаются истинные жемчужины) нам до конца не понять ни характер писателя, ни его мировоззрение, ни его роль в англоязычном литературном мире 1920—1960-х годов.

Не имея, подобно американским собратьям по перу, университетской синекуры (что неудивительно, ведь прогуляв и провеселившись несколько лет в Оксфорде, будущий классик английской литературы с позором провалил экзамены и вылетел из университета с дипломом "третьей степени"), Ивлин Во зарабатывал на жизнь исключительно литературным трудом, сотрудничал едва ли не во всех периодических изданиях Британии и США, включая солидные журналы, вроде консервативного "Спектейтора" или католического "Тэблет", глянцевые издания типа "Вог" и "Лайф", а также таблоиды, исчадия пресловутой "Флит-стрит": "Дейли экспресс", "Дейли мейл" и т. п. Причем писал он, как наш Боборыкин, "много и хорошо", писал о всякой всячине: тематика варьируется от шутливых советов молодым людям, как дешево, но модно одеваться всего за 60 фунтов в год[2], до апологии кубизма[3] (в юности ярый архиконсерватор и реакционер, естественно, придерживался "передовых" взглядов на искусство, и в литературе, кстати, начинал как ультрамодернист: прочтите хотя бы рассказ "Равновесие" (1926) с его кинематографическим повествованием и монтажной композицией).

Вплоть до сенсационного успеха в Америке ностальгического романа "Возвращение в Брайдсхед" (1944), принесшего автору не только мировую известность, но и материальный достаток (а значит, и свободу от журнальной поденщины), Ивлин Во в равной степени мог считать себя и беллетристом, и журналистом, причем еще неизвестно, какой род деятельности занимал бóльшую часть его времени и сил, и обеспечивал популярность у читательской аудитории двадцатых-тридцатых годов.

Сразу после публикации дебютного романа "Упадок и разрушение" (1928) начинающий литератор (совсем недавно подумывавший о карьере мебельного дизайнера) связал свою судьбу с журналистикой: вел колонку в газете "Дейли мейл" и питал рецензиями более солидную "Обзёрвер", а затем, после успеха "Мерзкой плоти" (1930), стал желанным гостем на стра-

1. The Essays, Articles and Reviews of Evelyn Waugh / Ed. By Donat Gallagher. — L.: Methuen, 1983.
2. Beau Brummells on £ 60 A Year // Daily Express. 1929. February 13.
3. In Defense of Cubism // Drawing and Design. 1917. November.

ницах модных иллюстрированных газет и журналов ("График", "Джон Буль" "Харперс Базар" и т. п.). В тридцатые годы Во — сначала корреспондент "Таймс", а потом "Дейли мейл" — побывал в Эфиопии (тогда — Абиссинии): в 1930-м присутствовал на коронации абиссинского императора Хайле Селассие (она подробно описана в книге "Далекие люди" (1931)[1], а в 1935-м освещал итало-эфиопскую войну. Последняя поездка породила не только серию корреспонденций[2], но и нашла отражение в документальной книге "Во в Абиссинии" (1936), воспринятой левыми и либеральными критиками как "фашистская брошюра" — из-за явной симпатии автора к итальянцам; позже абиссинские впечатления преобразились в очередном комическом шедевре, романе "Сенсация" (1938).

Потчуя "глотателей пустот" легковесными фельетонами и книжными обзорами, молодой литератор не забывал и об утверждении собственной писательской репутации. В частности, на страницах иллюстрированного еженедельника "График" откликнулся на выход книги путевых заметок "Наклейки на чемодане"... Ивлина Во[3]. Я не читал рецензию, но подозреваю, что получилась она не слишком придирчивой.

Свое же мнение о первом "травелоге" Ивлина Во читатель может составить по представленному в нашем "Литературном гиде" переводу сокращенной версии, вошедшей в авторизованный сборник 1946 года "Когда ездить было не грех".

Это произведение, отмеченное суховатым юмором, интересно не столько описаниями шаблонных туристических достопримечательностей и красот Средиземноморья, сколько зарисовками быта и нравов туземцев, так или иначе вовлеченных в туристический бизнес, и эскизными портретами спутников повествователя. "Мои попутчики и их поведение в разных местах, которые мы посещали, куда более увлекательны для изучения, нежели сами эти места", — чистосердечно признается он читателю.

Книга писалась в кризисный, даже переломный для писателя период: после расставания с первой женой, Ивлин Гарднер, и до его обращения в католичество. Верный себе и традиции британской сдержанности, автор "Наклеек на чемодане" избегает лирических излияний и медитаций, раздваивая свое "я" между повествователем, играющим роль холодного, по чайльдгарольдовски пресыщенного, несмотря на молодость, наблюдателя, и "бедняги Джеффри", блеклым персонажем, который во время свадебного путеше-

1. В сборнике 1946 г. "Когда ездить было не грех" была опубликована сокращенная версия книги под заглавием "Коронация 1930 года"; перевод см.: "ИЛ", 1999, № 2.
2. Одну из них, особенно важную, Во диктовал телеграфисту на латыни, дабы скрыть содержание от потенциальных конкурентов; однако, газетчик, принимавший сообщение, ничего в нем не понял, поскольку явно был не силен в классических языках, и выкинул текст в корзину. В результате новость дошла до потребителей от других, менее эксцентричных репортеров, а эрудированный выпускник Оксфорда вместо благодарности получил от начальства нагоняй за "озорство".
3. The Graphic. 1930. October 4, p. 25.

ствия вынужден расстаться с молодой женой, Джулиет, заболевшей пневмонией и попавшей в госпиталь: сюжет, повторяющий жизненные обстоятельства автора книги.

* * *

Болезненный разрыв с женой, обращение в католичество — события, повлиявшие на характер писателя и обозначившие важный рубеж в его жизни. С этого времени праздный гуляка, как и положено представителю "золотой молодежи", весело прожигавший свою жизнь в кутежах и на вечеринках, аполитичный эстет и модный журналист постепенно перерождается в правоверного католика, ярого консерватора и традиционалиста, который в равной степени не приемлет левизну в искусстве и политике, искренне ненавидит идолов тогдашней либеральной интеллигенции, а свой идеал видит в образе жизни английских джентри доиндустриальной эпохи.

Наметилась эволюция и в его творчестве. После череды первоклассных, но в общем-то однотипных по трагикомической тональности и хоггартовской стилистике произведений в нем обозначился переход и к новой манере, и к новому, более объемному изображению человека и погрязшего во грехе мира. Эта тенденция проявилась сначала в макабрическом шедевре "Пригоршня праха" (1936), а затем, уже в годы военного лихолетья, увенчалась романом "Возвращение в Брайдсхед", исполненным щемящего лиризма и светлой грусти по разрушенному войной жизненному укладу, ушедшей юности, увядшей дружбе, угасшей любви.

Роман, ставший бестселлером, завоевал своему создателю репутацию одного из ведущих английских писателей и привлек к нему внимание широкой читательской публики, а значит, и предприимчивых кинодельцов, всегда рассчитывающих заработать на экранизации "выстрелившей" книжной новинки, а также собирателей автографов, диссертантов и, разумеется, журналистов, во все времена питающих слабость к знаменитостям. Последних он притягивал не столько как автор бестселлеров (последовавшая за "Возвращением в Брайдсхед" сатирическая повесть "Незабвенная" (1948) также стала литературным событием в Америке и Британии), сколько как колоритный медиаперсонаж: гуру консерватизма, называвший марксизм "опиумом для народа", ниспровергавший с пьедесталов мэтров авангардного искусства и проклинавший "век обычного человека", его идеалам — Свободе, Равенству, Братству — противопоставлявший иную триаду: Свобода, Неодинаковость и Уединенность.

Несмотря на то что последние двадцать лет своей жизни преждевременно одряхлевший писатель жил анахоретом (сначала в загородном доме в Пирс-Корт, затем в Кум-Флори), редко выбираясь оттуда в Лондон или в очередное путешествие, он вынужден был поддерживать интерес к своей персоне общением с представителями СМИ, которых недолюбливал, но с которыми мирился как с неизбежным злом. Денег, вырученных за романы, по-прежнему не хватало. Дворянское гнездо новоявленного джентри — добротный каменный дом с подвалом для вина, коллекция картин, куча де-

тей, прислуга — поглощало массу средств; опять же грабительские, с его точки зрения, налоги никто не отменял, поэтому именитый автор поддерживал сотрудничество с массмедиа: это давало дополнительный доход. Каждый раз, когда к нему поступали предложения дать интервью, он просил за них кругленькую сумму. Впрочем, даже приличный гонорар не мог служить гарантией того, что затворник из Кум-Флори удовлетворит все чаяния охочих до скандалов и курьезов журналистов и как следует сыграет роль главного брюзгозавра английской литературы, каким к началу пятидесятых успел зарекомендовать себя благодаря скандальным выступлениям в прессе: политическим памфлетам и сердитым письмам в редакции различных периодических изданий. (Наибольший резонанс, пожалуй, вызвала его статья "Наш бесчестный гость"[1], приуроченная к официальному визиту в Лондон югославского диктатора Тито: она едва не спровоцировала дипломатический скандал между Югославией и Великобританией).

Ивлин Во никогда не отличался ангельским характером. И уж тем более его нельзя назвать "душой нараспашку". При встрече с теле- и радиожурналистами он чаще всего замыкался, отвечал сухо и односложно, так что интервьюерам приходилось всячески исхитряться, чтобы вытянуть из него развернутое высказывание на интересующую их тему. Подобно своему автобиографическому герою, мистеру Пинфолду, чувствуя, что собеседники видят в нем лишь забавный анахронизм и хотят "загнать в угол и развенчать, точными вопросами обозначив заведомо известное позорное пятно", писатель умел управляться с "нахалами": "давал краткие и резкие ответы, по пунктам сбивая спесь с противников" (вспоминаем первую главу "Испытания Гилберта Пинфолда")[2].

Неслучайно, что одна из самых забавных юморесок Ивлина Во, "Непростое искусство давать интервью" (1948), где в абсурдистской манере воссоздается беседа с настырной, плохо говорящей по-английски репортершей, проникшей в гостиничный номер рассказчика, по сути, — не что иное, как остроумная пародия на халтурные интервью, какими его донимали репортеры в "послебрайдсхедовский" период жизни. Например, во время рекламного тура по скандинавским странам в августе 1947 года. "После обеда дал интервью молодой туповатой толстушке, — пишет он в своем дневнике после встречи с шведской журналисткой. — На следующий день раскрыл газету и прочел название интервью: 'У обезьяны Хаксли новое хобби — кладбища'"[3].

Примечательно и описание, оставленное в дневнике Во по горячим следам беседы с американским интервьюером (запись от 23 мая 1947 г.). "Те-

1. Our Guest of Dishonor // Sunday Express. 1952. November 30.
2. И. Во. Испытание Гилберта Пинфолда / Пер. В. Харитонова. — М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1992. — С. 16.
3. И. Во. Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Из дневника... — С. 356. Материал с таким заглавием действительно появился в стокгольмской газете: Kyrkogärd hobbyför Huxley'sapa: härparbesök // Dagens Nyheter. 1947. Aug. 20, p. 11.

мы, которые он затрагивал, вызывали у меня такую скуку, что я только и говорил: 'Нет-нет'.

— Как вы считаете, в эпоху демократии радио и кино могут стать большим искусством?

— Нет-нет.

— Вы согласны, что злодей эпохи Возрождения олицетворяет собой борьбу личности с обществом?

— Нет-нет.

— Как вам кажется, сегодняшние издатели оказывают не меньшее влияние на современную литературу, чем покровители искусств в восемнадцатом веке?

— Нет-нет"[1].

Не менее забавно описание интервью американским телевизионщикам (запись от 30 июня 1955 г.): "Режиссер то и дело лез в карман за бумажками: 'Мистер Во, тут говорится, что вы очень вспыльчивы и консервативны. Скажите, будьте добры, что-нибудь оскорбительное'. Я сказал: 'Человек, который принес в мой дом этот аппарат, ждет от меня какое-нибудь оскорбительное замечание. Не дождется'"[2].

Примерно в таком же ключе были выдержаны и другие теле- и радиобеседы "мистера Во" с журналистами. К такому выводу можно прийти, если ознакомиться с их расшифровками, выполненными Дэвидом Клиффом и размещенными на его сайте, посвященном творчеству Ивлина Во[3].

Даже маститый Джон Фримен, ведущий популярной программы Би-би-си "Лицом к лицу", как правило, выжимавший из своих визави все, что ему было нужно, во время беседы со строптивым стариком, записанной в июне 1960 года, что называется, обломал зубы. Много позже в документальном фильме о Во, он называл это интервью самым неудачным за всю карьеру. С первой же секунды встречи, еще до начала записи, он ощутил, что именитый гость чувствует себя в студии неуютно и питает к нему явную неприязнь. На дежурное приветствие: "Добрый вечер, мистер Во!" — тот сердито заявил: "Моя фамилия Во, сэр, а не Вофф!" И дальше во время беседы придерживался тактики Гилберта Пинфолда, особенно если речь заходила о малоприятных для него вещах:

Интервьюер (*медоточиво-ласково*): Почему в Оксфорде вы выбрали Хартфорд-колледж?

Ивлин Во: Там платили стипендию.

Интервьюер: У вас была открытая стипендия[4]...

1. И. Во. Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Из дневника... — С. 354–355.
2. Цит. соч. С. 375.
3. См.: http://www.abbotshill.freeserve.co.uk/HisOwnWords.html
4. В британских университетах экзаменационные требования к студентам с открытой стипендией (open scholarship) более строгие, нежели к тем, кто обучался с закрытой (closed scholarship).

Ивлин Во: Да.

Интервьюер: ...по истории...

Ивлин Во: Да.

Интервьюер: Впоследствии вы сохранили глубокий интерес к истории?

Ивлин Во (*рассмеявшись*): О, нет!

Интервьюер: Вы ведь не получили высокой степени, поэтому я и спрашиваю.

Ивлин Во: Я получил никудышную третью степень.

Интервьюер: Почему так произошло?

Ивлин Во (*благодушно-иронически улыбнувшись*): Лень.

Интервьюер: Что вы делали в Оксфорде?

Ивлин Во: Развлекался. Взрослел, знаете ли...

Интервьюер: Хорошо, как именно развлекались?

Ивлин Во: Ну, как и все в те дни.

Интервьюер (*с нотками раздражения в голосе*): Люди уже этого не помнят, будьте так любезны, расскажите.

Ивлин Во: Большую часть времени надирался, принимал гостей, заводил новые знакомства, писал глупые статейки в университетские журналы — в этом роде.

Интервьюер: О вас говорят — и об этом можно судить по вашим книгам, — что вы вращались в эстетических кругах Оксфорда, что, как мне кажется, сильно отличается от вашего теперешнего образа жизни. Я прав?

Ивлин Во (*вынимая изо рта сигару, добродушно улыбнувшись*): Оба ваших суждения справедливы[1].

И дальше в том же духе — не слишком балуя интервьюера интимными признаниями и хоть сколько-нибудь развернутыми ответами. Можете сами, если не верите, ознакомиться с записью передачи: ее легко можно найти на "ютьюбе".

Более интересным и содержательным, на мой взгляд, получилось телеинтервью, записанное в 1964 году на Би-би-си для программы "Монитор". Беседу на сей раз вела писательница и журналистка Элизабет Джейн Хоуард (1923—2014), в недалеком будущем — жена другого известного английского прозаика Кингсли Эмиса. Обаятельная, деликатная, не лишенная привлекательности сорокалетняя дама (судя по фрагментам передачи, которые мне удалось отыскать в Сети), своей доброжелательностью она растопила лед в сердце подозрительного и замкнутого старика, который малопомалу разговорился, разоткровенничался и довольно развернуто высказался по широкому кругу вопросов, одарив очаровательную собеседницу целой россыпью по-набоковски "твердых суждений": например, об

1. Телеинтервью цитируется по расшифровке Дэвида Клиффа. См: http://www.abbotshill.freeserve.co.uk/CompleteFace.htm. Ремарки добавлены после просмотра записи передачи.

"ушлой девахе" Гертруде Стайн или о "писавшем откровенную чушь" Джеймсе Джойсе.

Разумеется, русским поклонникам Во были бы интересны тексты всех без исключения теле- и радиовыступлений эксцентричного писателя, однако журнальное место ограничено, поэтому вашему вниманию будут предложены переводы только двух материалов: уже упомянутой телебеседы с Джейн Хоуард и более раннего интервью "Нью-Йорк Таймс", приуроченного к выходу американского издания повести "Новая Европа Скотт-Кинга".

По той же причине в нашем "Литературном гиде" опубликована относительно небольшая часть эпистолярного наследия Ивлина Во и представлена лишь малая толика его эссеистики и критики. Предпочтение отдано послевоенному, "послебрайдхедовскому" периоду, когда он писал уже не столько ради заработка, сколько по велению души и сердца: более серьезно и обстоятельно, чем в молодые годы, не на заказ, а только на темы, представлявшие интерес для него самого.

По тематике статьи "позднего Во" условно можно разбить на три группы: писания на религиозные темы (несмотря на несогласие с реформами в католической церкви, он до последнего дня оставался ревностным католиком), тексты, так или иначе связанные с общественно-политической проблематикой и в полной мере раскрывающие его консервативное мировоззрение — твердолобого тори, для которого приход к власти лейбористов был равнозначен концу света, а не удержавшийся в премьерском кресле Уинстон Черчиль был всего лишь позером и пустозвоном, "окружившим себя мошенниками", "не более чем 'радиознаменитостью', пережившей свою славу" (из письма Ивлина Во Энн Флеминг от 27 января 1965 г.)[1]. Наконец, самое для нас ценное и интересное: литературно-критические статьи, прямо или косвенно раскрывающие эстетическое кредо писателя.

Хочется верить, что в недалеком будущем найдется энтузиаст-издатель, который, невзирая на свирепствующий кризис и деградацию российского книжного рынка, выпустит солидный сборник документальной прозы Ивлина Во, в котором как можно более полно будут представлены и его письма, и его критические работы, посвященные как классикам, так и малоизвестным литераторам. Пока же будем довольствоваться несколькими переводами его рецензий на книги хорошо нам известных авторов первого ряда (одна из них — на дебютный роман Мюриэл Спарк "Утешители" (1957), подоспела как раз вовремя: в десятом номере "Иностранной литературы" за прошлый год опубликован его перевод).

Наш юбилейный "гид" был бы ущербным, если бы в нем хотя бы фрагментарно не была представлена критическая рецепция наиболее значимых произведений Ивлина Во. Мы привыкли к тому, что зарубежные классики, независимо от национальности или принадлежности к какому-нибудь "из-

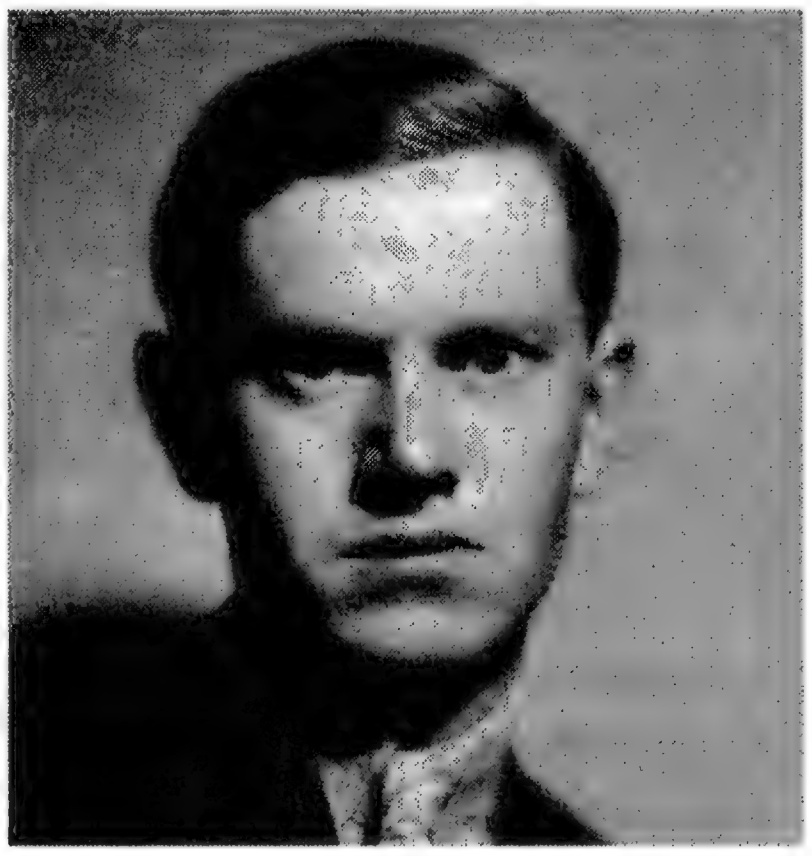
1. См. с. 205 данного номера.

му", преподносятся нам уже забронзовевшими, покрытыми патиной почтительного умиления — в то время как в реальности каждый из них проходил через сито пристрастной критики современников, далеко не все из которых готовы были воскурять им фимиам.

Не был исключением и автор "Мерзкой плоти", "Пригоршни праха", "Возвращения в Брайдсхед","Незабвенной" и других, не менее замечательных образцов художественной прозы. Почти всегда они вызывали разноречивые отклики рецензентов, среди которых можно обнаружить ведущих англо-американских писателей XX века: Энтони Бёрджесса, Гора Видала, Грэма Грина, Ричарда Олдингтона, Джорджа Оруэлла, Джозефа Хеллера, Энгуса Уилсона, Кингсли Эмиса и др.

С авторитетными мнениями некоторых из них предоставляется возможность ознакомиться в разделе "Писатель в зеркале критики", который, надеюсь, станет постоянным спутником последующих "Литературных гидов". О том, чьи толкования, оценки и прогнозы оказались наиболее аутентичными, наиболее верными, судить, разумеется, вам, уважаемый читатель. В любом случае, согласитесь вы с ними или нет, они добавят новые краски в картину литературных нравов прошлого века и, безусловно, по-новому осветят фигуру замечательного писателя — знакомого незнакомца любителей по-настоящему умной и изящной словесности, все еще не переведшихся у нас на Руси.

Ивлин Во



Наклейки на чемодане

Перевод Валерия Минушина

В феврале 1929 года Лондон был безжизненным и оцепенелым, будто брал пример с Вестминстера, где неделями тянулось последнее заседание правительства. Только что появилось звуковое кино и на двадцать лет задержало развитие визуального искусства эпохи. Не было даже приличного дела об убийстве. И ко всему прочему стоял нестерпимый холод. Бестселлером в предшествующие месяцы был "Орландо" миссис Вулф[1], и, казалось, Природа вознамерилась выиграть некую небесную премию Хоторндена[2], подражая прославленному описанию Великих морозов[3]. Люди ежились, касаясь ледяного бокала с коктейлем, как герцогиня Мальфи от прикосновения к руке мертвеца[4], и, закоченевшие в открытых продуваемых такси, одеревенело ползли, как автоматы, к ближайшей станции метрополитена и там

© 1930 The Estate of Laura Waugh
© Валерий Минушин. Перевод, 2016

1. Роман Вирджинии Вулф "Орландо" вышел в 1928 г. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Учрежденная в 1919 г. ежегодная литературная премия за лучшее произведение в прозе или стихах, написанная английским автором не старше 41 года.
3. Великие морозы 1607 г., когда Темза замерзла, случились в так называемый малый ледниковый период, период относительного глобального похолодания в XIV–XIX вв.
4. Героиня трагедии Джона Уэбстера "Герцогиня Мальфи" (1614).

Рис. Филиппа Жюллиана

теснились, чтобы было теплей, на платформе, кашляя и чихая среди раскрытых вечерних газет.

Так что я уложил в чемоданы одежду, две-три серьезные книги, вроде "Заката Европы" Шпенглера, и огромное количество принадлежностей для рисования, поскольку двумя из множества совершенно невыполнимых вещей, которыми я положил себе заняться в этом путешествии, были серьезное чтение и рисование. Затем сел на самолет и отправился в Париж, где провел ночь с компанией сердечных, непринужденных и совершенно очаровательных американцев. Те пожелали показать мне местечко "У Бриктоп"[1], очень популярное в те времена. Не было смысла, сказали они, появляться там раньше двенадцати ночи, поэтому мы сперва отправились во "Флоренцию". Пили мы шампанское, потому что одним из своеобразных результатов французской свободы было то, что пить полагалось его, и только его.

Оттуда мы двинулись в подпольный паб, называвшийся "Бар Нью-Йорк". Когда мы вошли туда, все посетители стучали по столикам маленькими деревянными молоточками, и певец, молодой еврей, отпустил шуточку по поводу горностаевого пальто на одной даме из нашей компании. Мы снова выпили шампанского, еще более тошнотворного, чем до этого, и снова отправились к "Бриктоп", но, придя туда, обнаружили объявление на двери, гласившее: "Открываемся в четыре часа, Брики", так что мы возобновили наш обход злачных мест.

В кафе "Талисман" официантки были облачены в смокинги и приглашали наших дам на танец. Любопытно было видеть, как представительная мужеподобная гардеробщица ловко крадет шелковый шарф у пожилой немки.

Потом мы заглянули в "Плантацию" и в "Музыкальную шкатулку", в которых было так темно, что мы с трудом различали свои бокалы (с еще более скверным шампанским), и в "Шехере-

1. Ресторан, в 1926–1936 гг. находившийся на рю Пигаль, 66 в Париже. Хозяйкой его была певица и танцовщица Ада "Бриктоп" Смит, заведовавшая так же и популярным ночным клубом "Le Grand Duc", расположенным неподалеку. Ада дожила до нашего времени и появилась в роли самой себя в фильме Вуди Алена "Зелиг" (1983).

заду", где нам принесли очень вкусный шашлык: куски баранины, проложенные луком и лавровым листом.

Оттуда мы направились в "Казбек", где было точно так же, как в "Шехерезаде".

Наконец, в четыре утра мы вернулись к "Бриктоп". Сама Бриктоп подошла к нам и присела за наш столик. Она показалась нам наименее фальшивой личностью в Париже. Было совсем светло, когда мы покинули ресторан; затем мы поехали на центральный рынок и подкрепили силы превосходным острым луковым супом в "Благонадежном папаше", а одна из наших юных особ купила пучок лука-порея и ела его сырым. Я поинтересовался у человека, пригласившего меня в компанию, проводит ли он все вечера подобным образом. Нет, ответил тот, он считает важным хотя бы раз в неделю оставаться дома, чтобы сыграть в покер.

Рис. Филиппа Жюллиана

Во время примерно третьей остановки в нашем паломничестве, которое я только что описал, я начал узнавать лица, постоянно попадавшиеся на нашем пути. Той ночью на Монмартре была сотня или около того людей, таких же паломников, что и мы.

* * *

Лишь два эпизода из этого посещения Парижа оставили яркое воспоминание.

Один — это зрелище человека на пляс Буво, с которым произошел, должно быть, исключительно несчастный случай. Это был человек среднего возраста и, судя по котелку и сюртуку, чиновник. У него загорелся зонт. Не знаю, как это могло произойти. Я проезжал мимо на такси и увидел его, окруженного небольшой толпой; он продолжал держать зонт в вытянутой руке, отведя от себя, чтобы пламя не перекинулось на него. День был сухой и зонт ярко полыхал в его руке. Я следил за ним в маленькое заднее окошко и видел, как он отпустил, наконец, ручку и отшвырнул зонт ногой в сточную канаву. Тот валялся там, дымясь, и толпа с любопытством пялилась на него, прежде чем разойтись. Для лондонской толпы это был бы отличный повод для шуточек, но тут никто не

смеялся и никто из тех, кому я рассказывал эту историю по-английски, не поверил ни единому моему слову.

Другой случай произошел в ночном клубе "Le Grand Écart"[1]. Тем, кто наслаждается расцветом "эпохи", тут предоставляется богатая возможность поразмыслить над переменой, которую отразило это выражение, когда Париж Тулуз-Лотрека уступил место Парижу месье Кокто. *Изначально оно* означало шпагат, — очень трудную фигуру, когда танцовщица разводит ноги все шире и шире, пока не садится на пол, вытянув ноги в стороны. Так La Goulue и La Mélonite — "менады декаданса" — обычно завершали свои *па сэль*, шаловливо показывая полоску бедра между черным шелковым чулком и гофрированной юбочкой. Нынче такого нет. Нынче это лишь название ночного клуба, выведенное маленькими разноцветными электрическими лампочками, украшенное мотками веревки и зеркальными полотнами; на столиках — крохотные подсвеченные сосуды с водой, где плавают размокшие кусочки желатина, призванные изображать льдины. Сомнительного вида молодые люди в рубашках от *Charvet* сидели у стойки бара, освежая пудру и помаду на губах, пострадавших от гренадина и crème de cacao[2]. Однажды вечером мы заглянули туда небольшой компанией. Красивая и богато одетая англичанка, которую, как говорится, не будем называть, села за соседний столик. С нею был на зависть приятный мужчина, который, как выяснилось позже, оказался бельгийским бароном. С одним из нас она была знакома, и он, невнятно бормоча, представил нас ей. Она переспросила:

— Как, вы говорите, зовут этого мальчика?

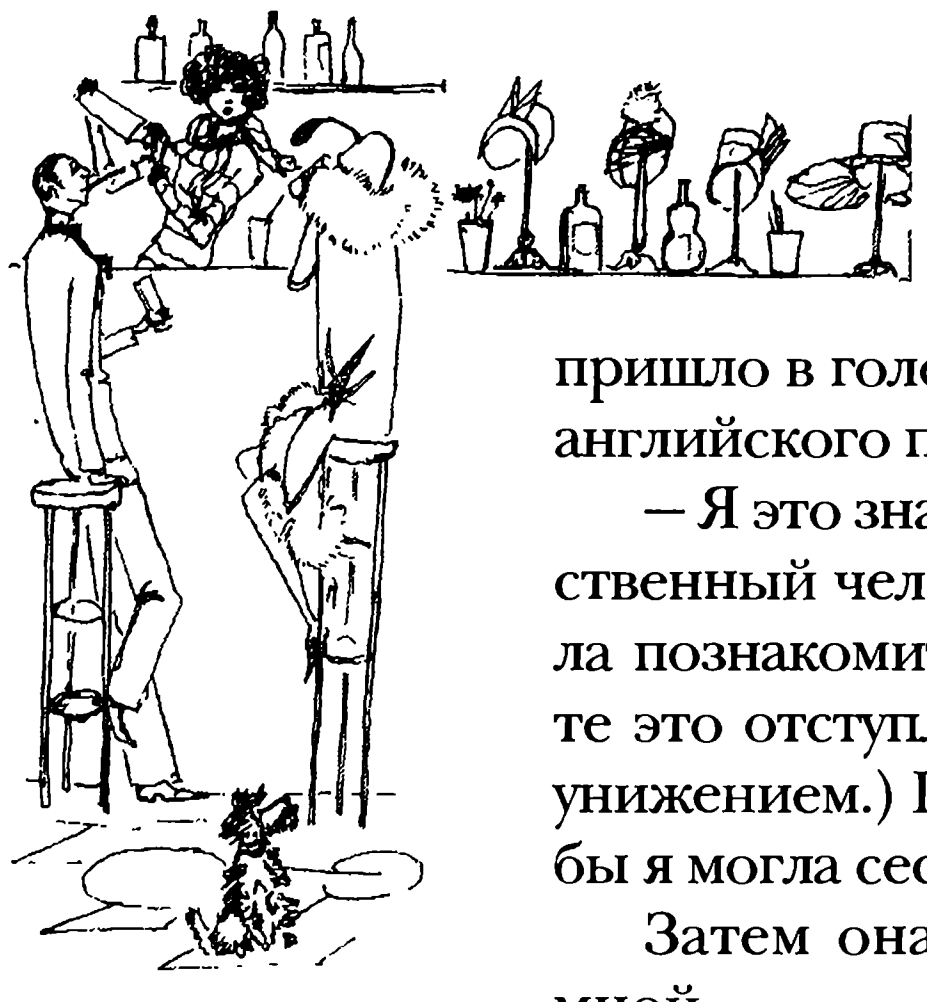


Рис. Филиппа Жюллиана

— Ивлин Во, — ответили ей.

— Кто он?

Никто из моих друзей этого не знал. Кому-то пришло в голову, что она приняла меня за английского писателя.

— Я это знала, — сказала она. — Он единственный человек на свете, с кем я жаждала познакомиться. (Пожалуйста, потерпите это отступление: все завершится моим унижением.) Прошу вас, подвиньтесь, чтобы я могла сесть рядом с ним.

Затем она подошла и заговорила со мной.

1. "Двойной шпагат" — по названию романа Жана Кокто, вышедшего в 1922 г.
2. Шоколадный крем (*франц.*).

Она сказала:

– Никогда бы не подумала по вашим фотографиям, что вы блондин.

Я не знал, что на это ответить, но, к счастью, в этом не было необходимости, поскольку она тут же продолжила:

– Только на прошлой неделе я читала вашу статью в "Ивнинг стандард". Она была настолько замечательной, что я вырезала ее и послала своей матери.

– Мне заплатили за нее десять гиней, – заметил я.

В этот момент бельгийский барон пригласил ее на танец. Она ответила:

– Нет, нет. Я упиваюсь гениальностью этого замечательного молодого человека. – Потом повернулась ко мне: – Знаете, я телепат. Как только я вошла в этот зал, то сразу *поняла*, что тут присутствует *великая личность*, и я знала, что должна найти ее еще до окончания вечера.

Полагаю, настоящие писатели-романисты привыкли к подобным вещам. Мне это было внове и очень приятно. Я пока написал две ничем не примечательные книжки и еще считал себя не столько писателем, сколько безработным школьным учителем.

– Знаете, – сказала она, – в нашем веке есть лишь еще один великий гений. Сможете угадать его имя?

Я стал гадать:

– Эйнштейн? Нет... Чарли Чаплин? Нет... Джеймс Джойс? Нет... Кто же?

– Морис Декобра[1], – сказала она. – Я хочу устроить маленькую вечеринку в "Ритце", чтобы познакомить вас. По крайней мере, буду чувствовать, что не напрасно прожила жизнь, если познакомлю вас, двух великих гениев эпохи. Человек ведь должен что-то сделать, чтобы жизнь его не была напрасной, не так ли, или вы так не думаете?

Какое-то время между нами царило полное согласие. Затем она сказала нечто, заронившее во мне легкое подозрение:

– Знаете, я так люблю ваши книги, что, уезжая в путешествие, всегда беру их с собой. Они стоят у меня в ряд у кровати.

– Вы, случаем, не путаете меня с моим братом Алеком?[2] Он написал куда больше книг, чем я.

1. Морис Декобра – псевдоним французского беллетриста Мориса Тесье (1885–1973), автора множества триллеров, переведенных на 77 языков, в том числе и на русский – в 1930-х гг. Эйзенштейн с ехидством называл его "мадонной спальных вагонов" по одноименному роману Декобра, экранизированному в 1927 г.
2. Алек Во (1898–1981) – старший брат Ивлина Во, писатель плодовитый, но не столь оригинальный и успешный, как его младший брат.

— Как, вы говорите, его зовут?

— Алек.

— Да, конечно. А вас?

— Ивлин.

— Но... но мне говорили, вы пишете.

— Да, пишу понемногу. Видите ли, я не могу найти никакой иной работы.

Ее разочарование было столь же откровенным, как до этого дружелюбие.

— Ах, — воскликнула она, — какая жалость!

Затем она пошла танцевать со своим бельгийцем, а закончив, вернулась за свой прежний столик. При расставании она неуверенно сказала:

— Мы непременно встретимся снова.

Не знаю, не знаю... Сомневаюсь, что она добавит эту книгу с этим эпизодом к стопке книг моего брата возле своей кровати.

* * *

Далее мой путь лежал в Монте-Карло, где предстояло сесть на корабль"Полярная звезда".

Я решил сойти в Монако, потому что, как мне сказали, отели там дешевле и там удобнее сесть на пароход.

Вокзал в Монако очень мал и непритязателен. Единственный носильщик, которого я смог найти, состоял при отеле с довольно внушительно звучащим названием. Он взял мой чемодан и отвел меня под снегопадом вниз в свой отель. Это оказался pension[1] на боковой улочке. Там была небольшая гостиная, заполненная плетеными креслами, в которых сидели с рукодельем пожилые англичанки. Я спросил у своего провожатого, нет ли в Монако отеля получше. Конечно, есть, ответил он, все отели в Монако лучше этого. Итак, он вновь подхватил мой чемодан и мы вышли под снег, преследуемые управительницей, и вскоре добрались до более крупного отеля с видом на гавань.

После ланча снег прекратился и установился очень холодный, но погожий день. Я поднялся на трамвайчике наверх, в Монте-Карло. От бастиона под променадом доносились звуки выстрелов — судя по афишам, это шло состязание в "Tiraux Pigeons"[2]. Своего рода соревнование было в самом разгаре; соперники были по большей части южноамериканцы высших церковных званий. Они очень интересно водили локтем, ожидая, когда откроются небольшие клетки и вылетит цель; также

1. Пансион (*франц.*).
2. Место для стрельбы по голубям (*франц.*).

они интересным жестом выражали досаду и сожаление, когда промахивались. Но такое случалось редко. Уровень попаданий был высок, и за время моего пребывания лишь три птицы, беспорядочно трепеща простреленными хвостами и крыльями, улетели от стрелков, чтобы упасть в руки мальчуганов, поджидавших их на берегу или в лодках и пальцами раздиравших на куски. Частенько, когда клетки падали и разбивались, птицы оцепенело сидели среди обломков, пока их не вспугивали; тогда они неуклюже взлетали и обычно попадали под первый же выстрел, едва успев подняться на десять футов над землей. На балконе над террасой сидел один из голубей казино, привилегированный и крепкий, без видимых эмоций наблюдая за побоищем. Единственное убедительное суждение об этом виде спорта я услышал от одного их посетителей "Бристоля", который заметил, что это, конечно, не крикет.

Каждую ночь во время моего пребывания в Монако шел густой снег, который иногда продолжался почти до полудня, но уже через час от него не оставалось и следа. Едва последняя снежинка опускалась на землю, появлялась армия деятельных человечков в синей униформе, вооруженных метлами, шлангами и тачками; они поливали и скребли тротуары, мели лужайки; приставляли лестницы к деревьям, взбирались и стряхивали снег с ветвей; клумбы были накрыты проволочными каркасами, соломой и зелеными суконными покрывалами; их снимали, открывая яркие цветы, которые сразу заменяли, когда их побивал морозец, на свежие из теплиц. При всем при том, не так уж нелепо просто убирать неподобающие снежные залежи с пути — никто не ступит в грязные ручьи со снежными берегами в других местах, которые уцелеют в дальних углах спустя недели после оттепели. Снег грузили в тачки. Утрамбовывали в большие плетеные корзины и увозили, то ли через границу, то ли сбрасывали в море, но уж точно за пределы империи казино.

Прибытие "Полярной звезды" вызвало большое возбуждение. Она появилась поздно вечером, встретив сильный шторм по пути из Барселоны. Я видел ее огни в гавани и слышал доносившуюся издалека танцевальную музыку, которую играл ее оркестр, но пошел посмотреть на нее поближе только утром. Это было, без сомнения, очень симпатичное судно, довольно высоко сидящее в воде, с высоким острым носом парусной яхты, целиком белое за исключением единственной желтой трубы.

Каждому англичанину за границей, пока не будет доказано противное, нравится считать себя путешественником, а не туристом. Наблюдая, как мой багаж поднимают на "Звезду", я понимал, что бесполезно далее притворяться. Мои попутчики и я сам были туристами, без всяких компромиссов или оправданий.

"Полярная звезда" была норвежской моторной яхтой водоизмещением в шесть тысяч тонн, способной принять на борт около двухсот пассажиров. Как и следовало ожидать от судна такого происхождения, она демонстрировала нордическую и почти ледниковую чистоту. Нигде, кроме больниц, я не видывал, чтобы все было так вычищено и надраено. Врач и медсестра на корабле были англичане; капитан с помощниками и команда, парикмахер, фотограф и разнообразные должностные лица — все норвежцы. Стюарды были из того космополитичного и многоязыкого племени — норвежцы, швейцарцы, британцы, итальянцы, — которое заменяет слуг всех стран света. Они поддерживали заданный Дживсом уровень учтивости и расторопности, который особенно приятен пассажирам-англичанам, гонимым за границу проблемами со слугами у себя на родине. Пассажиры тоже были всех национальностей, но британцы решительно преобладали, и английский был на корабле официальным языком. Офицеры одинаково свободно говорили на всех языках; некоторые из них впервые вышли в море на парснике; и, сидя среди танцующих, пока корабль плавно скользил на скорости в пятнадцать узлов в теплой темноте, они обычно рассказывали ужасающие истории о прежних плаваниях, о тайфунах, штилях и лишениях; думаю, когда им малость приестся их безмятежная жизнь на этой яхте, они найдут утешение в этих воспоминаниях.

Вскоре я обнаружил, что мои попутчики и их поведение в разных местах, которые мы посещали, куда более увлекательны для изучения, нежели сами эти места.

Один тип пассажиров, который во множестве присутствует на кораблях, — это безбедные вдовы средних лет; их дети благополучно пристроены в надежные пансионы; их слуги грубы; они увидели, что могут распоряжаться куда большими деньгами, нежели привыкли; их взор притягивает реклама пароходных компаний, и они замечают в ней лишь такой набор фраз — полупоэтичных, ощутимо возбуждающих, — который способен при расположенности погрузить простодушного человека в состояние легкой нереальности и зачарованности. В нем нет откровенной сексуальной притягательности. "Тайна, История, Праздность, Блаженство". Эта манящая последовательность ассоциаций: луна над пустыней, пирамиды, пальмы, сфинксы, верблюды, оазисы, муллы на высоких минаретах, распевающие вечернюю молитву, Аллах, Хиченс[1], миссис

1. Роберт Смит Хиченс (1864–1950) — английский писатель и журналист, автор около 50 романов, навеянных многочисленными путешествиями.

Шеридан[1] — все деликатно указывает путь к шейхам, похищению и гарему, — но счастливо медлительный ум не торопится принять запретное решение; он видит направление и восхищается им издалека.

Не думаю, что эти счастливейшие путешественницы бывают когда-либо разочарованы чем-либо увиденным. Из каждого похода на берег они возвращаются с горящими глазами; они посвящены в странные тайны, и их речь расцвечена словами менеджера по рекламе из бюро путешествий; руки полны покупок. Их покупки совершенно бесподобны. Полагаю, это обычай домохозяек давать себе волю после двадцати лет покупок электрических лампочек, консервированных абрикосов и детского зимнего белья. Домохозяйки становятся специалистами в торговых сделках. Можно видеть, как они сидят в салоне за вечерним кофе, чудовищно лгут друг дружке, как рыбаки в юмористических журналах, сравнивая цены и демонстрируя одна другой свои приобретения под ропот восхищения и аккомпанемент соперничающей истории. Интересно, что происходит со всем этим хламом? Когда он оказывается в Англии и наконец распакован в сером свете провинциального утра, теряет ли он свое очарование? Не выглядит ли все это под стать другим безделушкам, выложенным в галантерейной лавке по соседству? Их раздают родственникам и подругам — показать, что о них не забыли в путешествии, — или хранят, как сокровища, каждую мелочь, вешают на стены, кладут на журнальные столики — чистое наказание для горничных, но постоянное напоминание о волшебных вечерах под необъятным небом, танцевальной музыке и статных морских офицерах, о звуке церковных колоколов, плывущем над водой, загадочной полутьме базаров, Аллахе, Хиченсе и миссис Шеридан?

Но на судне были самые разные пассажиры. Я подружился с молодой парой, Джеффри и Джулиет.

В крохотном офисе на прогулочной палубе "Звезды" терпеливый и обаятельный норвежец, бывший капитан дальнего плавания организовывал экскурсии на берег, и пассажиры подробнейшим образом обсуждали вопрос: стоит ли ходить на них. В Неаполе, где я остался на борту совершенно один, в силу незнания итальянского, я очень пожалел, что не присоединился к какой-нибудь из групп.

1. Миссис Шеридан (урожденная Клэр Консуэлло Фревен, 1885–1970) — известный английский скульптор и писатель, жена младшего сына английского драматурга Роберта Шеридана, одно время жила в Алжире.

Мы вошли в залив ранним утром в субботу и пришвартовались к причалу. В порту стоял немецкий туристический корабль, который нам предстояло увидеть еще не однажды в следующие несколько недель, поскольку наши маршруты практически совпадали. Он был построен по той же технологии, что и "Звезда", но наши офицеры с презрением говорили о его мореходных качествах. Поговаривали, что в первый же день, как его спустили на воду, он перевернулся и теперь ходит с балластным слоем бетона. На его палубе стоял маленький черный самолет, и пассажиры платили около пяти гиней за полет над заливом. По ночам его название светящимися буквами появлялось на шлюпочной палубе. Два его оркестра играли почти беспрерывно. Все пассажиры были пожилые немцы, невероятно уродливые, но одетые смело и даже рискованно. Один щеголял в визитке, белых брюках и берете. Все на "Звезде" испытывали презрение к этому вульгарному судну.

К тому времени как мы закончили завтрак, все формальности с паспортами и карантинными службами были завершены, и мы были вольны сходить на берег, когда пожелаем. Английские дамы в полном составе, прихватив молитвенники, отправились на поиск протестантской церкви. Позже они жаловались, что их возмутительно надул извозчик, который вез их кружным путем и запросил 85 лир. Да еще предложил вместо утренней молитвы посетить помпейские танцы. Мне тоже докучали подобным предложением. Едва я сошел на берег, ко мне с непритворным радушием бросился маленький человечек в соломенной шляпе. У него было смуглое, радостное лицо и обворожительная улыбка.

— Добрый утра, сэр. Хотишь хорошенькой женщина?

Я сказал: нет, не в столь раннее время.

— Ну, тогда, посмотреть помпейские танца. Стеклянный дом. Все девушки голышом. Очень искусны, очень бесстыдны, очень французски.

Я снова отказался, и он продолжил предлагать другие развлечения, не слишком сочетающиеся с воскресным утром. Таким манером мы дошли до стоянки экипажей у входа в порт. Тут я сел в небольшую коляску. Сутенер попытался забраться на козлы рядом с возницей, но тот грубо оттолкнул его. Я велел отвезти меня к кафедральному собору, но вместо собора тот привез меня к дому греха.

— Там, — сказал возница, — помпейские танцы.

— Нет, — ответил я, — в собор.

Возница пожал плечами. Когда мы подъехали к собору, плата составила восемь лир, но доплата за сделанный крюк — целых тридцать пять. Путешественник я неопытный и после

препирательства, высказав все, что о нем думаю, заплатил и вошел внутрь. Собор был полон народа. Один из прихожан прервал молитву и подошел ко мне.

— После обедни. Желаете посмотреть помпейские танцы?

Я покачал головой с протестантской холодностью.

— А отличные девочки интересуют?

Я отвернулся. Тот пожал плечами, перекрестился и вернулся к молитве...

Вечером во время обеда за капитанским столом дама, сидевшая рядом со мной, сказала:

— О, мистер Во, смотритель в музее рассказывал мне об очень интересных древних помпейских танцах, которые, по-видимому, исполняются до сих пор. Я не вполне поняла, что он говорил, но, похоже, на это стоит посмотреть. Скажите, вам не хотелось бы?..

Одна из несносных черт неаполитанских извозчиков — с готовностью кивать, выслушивая, куда ехать, везти заранее продуманным и, не сомневаюсь, кружным путем, пока мы не оказывались перед фасадом здания с фресками, которые я хотел посмотреть, а затем, обернувшись на козлах, добродушно улыбаться, делать жест, будто поворачивают ключ в замке, и говорить: "Chiusa, signore"[1]. Капелла Сан-Северо была единственным местом, куда я в тот день смог попасть, и я был щедро вознагражден за усилия, которые пришлось приложить, чтобы найти ее. Мой возница впервые услышал о ней, но после множества расспросов мы нашли в нее вход — маленькую дверь, выходящую в проулок. Возница оставил коляску и ушел за смотрителем, долго отсутствовал и наконец вернулся с милой маленькой босоногой девушкой с огромной связкой ключей. Из трущоб мы шагнули в великолепие расточительного барокко. Девушка кружила по церкви, перечисляя часовни и гробницы, и ее голос отдавался причудливым эхом. Скульптура там была изумительна, особенно "Целомудрие" работы Антонио Коррадини, — крупная фигура женщины, с головы до ног укутанной в прозрачную вуаль. Не представляю, чтобы можно было превзойти подобное мастерство имитации: тело и каждая черта лица ясно видны под прилегающей тончайшей мраморной тканью; руки и ноги открыты, и различие между фактурой мрамора, передающего открытую плоть и плоть, покрытую вуалью, настолько неуловима, что не поддается анализу.

Пока я осматривал церковь, мой возница воспользовался возможностью и помолился. Это казалось несколько неуме-

1. "Закрыто, синьор" (*итал.*).

стным в капелле, столь выстуженной, запущенной и переполненной почти живыми мраморными статуями.

Когда я закончил осмотр, девушка зажгла свечу и поманила меня к боковой двери, ее лицо впервые загорелось истинным восторгом. Мы спустились по нескольким ступеням и свернули за угол. Полную тьму рассеивала только ее свеча; стоял сильный запах разложения. Затем девушка отступила в сторону и подняла свечу, чтобы я увидел то, за чем мы сюда спустились. В гробах в стиле рококо, вертикально прислоненных к стене, стояли две фигуры, изображающие умерших; их руки были скрещены на груди. Сохранились остатки зубов и волос. Сперва я подумал, что это статуи, исполненные с необычайной виртуозностью. Затем понял, что это эксгумированные трупы, частично мумифицировавшиеся в сухом воздухе подземелья, как трупы в дублинском храме Святого Михана. Это были мужчина и женщина. Тело мужчины было рассечено, виднелся клубок ссохшихся легких и органов пищеварения. Девушка приникла лицом к отверстию и глубоко и жадно вдохнула. Потом пригласила меня сделать то же самое.

— Хорошо пахнет, — сказала она. — Приятно.

Мы поднялись в церковь.

Я спросил ее о трупах.

— Это работа священника, — отвечала она.

* * *

Сицилийская Катанья с моря выглядела грязной и непривлекательной. Встречать нас вышел моторный катер полный портовых чиновников, представителей карантинной службы, паспортного контроля и тому подобных, многие из них были в очень красивой форме, в плащах, при саблях и в треуголках. Для них спустили трап, но волны мешали им подняться на борт. Когда волна поднимала катер к трапу, они тянули руки к поручням и огромному норвежцу матросу, который стоял там, чтобы помочь им. Некоторым удавалось ухватиться за поручни, но всякий раз, когда катер находился в высшей точке, мужество покидало их; вместо того, чтобы твердо ступить из катера на трап, они легонько подпрыгивали, а потом отпускали поручень. Это был не бог весть какой подвиг; все пассажиры, возвращавшиеся с Таормины, делали это без всяких происшествий, включая очень пожилых дам. Сицилийцы, однако, вскоре прекратили попытки, и все кончилось тем, что катер дважды обошел судно, словно делая вид, что вообще-то чиновники и не собирались подниматься на борт, а затем возвратились в свои конторы.

Мы с Джеффри сошли на берег на часок-другой. Жители города представляли собой жалкое зрелище, особенно дети,

которые собирались небольшими угрюмыми кучками на углу улиц, как делают только взрослые в более счастливых местах.

Вечером мы взяли курс на восток и два дня пробыли в море, прежде чем достичь Хайфы. Оба этих дня Джулиет пролежала с пневмонией, и я мало видел Джеффри.

Для организации спортивных турниров образовали комитет, совершенно бесполезным членом которого я вдруг оказался. Интересно было отметить, что, если англичане в целом рьяно брались за организацию состязаний, подсчет очков и судейство, к самим играм они были склонны относиться небрежно и легкомысленно. Однако другие нации, особенно скандинавы, отдавали все силы для достижения победы.

Вечером, на второй день спортивных игр, мы пришли в Хайфу. В последнее время это название упоминалось в газетах как место антиеврейских выступлений. Утром город выглядел совершенно мирным; в гавани не было больших кораблей, а моросящий дождь удерживал жителей в домах.

Помня свой неаполитанский опыт, я договорился посетить Назарет, Тиверию и гору Кармель с организованной группой. Сразу после завтрака я сошел на берег вместе с другими пассажирами "Звезды". На пристани нас ожидали машины. Меня усадили на переднее сиденье "бьюика", рядом с водителем с интеллигентным землистым лицом и одетым по-европейски. Большинство других шоферов были в фесках; у драгомана были огромные усы, торчавшие так, что концы их ясно виднелись со спины, как рога у бизона. Позже мы проехали мимо нескольких семей в арабских одеждах, которые вели за собой верблюдов. Они казались неуместными в этом пейзаже, поскольку, если не считать редкие группы кактусов по обочинам дороги, эти пурпурные холмы, затянутые пеленой мелкого дождика, изобилие евреев, серо-коричневые сосны, — все было как в каком-нибудь кишащим куропатками уголке шотландского нагорья.

Наш водитель был нервный и подавленный. Он беспрестанно курил "Лаки Страйк", прикуривая одну сигарету от другой. Закуривая новую сигарету, он снимал обе руки с руля, причем часто это происходило на перекрестках; он ехал очень быстро и скоро оторвался от остальных машин. Когда мы чудом избегали аварии, он свирепо смеялся. Он говорил на почти безупречном английском с американским акцентом. Рассказал, что не может ни есть, ни пить, когда куда-то выезжает; вместо этого курит; в прошлом месяце он возил господина из Германии в Багдад и обратно; после чего ему было плохо. Он не улыбался, разве что только на перекрестках или когда мы проносились по деревне и какая-нибудь мать с воплем бросалась вперед, чтобы успеть выхватить своего ребенка чуть ли не из-под колес. В та-

кие моменты он жал на педаль газа и жадно подавался вперед на сиденье. Если ребенку удавалось благополучно избежать опасности, он в разочаровании легонько свистел сквозь зубы и возобновлял поток грустных, хотя и увлекательных историй. У этого человека не было, как он рассказал, ни веры ни в какого бога, ни дома, ни национальности. Сирота, он вырос в Нью-Йорке, где его приютил Комитет помощи Ближнему Востоку[1]; он не знал наверное, но предполагал, что его родители погибли во время армянской резни в Турции. Америка нравилась ему; там было много богатых людей, сказал он. После войны он пытался получить американское гражданство, но его вытурили из страны. У него были серьезные неприятности из-за каких-то "бумаг"; я не вполне понял каких. Его отправили колонизировать Палестину. В Палестине ему не понравилось, потому что там было так мало богатых. Евреев он ненавидел, поскольку они были бедней всех, поэтому он превратился в мусульманина. Ему можно было иметь дюжину жен, но он оставался неженатым. На женщин требуется время и деньги, а он хотел разбогатеть и жить, все время переезжая с места на место, пока не умрет. Может, если он станет очень богатым, ему позволят стать американским гражданином? Он не стал бы переселяться в Америку, но было бы приятно, когда будет путешествовать, говорить, что он американец: тогда все относились бы к нему с уважением. Он был однажды в Лондоне: хороший город, много богатых людей. И Париж тоже, много богатых. Нравится ли ему его теперешняя работа? А чем еще заниматься в этой вонючей Святой земле? Ближайшая его цель — это устроиться стюардом на корабль; не на какое-то вонючее корыто, а на такой, где полно богачей, как на "Полярной звезде".

Мы приехали в Кану Галилейскую, где маленькая девочка продавала вино в кувшинах. Кувшины были подлинные, времен чуда претворения воды в вино[2]. Если они были слишком велики для вас, в доме у нее были кувшины меньшего размера; и да, такие же подлинные. Оттуда мы направились в Тиверию, небольшую рыбацкую деревню с кубиками домов на берегу Галилейского моря[3]. Там были руины какой-то крепости и белые, увенчанные куполом общественные бани с горячей минеральной водой. Нас проводили туда. Во дворе проходило нечто вроде пикника; арабская семья, сидя на земле, ела хлеб и изюм. В банях было почти темно; нагие купальщики

1. Американский комитет помощи Ближнему Востоку, образован в 1918 г., впоследствии сменил название на Ближневосточный фонд.
2. Первое чудо Христа, Ин. 2:1–11.
3. Другое название: Тивериадское или Генисаретское озеро.

лежали, окутанные паром, и не обращали внимания на наше вторжение. Мы позавтракали в Назарете; в гостинице, которой управляли немцы, нам подали омлет, рубленые котлеты, свинину и неважное вино, называвшееся "Яффское золотое". Пока мы завтракали, дождь прекратился и мы отправились посетить святые места. Нам показали пещеры: место, где произошло Благовещение, и мастерскую Иосифа. Неунывающий рыжебородый монах-ирландец впустил нас туда. Он, как и мы, скептически относился к допотопным склонностям Святого семейства. Реакция моих попутчиков была очень интересной. Здравомыслящий священнослужитель раздражал их. Они ожидали увидеть фигуру очень суеверную, легковерную, вроде средневекового монаха, к которому могли бы относиться со сдержанной насмешкой. Выходило же, что это церковь смеялась над ними. Это мы проехали двадцать четыре мили и бросили свою дань в церковную кружку и это наше суеверие послужило предметом мягкой насмешки.

У выхода из церкви шла бойкая торговля пресс-папье из оливкового дерева. Мальчишки бросились к нашим ногам и принялись чистить нам обувь. Монахиня продавала кружевные салфетки. Какая-то старуха предлагала погадать. Мы пробились сквозь эту толпу назаретян и вернулись к машинам. Наш водитель курил в одиночестве. Другие шоферы — все невежественные дураки, сказал он. И он не собирается убивать время, болтая с ними, добавил он, насмешливо поглядев на сувениры, что мы накупили.

— Все это не представляет никакого интереса, ни одна из этих вещей. Но если вам действительно хотелось их купить, следовало сказать мне. Я купил бы их вам вдесятеро дешевле.

Он заорал и стукнул гаечным ключом по пальцам старика, пытавшегося продать нам мухобойку. Мы поехали дальше. Холмы цвели анемонами, асфоделями и цикламенами. Мы остановили водителя, и я вышел, чтобы нарвать букетик для Джулиет.

— Они завянут, не успеете доехать до корабля, — сказал водитель.

Бедняга Джеффри целый день провел с судовым врачом, приглядывая за сиделкой. Они подстраховывали коренастую молодую женщину неопределенной национальности, которая неважно говорила по-английски и имела кое-какой стаж работа в больницах. Первые полчаса она делала Джулиет влажное обтирание и перекладывала с одного края кровати на другой, пока у той держалась очень высокая температура. Затем ей стало плохо от качки, и она удалилась в свою каюту, а бедный Джеффри, несмотря на то, что предыдущую ночь оставался на ногах, провел и эту ночь в бдении вместе с горничной (которую си-

делка называла сестрой). В Порт-Саиде они отослали эту сиделку на поезде обратно. Это был ее первый выход в море. Невзирая на то, что все время плавания она провела лежа на койке в своей каюте, она выразила крайнее удовольствие от своего первого опыта и попросила врача о постоянной должности на корабле. После ухода Джеффри обнаружил в ее каюте странную запись на листе корабельной почтовой бумаги. Сверху, над фирменной шапкой, шла строка, нетвердой рукой написанная карандашом: "Пневмония (La Grippe) — распространенное эпидемическое заболевание в весеннее время".

Многие из пассажиров сошли со "Звезды" в Хайфе и продолжили путь в Египет через Дамаск и Иерусалим, вновь взойдя на судно восемью днями позже в Порт-Саиде. Остальные переночевали в своих каютах, а наутро отправились на поезде в Каир и Луксор. Джеффри, Джулиет, я и еще двое таких же инвалидов остались одни на судне после первого дня, проведенного в Порт-Саиде. Вся команда наслаждалась этой неделей безделья в середине круиза. Офицеры переоделись в штатское и направились за покупками в "Симон Арцт"; матросы и стюарды сходили на берег развеселыми группами по шесть-семь человек. Это для них была, наверное, единственная возможность продолжительного пребывания на суше, несколько человек из них уехали на целый день в Каир. Те же, кто не ушел в увольнение, занимались обновлением этого чуда чистоты, драили и красили. Мы пополняли запасы топлива и воды. В одном из кафе на берегу играл оркестр. Капитан устраивал званые обеды для властей и друзей. Ослепительно сияло солнце, теплое, но не слишком жаркое, и мы впервые могли с удовольствием посиживать на палубе без шарфов и пальто и наблюдать за большими кораблями, проходившими по каналу.

Единственным, что отравило эту блаженную неделю, была болезнь Джулиет, к этому времени обострившаяся. Врач заявил, что она не может продолжать путешествие, так что ее уложили на носилки, снесли на берег и увезли в Британский госпиталь. Я сопровождал процессию, состоявшую из судового врача, шедшего с теплым бренди и чайной ложечкой в руке, корабельного офицера, Джеффри, полуобезумевшего от тревоги, плотной толпы любопытствующих египтян, коптов, арабов, матросов-индийцев, суданцев и команды санитаров, двое из которых отгоняли зевак, а остальные погружали Джулиет — похожую на труп — в санитарный фургон. Эти люди были греками, и они отказались брать плату за свои услуги. Для них достаточным вознаграждением было разрешение носить форму санитаров. Они наверняка были единственными людьми во всем Египте, которые когда-либо делали что-нибудь безвозмездно. Несколько не-

дель спустя я встретил одного из них: он маршировал с отрядом бойскаутов. Выскочив из их рядов, он бросился ко мне, чтобы пожать руку и узнать новости о Джулиет.

Это была печальная поездка в госпиталь и еще более печальное возвращение пешком с Джеффри. Британский госпиталь находится на дальнем конце набережной. Мы прошли мимо футболистов, с азартом игравших на неровном песчаном пустыре. Игроки, юные египтяне, были при полной форме: зелено-белые футболки, белые шорты, полосатые гетры и блестящие черные бутсы. Каждый удар по мячу сопровождался воплем "гип-гип-ура!" или свистом; среди играющих бродила пара коз, выискивая занесенные песком отбросы.

Мы остановились выпить на террасе "Казино-отеля"; к нам подошел фокусник и начал проделывать трюки с живыми курами. Таких людей здесь называют gully-gullyman[1] из-за их неуемной болтовни. Фокусники из них самые никудышные, но они отличные комики. Они подпрыгивают на корточках, кудахча и счастливо улыбаясь, затем проделывают простейшие трюки, извлекая и пряча предметы в свои широкие рукава; заключительный же фокус состоит в том, что они берут купюру в пять пиастров, которая тут же исчезает в их рукаве, однако это забавляет лишь в первые три раза. Была в городе маленькая девочка-арабка, которая научилась прекрасно им подражать, только, обладая редкостным чутьем отбрасывать несущественное, она обычно совершенно не заботилась о фокусах, а переходила от столика к столику кафе и просто говорила "Галли-галли", и доставала, и снова прятала курицу в маленькую холщевую сумку. Она была ничуть не менее забавна, чем взрослые, и зарабатывала наравне с ними. Однако именно в тот день Джеффри было не так легко утешить, а представление как будто лишь усилило его мрачность. Мы вернулись на корабль, и я помог ему собрать вещи и переселиться в отель.

Два дня спустя я решил присоединиться к нему.

Отель, где мы с Джеффри остановились, располагался на набережной — совершенно новое бетонное здание, хозяевами которого были отставной английский офицер и его жена. Вся английская колония Порт-Саида единодушно рекомендовала его на том основании, что это было единственное место, где с уверенностью не встретишь "гиппи"[2]. Люди, которых мы там встретили, были, безусловно, британцы, но не сказать чтобы веселые. Некоторые жили в Порт-Саиде в силу удручающих об-

1. Нечто вроде бродячих комедиантов, развлекающих туристов.
2. На английском сленге — египтянин.

стоятельств. Тут были два добродушных лоцмана с Суэцкого канала, живших в "Боделле" постоянно, и восхитительный молодой недавний выпускник Кембриджа, общение с которым доставляло нам безмерное удовольствие; он проводил свой отдых от Темпла[1], исследуя ночную жизнь Александрии, Порт-Саида и Каира. Как некоторые люди способны инстинктивно находить уборную в незнакомом доме, так этот молодой человек, прибывая на вокзал любого города на любом континенте, мог мгновенно обнаружить его злачный квартал. Но не считая его и лоцманов, другие постояльцы "Боделла" все были случайные люди, которых вынудила сойти с их кораблей болезнь жен или детей. Тут был плантатор из Кении с маленькой дочкой и гувернанткой; он возвращался домой после четырнадцати лет отсутствия; его супруга тяжело заболела и лежала в госпитале. Тут был капитан-танкист, направлявшийся в Индию к месту службы: у его жены случился приступ аппендицита и ее срочно доставили в операционную. Тут была жена солдата, отвозившая детей домой на период жары; ее младший сын заболел менингитом. Я страшился вечеров, когда мы все сидели в плетеных креслах, скорбно обсуждая состояние больных, а тихие слуги-берберы в белых одеяниях с малиновыми кушаками неслышно сновали, принося виски с содовой, и мистер Боделл пытался ободрить нас, заводя древний граммофон и предлагая бессмысленную азартную игру проколотыми полосками картона.

Джеффри, кембриджский адвокат и я провели два или три вечера, изучая ночной город, район, называемый местными жителями квартал красных фонарей. Он находится на самом краю города на берегу озера Мензалех, близ узкой пристани и товарных складов вдоль канала Мензалех, отделенных от лавок, контор и отелей примерно милей густонаселенных арабских улочек. Квартал очень трудно найти днем, но ночью, даже без особого дара нашего адвоката, путь нам указали бы такси, полные подвыпивших матросов и стюардов, или сумрачные, целеустремленные египтяне, проносившиеся мимо нас по узким оживленным улочкам.

Как-то вечером после ужина мы отправились туда, испытывая немалые опасения, с тщательно рассчитанным минимумом денег и с дубинками из кожи и китового уса, заполненными свинцом, которыми, к нашему удивлению, снабдил нас адвокат; оставили часы, кольца и булавки для галстука на туалетном столике и предусмотрительно позаботились, чтобы Джулиет была в неведении относительно того, куда мы на-

1. Корпорация английских барристеров (адвокатов высокого ранга).

правляемся. Это была интересная прогулка. Нелепый вагон вез нас по Quai du Nord[1], влекомый кобылой и ослом. Через некоторое время вагон свернул налево, в арабский район. Здесь царило невероятное оживление. По улицам катили редкие машины, а тротуары ничем не отличались от узкой немощеной дороги, более того, она была запружена ручными тележками, с которых продавали главным образом фрукты и сласти, торгующимися и сплетничающими мужчинами и женщинами, бесчисленными босоногими детьми, козами, овцами, утками, курами и гусями. По сторонам улицы стояли деревянные дома с нависающими балконами и плоскими крышами. На крышах — курятники и ветхие временные пристройки, служащие кладовками. Никто к нам не приставал и вообще не обращал на нас никакого внимания. Было время рамадана, длительного мусульманского поста, во время которого верующие весь день от восхода солнца до заката ничего не едят и не пьют. Как результат, ночь проходит в безудержном пиршестве. Чуть ли не у каждого прохожего в руках была небольшая эмалированная миска с чем-то вроде молочного пудинга, к которой он прикладывался, откусив от аппетитно выглядящего круглого хлеба. Мужчины с изукрашенными медными кувшинами продавали лимонад, проходили женщины со стопками лепешек на голове. Чем дальше мы шли, тем более ветхие дома окружали нас, а улица становилась все уже. Мы были на окраине суданского квартала, где текла совсем уж примитивная жизнь. Затем вдруг вышли на резко освещенную площадь с двумя-тремя крепкими оштукатуренными домами и несколькими ожидающими такси. Одна сторона площади выходила на черную мелкую воду озера и была окаймлена мачтами небольших рыбацких суденышек. Несколько девиц в замызганных европейских вечерних платьях завладели нами и потащили к са́мому освещенному зданию; поперек его фасада красовалось: “Maison Dorée”[2], а девицы кричали: “Золотой дом, золотой дом”, “Кароши, чисты”. По мне, он не был ни очень хорошим, ни очень чистым. Мы сидели в небольшой комнате в пышном восточном стиле и пили пиво с юными дамами. К нам присоединилась мадам, красивая уроженка Марселя в зеленом шелковом платье, украшенном вышивкой; ей было не больше сорока, и она была чрезвычайно приятной и занимательной. Затем вошли еще три или четыре девицы, все более или менее белые, тесно уселись на диван и, попивая пиво, принялись делать по-

1. Северная набережная (*франц.*).
2. “Золотой дом” (*франц.*), по названию знаменитого парижского ресторана.

хвальные попытки привлечь наше внимание. Ни одна не знала ни слова по-английски, кроме “Привет, мистер американец!” Не представляю, какой они были национальности. Еврейки, армянки, а может, гречанки. Мадам сказала, что каждая стоит пятьдесят пиастров. И все они европейки. В других домах по соседству полно арабок — ужасные, грязные места, сказала она. Некоторые из девиц сбросили с себя платья и немного потанцевали, напевая песенку, звучавшую как та-ра-ра-бум-ай. Сверху доносился шум развеселой вечеринки, звуки концертино и бьющегося стекла, но мадам не пустила нас туда. Посидев, мы расплатились за выпитое и ушли.

Затем мы заглянули в соседнее заведение, намного более плебейское, называвшееся “Фоли-Бержер”, которым заправляла толстенная старая арабка, едва говорившая по-французски и совсем не говорившая по-английски. Она имела лицензию на содержание восьми девушек, но не думаю, что это был весь ее штат. При нашем появлении на улицу был отряжен мальчишка, который вернулся с полудюжиной арабских девочек, толстых, уродливых, с небрежно наштукатуренными лицами. Вокруг, на узких улочках в однокомнатных лачугах, размером с пляжную кабинку для переодевания, жили свободные проститутки. Не занятые женщины сидели в дверях и усердно шили; между стежками они поднимали голову и зазывали клиентов, у многих на дверном косяке была мелом написана цена — иногда в двадцать пять пиастров, но обычно меньше. Внутри виднелась железная кровать и висящие флаги, украшенные эмблемами британских полков.

На обратном пути мы наткнулись на еще один весело сверкающий огнями дом с вывеской “Maison Chabanais”[1]. Мы зашли и были удивлены, встретив мадам и всех ее юных девиц из “Золотого дома”. Оказалось, мы вошли в него с черного хода. Иногда, объяснила она, джентльмены уходят неудовлетворенные, с намерением найти другой дом, чаще всего находят эту дверь, и наименее наблюдательные никогда не обнаруживают своей ошибки.

* * *

Пока мы были в Порт-Саиде, рамадан закончился праздником разговения — ураза-байрам. Все дети получали новую одежду — те, кто был лишен такого удовольствия, надевали полоску блестящей мишуры или яркую ленту и шествовали по

1. Заведение использует название одного из самых роскошных и известных борделей Парижа, “Шабане”, который действовал с 1878-го по 1946 г.

улицам пешком или ехали на извозчике. Сами улицы Арабского города были украшены огнями и флагами, и каждый старался производить как можно больше шума. Солдаты устраивали канонаду вслед за артиллерийскими залпами; гражданские били в барабаны, свистели в свистки, трубили в трубы или просто колотили по жестянкам и кричали. Так продолжалось три дня.

Была устроена ярмарка, где раскинули свои шатры два цирка. Вечером Джеффри, я и глава госпиталя пошли в цирк, чем привели в немалое замешательство некоторых постояльцев. Медсестры в госпитале были шокированы. "Подумайте о бедных животных, — говорили они. — Мы знаем, как цыгане обращаются с ними". Но, в отличие от европейских цирков, тут не было дрессированных животных.

Мы были единственные европейцы в шатре. Стулья были поставлены на весьма шатких деревянных уступах, поднимавшихся от арены на приличную высоту. Позади верхнего, последнего, ряда находились плотно занавешенные кабинки для женщин-зрительниц, но таковых было очень мало; большая часть публики состояла из молодых людей. Между первым рядом и краем арены толпились мальчишки, и полицейский был занят тем, что сгонял их палкой с ограждения. Все места, похоже, стоили одинаково; мы заплатили по пять пиастров и выбрали места ближе к задним. Между рядами ходили служители, предлагая орешки, минеральную воду, кофе и кальяны. Кальяны были простейшие и состояли из половинки кокосовой скорлупы, до середины наполненной водой, маленькой оловянной чашечки с табаком и длинным бамбуковым чубуком. Доктор предупредил меня, если я выкурю один такой кальян, то непременно заболею ужасной болезнью; я это сделал, однако без всякого вреда для себя. Торговец поддерживал огонь в нескольких кальянах одновременно, затягиваясь из каждого по очереди. Мы пили кофе — очень крепкий, сладкий и с осадком.

Рис. Ивлина Во[1]

Когда мы вошли, представление уже давно началось — шло невероятно популярное выступление клоунов; два египтянина в европейских костюмах обменивались репликами. Мы, разумеется, не понимали ни слова; вре-

1. Все рисунки Ивлина Во в данном Литгиде взяты из книги Evelyn Waugh "The Complete Short Stories". — L.: Everyman's Library, 1998.

мя от времени они отвешивали друг другу звонкую оплеуху, это, несомненно, повторяло номер в английском мюзик-холле. Номер продолжался непомерно долго, но, наконец, комики удалились, провожаемые громом аплодисментов, а их место заняла очень хорошенькая белая маленькая девочка в балетной пачке, которой было не больше десяти или двенадцати лет; она станцевала чарльстон. Позже она ходила по рядам и продавала открытки со своим изображением. Оказалось, она француженка. Для тех, кто любит морализировать по поводу подобных вещей, пищу для размышления представляет этот африканский танец, обошедший два континента, не оставив равнодушным никого, от раба до жиголо, и постепенно возвращающийся снова на юг, к месту своего происхождения[1].

Затем на арену вышли японские жонглеры, а после них вся труппа приняла участие в бесконечном выступлении клоунов. Они спели печальную народную песню, а потом выходили по одному с невероятно серьезным видом и ложились на арену; когда все взрослые улеглись на арене, появилась маленькая девочка-балерина и последовала их примеру; наконец, неуверенно ковыляя, вышла двух или трехлетняя кроха и тоже улеглась. Все это заняло по меньшей мере четверть часа. После чего все, продолжая распевать, снова встали, по одному и в том порядке, в котором ложились, и покинули арену. Затем последовал перерыв, во время которого публика покинула свои места и принялась прогуливаться вокруг арены, как на "Лордз"[2] между иннингами. После перерыва на арене появился великолепно сложенный негр. Первым делом он проткнул себе щеки дюжиной вязальных спиц так, что они торчали по сторонам его лица; в таком виде он расхаживал среди зрителей и наклонялся к нашим лицам с застывшей страшной ухмылкой. Затем взял несколько гвоздей и вбил себе в бедра. Дальше он разделся, оставшись только в украшенном блестками трико, и стал кататься по доске, утыканной острыми разделочными ножами, не выказывая ни малейшего неудобства.

Во время этого номера возникла драка. Она бушевала главным образом у выхода, который был как раз под нашими местами. Головы дерущихся находились у наших ног, так что в целом мы могли все видеть, не подвергаясь серьезной опасности. Было трудно понять, что происходит; все больше и больше зрителей присоединялось к схватке. Негр встал со своей доски с ножами, чувствуя, что никто не обращает на не-

1. Имеющийся в виду безумно популярный в 1920-х гг. чарльстон имел африканские корни.
2. Крикетный стадион в Лондоне.

го ни малейшего внимания, и принялся взывать к публике, шлепая себя по голой груди и показывая, каким пыткам подвергает себя ради нее. Человек, сидящий рядом со мной, важный египтянин, знающий английский, с которым я иногда обменивался репликами, неожиданно поднялся и, перегнувшись через нас троих, звонко стукнул зонтиком по голове одного из дерущихся, после чего вновь сел с невозмутимым достоинством и вернулся к своему кальяну.

— Из-за чего они дерутся? — спросил я его.

— Дерутся? — переспросил он. — Кто дерется? Я не вижу никакой драки.

— А это? — я показал на схватку, кипящую у выхода и грозившую обрушить весь шатер.

— Ах, это! — сказал он. — Простите, мне показалось, вы сказали "драка". Это всего-навсего полиция.

И действительно, когда спустя несколько минут толпа наконец разошлась, там остались два констебля, не владеющие собой от ярости, которых зрители пытались развести. Их наконец вытолкали, чтобы они продолжали свою свару снаружи; толпа принялась улаживать их ссору, отряхивать от пыли их упавшие фески; все снова успокоились, и громадный негр возобновил самоистязание в благодарной тишине.

На арену вышли разнообразные акробаты, среди которых была и маленькая француженка, которая продемонстрировала необыкновенную смелость и изящество. Когда мы уходили, представление было в полном разгаре и явно продолжилось до глубокой ночи, пока последний посетитель не чувствовал, что получил сполна удовольствия за свои деньги. Потом мы как-то увидели девочку-француженку в городе; она сидела за столиком в кондитерской со своим импресарио перед горой шоколадных эклеров, и лицо у нее было бледное и апатичное.

* * *

Во время байрама на железной дороге продавались билеты обратно в Каир за полцены, так что я и адвокат отправились ночным поездом в очень комфортабельном спальном вагоне.

Мы прибыли в Каир ближе к вечеру и отправились на поиски отеля. Все отели в Египте дурны, но в свое оправдание приводят две противоположные причины. Некоторые обоснованно утверждают, что в действительности не имеет значения, насколько они плохи, если они довольно дешевы; другие — что в действительности не имеет значения, насколько они плохи, если они довольно дороги. И те, и другие вполне сносны. Мы отыскали один из отелей первой категории, большое, старомодное заведение, с хозяевами греками в Ми-

дан-эль-Хазнедар, называвшееся “Бристоль и Нил”, где номера даже в разгар сезона стоят всего восемьдесят пиастров за ночь. В моем номере было три двуспальных кровати под высокими балдахинами с пыльными москитными сетками и два кресла-качалки, которые выглядели так, будто их принесли со свалки. Окна выходили на конечную остановку трамвая. Никто из прислуги не говорил ни на одном из европейских языков, но это был незначительный недостаток, поскольку они никогда не приходили на звонок.

Деннис — так удобней называть моего спутника, — прежде бывал в Каире и горел желанием показать мне его достопримечательности, особенно, конечно, “квартал красных фонарей”.

Весь квартал был украшен огнями в честь праздника. Через улицу от окна к окну тянулись навесы из цветастого ситца с рисунком, имитирующим ковровый. Ряды мужчин и женщин, вынеся стулья на улицу, сидели, наблюдая за густой прогуливающейся толпой. Многочисленные маленькие кафе были заполнены мужчинами, которые пили кофе, курили и играли в шахматы. Этот район, в добавление к своему сомнительному занятию, еще и центр оживленной общественной жизни; в некоторых кафе мужчины танцевали неторопливые и грубоватые народные танцы. Со всех сторон звучала музыка. Кроме патрулей военной полиции, мы не видели ни одного европейца; никто не пялился на нас, никто никаким образом не беспокоил, но мы сами чувствовали свою неуместность в этой интимной и праздничной атмосфере, как незваные гости, вторгшиеся в компанию школьников, отмечающих день рождения одноклассника. Мы было уже совсем собрались уходить, как Деннис встретил знакомого — египетского инженера-электрика, который появлялся с ним на судне. Он горячо поздоровался с нами и представил друга, бывшего с ним; они взяли нас под руку и мы вчетвером двинулись по узкой улице, дружески болтая. Инженер, который обучался в Лондоне, чтобы, вернувшись, занять важную должность в компании, связанной с телефонией, беспокоился о том, чтобы у нас создалось хорошее впечатление о его городе, и попеременно то хвастался, то оправдывался. Не находим ли мы его очень грязным? Мы не должны считать этих людей невежественными; жаль, что сейчас выходной; если бы мы приехали в любое другое время, он показал бы нам такие вещи, о каких в Лондоне и не мечтают; много ли у нас было девушек в Лондоне? У него было много. Он показал нам бумажник, забитый их фотографиями; не правда ли загляденье? Но мы не должны думать, что египетские девушки уродливы. У многих кожа такая же светлая, как у нас; если бы не выходной, он мог бы показать нам настоящих красавиц.

Похоже, молодой человек был популярен. Со всех сторон его приветствовали друзья, которым он тут же нас и представлял. Те пожимали нам руку и угощали сигаретами. Поскольку никто из них не говорил по-английски, эти встречи были короткими. Наконец, поинтересовавшись, не желаем ли мы выпить кофе, он завел нас в один из домов.

— Здесь не так дорого, как в других местах, — объяснил он, — некоторые дерут просто ужасно. Как в вашем Лондоне.

Называлось заведение, как гласила надпись по-английски и по-арабски на входе, "Великосветский дом". Мы поднялись по многочисленным ступеням и вошли в небольшое помещение, где три глубоких старика играли на струнных инструментах необычной формы. Несколько прекрасно одетых арабов сидели вдоль стен и жевали орехи. По большей части это были мелкие землевладельцы, объяснил нам хозяин отеля, приехавшие из сельской местности на праздник. Он велел принести нам кофе, орехи и сигареты и дал полпиастра музыкантам. В комнате были две женщины: невероятно тучное белокожее создание неопределенной национальности и эффектная суданка. Хозяин спросил, не желаем ли мы, чтобы одна из дам станцевала для нас. Мы пожелали и выбрали негритянку. Наш выбор озадачил и потряс его. "Но у нее такая темная кожа!" — воскликнул он.

— На наш взгляд, она красивей, — возразили мы.

Учтивость взяла верх над его сомнениями. В конце концов мы гости. Он велел негритянке танцевать. Та встала, поискала кастаньеты, не глядя в нашу сторону и двигаясь очень медленно. Ей было никак не больше семнадцати. На ней было очень короткое красное бальное платье без спинки, ноги и ступни — голые, и многочисленные золотые браслеты на лодыжках и запястьях. Все настоящие, заверил нас хозяин. Танцовщицы всегда вкладывают все свои сбережение в золотые украшения. Она нашла, наконец, кастаньеты и начала танцевать с бесконечно скучающим видом, но с восхитительной грацией. Чем зажигательней становились ее движения, тем отрешенней и бесстрастней — выражение ее лица. В ее искусстве не было ни намека на вульгарность — просто ритмичное и волнообразное чередование поз, медленные извивы и дрожь рук и тела. Она танцевала минут пятнадцать или двадцать, за это время хозяин презрительно сплевывал шелуху орешков ей под ноги, затем взяла бубен и стала обходить публику, едва заметно кланяясь при каждом пожертвовании.

— Ни в коем случае не давайте ей больше полпиастра, — предупредил нас хозяин.

У меня не было монеты меньше пяти пиастров, их я и опустил в ее бубен, но негритянка встретила мой жест с неиз-

менным безразличием. Она вышла, чтобы убрать деньги, потом вернулась, снова села и, взяв пригоршню орешков, принялась грызть их, сплевывая шелуху, глаза ее были полузакрыты, голова опиралась на кулачок.

К этому времени хозяину явно стало обременительно занимать нас, так что после долгого обмена любезностями мы тепло распрощались и направились в европейский квартал. Остановили такси и попросили отвезти нас в ночной клуб. Водитель отвез нас в клуб, называвшийся "Попугай", где было полно молодых людей в белых бабочках, бросавшихся серпантином. Это было не совсем то, что мы искали, поэтому мы отправились за город на другой берег реки в Гизу. Здешнее увеселительное заведение называлось "Фантазио", и на входе стоял швейцар в изящной ливрее. Однако множество игровых автоматов в вестибюле развеяли все опасения, что мы попали в шикарное заведение. Столики отделялись невысокими деревянными перегородками; три четверти пустовали. На сцене в конце зала молодой египтянин пел меланхолическим тенором нечто, напоминавшее литургию. С короткими паузами это выступление продолжалось все время, пока мы там были. За одним из столиков сидел внушительного вида старый шейх, мертвецки пьяный.

После получаса, проведенного в "Фантазио", даже живой интерес Денниса к ночной жизни приугас, так что мы сели в открытую коляску и покатили под звездами обратно в "Бристоль и Нил".

* * *

Незадолго до наступления Пасхи доктора объявили, что Джулиет может покинуть госпиталь, так что мы собрали вещи и отправились из Порт-Саида в Каир. Перед отъездом мы попрощались с разнообразными людьми, с которыми успели подружиться. Это было не современное прощание без всяких формальностей, но очень торжественный обход домов с небольшой стопкой визитных карточек, с пометкой "р.р.с." в уголке. Мне приходилось время от времени слышать на званых обедах в Порт-Саиде резкие замечания в адрес людей, не посчитавших нужным отдать эту дань вежливости.

Для Джулиет путешествие было ничем не примечательно, кроме поведения египетских носильщиков. Они набрасываются на ваш багаж, как вестминстерские школьники на блинчики в последний день Масленицы, с той только разницей, что эти стремятся подхватить наилегчайшую из вещей; и тот, у кого крепче кулаки, выбирается из общей схватки с пачкой газет, ковриком, надувной подушкой или с маленьким "дипломатом". И тогда багаж одного человека оказывается в ру-

ках шести-семи носильщиков, каждый из которых шумно требует чаевые, когда донесет свою вещь до поезда или такси. Джулиет была шокирована, глядя, как ее муж и я защищаем наши пожитки от набросившихся носильщиков с помощью зонтика и трости; когда первая атака была отражена и нападавшие поняли, что мы не только что прибывшие, мы смогли разделить багаж между двумя из них и с достоинством продолжить свой путь.

Мы забронировали номера в "Мена Хаус"исходя из того, что для окончательного выздоровления Джулиет необходимы сухой воздух пустыни и определенный комфорт. Дорога туда прекрасно приспособлена для езды с высокой скоростью, и обычно по обочинам вдоль нее видишь разбитые гоночные машины, поскольку египтяне, особенно богатые египтяне, славятся своей безрассудной ездой. Мы проехали мимо двух таких, когда везли Джулиет, одну в двухстах ярдах в поле, где росли огурцы; двое феллахов недоверчиво разглядывали ее. Катились трамваи, направляясь к пирамидам, переполненные и медленные; европейцы и американцы пользовались ими очень мало. На конечной станции трамвай встречала толпа драгоманов, множество верблюдов и мулов; тут было кафе с хозяином-греком, лавка, торговавшая открытками с видами, фотоателье, лавка древностей, специализировавшаяся на скарабеях, и "Мена Хаус". Это большое здание в псевдовосточном стиле, окруженное обширным и красивым парком. От отеля было всего четверть мили до пирамид, этих впечатляющих прославленных громад; испытываешь необыкновенное ощущение, живя в такой близи с чем-то столь знаменитым — это как сидеть в ресторане рядом со столиком принца Уэльского; делать вид, что не замечаешь его, а украдкой поглядывать, там ли он еще. Парк поражал пышной зеленью и массой фиалок. Вокруг здания были разбиты клумбы, плотно усыпанные яркими цветами и похожие на викторианские пресс-папье, позади же уходили вдаль садовые дорожки, окаймленные канавами, по которым бежала вода, они тянулись среди фруктовых и цветущих деревьев, распространяющих оглушительный аромат; тут были высокие живые изгороди из кактусов, небольшие восьмиугольные птичьи вольеры и бесчисленные садовники в белом, которые отрывались от работы, кланялись и предлагали проходящим гостям цветок в петлицу.

В Мене кипела жизнь, особенно по уик-эндам. Большинство постояльцев были пожилые и спокойные люди, но к ланчу и пятичасовому чаю народ стекался всякий. Толпы американцев и англичан с севера Англии, совершавших люксовые экскурсии с персональными гидами, австралийцы в джодпу-

рах[1], тропических шлемах и с мухобойками в виде конского хвоста на ручке, элегантные египетские офицеры в живописных авто подъезжали с ошеломительными куртизанками — одна из них, в ярко-зеленом расписном платье, вела ручную обезьянку на золотой цепочке; на обезьянке был ошейник, украшенный драгоценными камнями, и она чесала себе зад, ловя блох, пока ее хозяйка пила на террасе чай. В первый понедельник после Пасхи здесь устраивалось то, что называлось джимхана[2], и это означало, что все в этот день дорожало. В остальном, ничего особо примечательного не было. Джентльмены участвовали в скачках на верблюдах, которые с легкостью выиграл сержант-англичанин, знакомый с этой забавой; для таких же дамских скачек желающих не нашлось; в дамских скачках на ослах победила шумная семнадцатилетняя англичанка, у мужчин такие скачки не состоялись, затем были скачки на верблюдах у арабов, явно с заранее определенным победителем, и скачки на ослах, закончившиеся громкой перебранкой и потасовкой. Один турист-англичанин попытался организовать прием ставок; от встал на стул и был очень остроумен в своих призывах, но предлагал заключать пари на столь неравных условиях, что не нашел охотников. Знатная дама, остановившаяся в отеле, раздавала призы: погонщикам верблюдов и ослов — деньги и кошмарные образчики искусства местных умельцев — европейцам. На следующий вечер был устроен бал, но на него тоже мало кто пришел, поскольку он совпал с приемом в резиденции посла и никто не хотел афишировать, что туда не приглашен.

Моим и Джеффри развлечением были плавание и езда на верблюде. Обычно мы катались два часа, делая широкий круг через арабскую деревню и по древней тропе мимо сфинкса и более мелких пирамид. Чтобы доставить удовольствие клиентам, мальчишки-погонщики давали своим животным клички на американский лад: “Янкидудл”, “Ичику”, “Знойная красотка”. Им до того хотелось как-нибудь угодить, что они даже хватали нас за руки и гадали по линиям на ладони, предсказывая несметное богатство, долгую жизнь и плодовитость нам обоим.

Джеффри, Джулиет и я ходили осматривать памятники древности с доброжелательным старым бедуином по имени Соломон.

Как-то в пятницу Соломон пришел сказать нам о ритуальных танцах, исполняемых по соседству; не желаем ли мы поглядеть на них? Джулиет была нерасположена идти, так что Джеф-

1. Бриджи для верховой езды.
2. Конноспортивные состязания.

фри остался с ней, а я один пошел с Соломоном. Мы отправились на дальний конец плато, на котором стоят пирамиды, затем спустились в песчаную впадину, где расположены входы в несколько гробниц. Здесь мы оставили наших верблюдов, поручив присматривать за ними какому-то мальчишке, и спустились в одно из отверстий в склоне холма. Гробница уже была наполовину заполнена арабами; это была продолговатая камера, вырубленная в скале и местами украшенная вырезанными в камне знаками. Публика стояла по стенам и набилась в ниши, предназначенные для саркофагов. Свет шел только от двери — единственный луч дневного света. В тот момент, когда мы вошли, начался танец. Его исполняли юноши, которыми руководил шейх; публика хлопала в такт в ладоши и подтягивала песнопению. Танец был скучный, похожий на гимнастику в детском садике. Юноши топали ногами по песчаному полу, прихлопывали и медленно раскачивались. Вскоре я знаками показал Соломону, что хочу уйти, и попытался сделать это как можно незаметней, чтобы не потревожить неуклюжее моление. Однако, не успел я дойти до двери, танец прекратился и вся компания дружно устремилась наружу, требуя "бакшиш". Я спросил Соломона, не отвратительно ли, что они ожидают платы от неверных за отправление религиозных обрядов. Тот, немного смутившись, ответил, что часть чаевых обычно отходит шейху. Я спросил, где шейх. "Шейх. Я шейх", — кричали на бегу юноши, ударяя себя в грудь. Затем появился старик. Я дал ему несколько пиастров, и они немедленно переключились на него, хватая его за одежды и шумно требуя свою долю. Мы взгромоздились на верблюдов и поехали прочь. Но даже и тогда двое или трое мальчишек бежали за нами с криками: "Бакшиш! Бакшиш! Я шейх!"

Когда мы возвратились, я спросил Соломона:

— Это был настоящий ритуальный танец?

Он сделал вид, что не понял.

— Вам не понравился танец?

— Стали бы они танцевать, если бы вы не привезли меня?

Соломон опять ответил уклончиво:

— Английским и американским господам нравится смотреть на танец. Английские господа все довольны.

— Я не был доволен, — возразил я.

Соломон вздохнул и сказал:

— Хорошо, — всегдашний ответ арабов на недовольство английских и американских господ. — В другой раз танец будет лучше.

— Другого раза не будет.

— Хорошо, — согласился Соломон.

* * *

Однажды я один отправился в Саккару, громадный некрополь, расположенный вниз по Нилу от Мены. Там находятся две пирамиды и множество гробниц; одна из них, с непроизносимым названием мастаба[1] Птаххотепа, украшена барельефами. Другая, с погребальной камерой, украшенной еще красивее, скульптурами, называется проще: мастаба Ти. Выйдя из этого склепа, я увидел большую группу из двадцати или тридцати упорных американцев, которые, покинув экскурсионный автобус, тащились по песку следом за драгоманом. Я пристроился к ним и снова спустился под землю, на сей раз это был подземный тоннель, называвшийся Серапеум, который, как пояснил гид, был местом захоронения священных быков. Место было похоже на погруженную во мрак станцию метрополитена. Нам роздали свечи, а гид шагал впереди с магниевый факелом. Даже и тогда отдаленные углы скрывала непроницаемая тьма. По обе стороны прохода, по которому мы передвигались, стояли в ряд громадные гранитные саркофаги; мы очень торжественно прошли тоннель до конца, гид вслух считал для нас гробы; их было двадцать четыре, и они были настолько массивны, что конструкторы грузоподъемных машин не смогли придумать способ сдвинуть их с места. Большинство американцев вместе с гидом вслух считали саркофаги.

Знаю, увидев подобное, нельзя не задуматься о прошлом: не вообразить разрушенные улицы Мемфиса и не представить себе религиозную процессию, как она тянулась по дороге сфинксов, оплакивая умершего быка; может быть, даже дать волю фантазии и сочинить собственную историю о жизни этих песнопевцев, украшенных гирляндами, и глубокомысленно делать вывод относительно зыбкости человеческих достижений. Но, думаю, можно оставить все это Голливуду. Что касается меня, то я нашел это зрелище исключительно вдохновляющим. Как забавно мы выглядели, идучи толпой по темной галерее! Впереди араб с магниевой лентой, следом, сжимая свои свечи, как шествие кающихся грешников — вся эта шушера, ищущая самоусовершенствования и духовного подъема. У некоторых лица перекошены и распухли от комариных укусов; многие со стертыми ногами, хромают и спотыкаются; кто-то чувствует слабость и уткнулся носом во флакончик с нюхательной солью; кто-то чихает от пыли; у той глаза воспалены от солнца; у другого рука на перевязи, поврежденная бог знает каким образом; каждый в компании ушиблен и пристыжен грохочущим прибоем откры-

1. То есть могила.

шегося знания. И тем не менее они продолжают погружаться. Один, два, три, четыре... двадцать четыре мертвых быка; не двадцать три или двадцать пять. Как они могли запомнить это число? Ну да, наверняка потому, что апартаменты тетушки Мейбл в "Луксоре" имели такой же номер.

— Как умерли быки? — спрашивает один из них.

— О чем он спросил? — переспрашивают друг друга остальные.

— *Как* умерли быки?

— Сколько все это стоило? — спрашивает другой. — Такое место не построишь даром.

— В наше время на такое деньги не тратят.

— Нелепая блажь — все эти траты на похороны быков...

О, леди и джентльмены, хотелось мне воскликнуть, дорогие леди и джентльмены, блажь — пересекать Атлантический океан, блажь — тащиться сюда по жаре, блажь — терпеть крайнее неудобство и напряжение; блажь — платить столько денег, чтобы увидеть нору в песке, в которой три тысячи лет назад чужой народ по причинам, которые навсегда останутся необъяснимыми, захоронил туши двадцати четырех быков. Несомненно, дорогие леди и джентльмены, мы им утрем нос.

Но тут вспомнил, что я посторонний в этой компании, и промолчал.

* * *

На пару ночей я поехал в Хелуан[1].

Мы отправились в Маср-эль-Атика, иначе Старый Каир или Вавилон, коптское поселение, основанное во времена гонений в стенах старой крепости, где стоял римский гарнизон. В этих тесных трущобах было пять средневековых коптских церквей, синагога и православный греческий монастырь. Христиане, похоже, отличаются пристойным поведением от своих соседей язычников; единственный явный признак их освобождения от языческого суеверия — это толпа нищих, взрослых мужчин и подростков, усиленная женщинами, которые в мусульманских кварталах живут в строгом уединении. Впрочем, церкви здесь весьма интересны, особенно Абу Серга[2], в которой можно увидеть коринфские колонны из римского храма, византийские иконы и арабскую перегородку. Церковь возведена над гротом, который, по преданию, служил убежищем Святому семейству во время избиения младенцев Иродом. Беставрос, диакон, пока-

1. Город на берегу Нила, расположенный неподалеку от древних руин Мемфиса.
2. Коптская церковь Св. Сергия.

зал нам церковь. Завершив свою экскурсию с частыми остановками и получив на чай, он сказал:

— Подождите минуту. Я схожу за священником.

Он поспешил в ризницу и вернулся с почтенным старцем с длинной седой бородой и большим сальным узлом волос на голове, явно только что разбуженным от послеобеденного сна. Священник моргнул, благословил нас и протянул руку за платой; затем, подняв полы рясы, сунул два пиастра в карман и убежал. У двери ризницы остановился и сказал:

— Повидайтесь с епископом.

Спустя полминуты он вернулся с еще более почтенной фигурой, грызущей семечки. Понтифик благословил нас и в свою очередь протянул руку. Я дал ему два пиастра. Он покачал головой.

— Он же епископ, — пояснил Беставрос, — епископу полагается давать три пиастра.

Я добавил пиастр и епископ удалился с сияющим видом. Потом Беставрос продал мне экземпляр истории этой церкви собственного сочинения. Книжица была такой короткой, что, думаю, стоит воспроизвести ее здесь как есть, с ее орфографией и пунктуацией.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ЦЕРКВИ АБУ САРГА
Написанная
Мессихой Буставрosом
ЦЕРКОВЬ АБУ САРГА

Эта церковь была построена в 1171 г. нашей эры человеком, чье имя было Ханна эль-Аббах, и он был секретарем султана Салах ад-Дина Аюби.

Церковь имеет одиннадцать мраморных колонн, на каждой красками изображен один из апостолов, и одна гранитная колонна без капители, изображения или креста связная с Иудой кто предал нашего Господа.

Алтер для святого причестия имеет 7 мазаичных ступеней (7 степеней епископов). Алтерная перегородка сделана из резной слоновой кости.

С северной его стороны имеются дфа изящных пенала резного дерева: один изображает тайную вечерю, другой — Вифлем. На южных сторонах — св. Деметрий, св. Георгий и св. Феодор.

Крипта высечена в скальной породе окало 30 г. до н. э. и использовалась как приют для странников. Когда Святое семейство бежало из Иерусалема в Египет, чтобы спрятаться от царя Ирода, они нашли эту крипту, где оставались, пока царь Ирод не умер.

Когда св. Марк начал проповедовать в Александрии в 42 г. н. э. и мы на Фаросе, кто приняли веру в Христа, использовали эту крипту как церковь в течении 900 лет, пока не был построен этот храм над ней. На другой стороне крипты вы можете видеть источник, в котором крестят христианских детей, трижды окуная их в воду. В этой церкви имеется многа византийский живопись 9 и 10 веков.

Месиха Беставрос, диакон.

* * *

Из Порт-Саида я отправился на Мальту на "Ранчи", пароходе индийской компании "Пи энд Оу". Покидая Египет, вы обязаны заплатить несколько шиллингов "карантинного сбора" как последнюю дань местной алчности. Кажется, никто ничего не знает об этом налоге, какой закон разрешил его и какая часть собранного попадает в казну или идет на "карантин". Многие местные жители утверждают, что это исключительно штучки портовых чиновников, которые не имеют на это никаких законных прав.

Благодаря любезным сотрудникам местного управляющего я смог получить каюту во втором классе. В Порт-Саиде мне сказали: "После войны вы встретите выдающихся людей, путешествующих вторым классом. Там куда приятней, чем в первом классе, особенно на индийских пароходах — в первом классе сплошь нувориши. Увидите, что второй класс на "Ранчи" не хуже первого класса на иностранной линии. Моя жена всегда плывет вторым классом, когда возвращается домой".

Но мною на самом деле двигало не столько стремление встретить приличных людей, сколько желание сэкономить. После сумасбродств в "Мена Хаус", меня начало беспокоить состояние моих финансов, так что я задумал хитроумный план. Перед отбытием из Каира я написал — на почтовой бумаге порт-саидского "Юнион клуба" — управляющим двух главных отелей в Валлетте, "Великобритании" и "Осборна", между которыми, как мне сказали, было острое соперничество, и вложил в конверты подборку отзывов в прессе о моей последней книге; каждому я написал, что по возвращении в Англию намереваюсь опубликовать свои путевые заметки и что, как я слышал, его отель — лучший на острове. Не согласится ли он обеспечить мне бесплатное проживание на время, что я буду находиться на Мальте, в обмен на благожелательное упоминание о его отеле в моей книге? Они не успевали ответить до моего отплытия из Порт-Саида, но я

поднялся на борт в надежде, что в Валлетте случится некоторый перерыв в постоянном истощении финансов, от которого я страдал последние два месяца.

Было объявлено, что "Ранчи" прибудет в воскресенье, предположительно вскоре после полудня. В воскресенье утром уточнили, что прибытие ожидается в девять часов вечера. Наконец пароход прибыл далеко за полночь; стоянка продолжалась всего два часа. На эти два часа город, который, как обычно, страдал от последствий субботней ночи, проведенной в казино, внезапно вновь ожил. Открылся магазин "Симон Арцт"; в кафе включили свет и протерли столики; чистильщики обуви и продавцы почтовых открыток высыпали на улицы; пассажиры, остававшиеся на борту во время прохода по Суэцкому каналу, сошли на берег, чтобы прокатиться на колясках, запряженных парой лошадей; те, кто покинул пароход в Адене ради нескольких часов в Каире и провел весь этот день на причале, тревожась, как бы не пропустить его, торопливо заняли свои каюты; половина жителей Порт-Саида совершали какие-то сделки на борту. Я спустился в порт среди суматохи, напоминавшей Лондон в полдень. Внезапно ярко освещенные улицы и бурление жизни вокруг казались совершенно нереальными. Я взошел на пароход, нашел своего стюарда и каюту, оставил в ней багаж и ненадолго вышел на палубу. Пассажиры, совершившие бросок Аден–Каир–Порт-Саид, пили кофе, ели сэндвичи и делились впечатлениями о пирамидах и отеле "Шеферд" в Каире. "Два фунта десять шиллингов просто за номер с одной кроватью и без ванной. Только подумай!" – говорили они с явной гордостью. – "И мы катались на верблюдах – ты бы видела меня. Я сказала: вот бы Кати смеялась. И погонщик верблюда гадал мне по руке, и мы пили кофе, приготовленное фактически в храме Сфинкса. Тебе *следовало* поехать. Да, конечно, это немного утомительно, но потом, когда выйдем в море, будет много времени, чтобы отдохнуть. И там был очаровательнейший мальчик, который чистил нашу обувь. А еще мы заходили в мечеть, где молились мусульмане, – это так необычно. Представь себе, в "Шеферде" просят пятнадцать пиастров – это больше трех шиллингов – за чашку утреннего чая, причем не очень хорошего. Тебе *следовало* поехать с нами, Кати!"

Перед отплытием я спустился к себе в каюту и лег. Человек, который делил со мной каюту, приятный инженер-строитель средних лет, уже раздевался; он был в майке и трусах. Я проснулся, когда заработали двигатели, задремал и вторично проснулся, когда мы миновали волнолом и стали набирать скорость, потом крепко уснул, чтобы наутро пробу-

диться в открытом море среди сотни англичан, которые брились, насвистывая.

Следующие два дня погода была холодной и пасмурной, море неспокойным. Сейчас я предпочел бы первый класс. Не потому, что мои попутчики были приятны не во всех отношениях, как обещали мне жители Порт-Саида, а потому, что их было так много. Просто негде присесть. Кают-компания и курительная были удобны, чисты, хорошо проветривались, были красиво отделаны и все такое, но всегда забиты до отказа. На палубах не было шезлонгов, кроме тех, которыми пассажиры обеспечили себя сами; три или четыре общих лавки были неизменно заняты мамашами, вытворявшими ужасающие вещи над своими малютками, вооружившись баночками вазелина. Было невозможно даже более-менее спокойно погулять, так узка и многолюдна была единственная прогулочная палуба. Дети были повсюду. В Индии как раз начинался жаркий сезон, и жены офицеров в массовом порядке везли их обратно в Англию; в лучшем случае они лежали в колясках и плакали; в худшем — валились на палубе, страдая от тошноты; их же можно было видеть в столовой во время завтрака или ланча, где матери уговаривали их поесть. И каждый день наступал ужасный час примерно около шести вечера, когда оркестр спускался из первого класса, чтобы сыграть нам в салоне что-нибудь из Гилберта и Салливана; их приход точно совпадал с купанием старших детей внизу; сочетание мыла и соленой воды — самое отвратительное, что есть в морском путешествии, и здоровая часть отпрысков сагибов и мем-саиб протестующе вопила, а стальные балки и деревянные перегородки вторили им эхом и звоном. И для человека, ценящего тишину, не было места ни наверху, ни внизу.

Остальные пассажиры были либо военнослужащие в отпуске, либо их жены, к которым примешались несколько слуг пассажиров первого класса, пара-тройка священников и монахинь. Слуги во все время плавания ходили в аккуратной синей форме, но военные привлекали внимание занятным снобизмом. Весь день, хотя и чисто выбритые и тщательно причесанные, они демонстрировали чрезвычайную свободу в одежде, будучи в защитного цвета шортах, распахнутых теннисках и выцветших крикетных блейзерах. Однако к обеду все они выходили в смокингах и накрахмаленных рубашках. Один из них сказал, что он потому плывет вторым классом, что тут не нужно беспокоиться о том, как ты одет, но все же должен согласиться, что необходимо знать меру. По другую сторону барьера мы видели пассажиров первого класса, одетых очень элегантно: в белых фланелевых костюмах и коричневых с белым туфлях. Был среди них молодой человек, давший мне понять, что

он торопится на родину, чтобы в интересах консерваторов побороться за место в парламенте на всеобщих выборах. Он постоянно заглядывал на нашу территорию, чтобы выпить со мной коктейль и рассказать о прелестных девушках в первом классе, с коими он танцевал и играл в койтс[1]. Я немало потратился на его коктейли. Он часто и настойчиво звал меня прийти к нему, познакомиться со всеми теми прелестными девушками и выпить с ним коктейль. "Дружище, — обычно говорил он, — никто не посмеет слова сказать, пока ты со *мной*. А если что, я быстренько договорюсь с капитаном". Но я предпочитал держаться своего бара. Позже сей молодой человек, стремясь поразить своей удалью девушек из первого класса, взобрался на шлюпбалку на шлюпочной палубе. О его выходке сообщили капитану, и тот устроил ему суровый нагоняй. На пароходах компании "Пи энд Оу" царит дух закрытой частной школы. Полагаю, он потерпел сокрушительную неудачу на выборах, сократив скудный список консерваторов почти до ноля.

На третий день перед самым ланчем впереди показалась Мальта. Высадка, однако, задержалась, поскольку у одного из пассажиров обнаружилась ветрянка. Сошел лишь один пассажир. Нам пришлось показаться врачу в салоне первого класса. У врача возникла неразрешимая проблема с произношением моего имени. Он захотел узнать адрес, куда я направлюсь на Мальте. Я сказал, что еще не сделал выбор между двумя отелями. Он попросил сделать выбор немедленно, поскольку ему нужно заполнить форму.

Я ответил, что не могу, не увидевшись прежде с управляющими.

— Оба отеля хорошие, какое это имеет значение?

— Я не хочу платить за проживание, — возразил я.

Увидев во мне определенно очень подозрительного типа, он сказал, что под страхом тюремного заключения я должен буду каждый день моего пребывания в Валлетте отмечаться в министерстве здравоохранения. Если я не явлюсь, полиция найдет и приведет меня. Я уверил его, что буду являться, и он выдал мне карантинную справку. Я потерял ее в тот же вечер и ни разу близко не подходил к министерству здравоохранения, благополучно забыв о своем обещании.

Нас доставили на берег на портовой барже и высадили у здания таможни. Здесь меня встретили два молодых человека, смуглые живые коротышки в фуражках над лоснящимся английским костюмом. У одного на фуражке золотыми буквами бы-

1. Игра, в которой мечут кольца в цель.

ло вышито “Отель Великобритания”, у другого — “Отель Осборн”. Каждый держал в руке копию моего письма с просьбой о месте в отеле. Каждый успел завладеть частью моего багажа и протягивал мне карточку, отпечатанную типографским способом. Одна гласила:

ОТЕЛЬ ОСБОРН
СТРАДА МЕЦЦОДИ
Все современные удобства. Горячая вода. Электрический свет. Превосходная кухня.
У НАС ОСТАНАВЛИВАЛИСЬ ЕГО СВЕТЛОСТЬ ПРИНЦ ЛУИС БАТТЕНБЕРГ[1] И ГЕРЦОГ БРОНТЕ[2].

Вторая:

ОТЕЛЬ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
СТРАДА МЕЦЦОДИ
Все современные удобства. Горячая и холодная вода. Электрический свет. Непревзойденная кухня. Санитария.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТЕЛЬ ПОД АНГЛИЙСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ.

(Факт, который, скорее, нужно скрывать, нежели афишировать).

Впрочем, в Каире мне сообщили, что из двух отелей “Великобритания” лучший, так что я поручил его представителю заботу о моем багаже. Человек из “Осборна” недовольно замахал у меня перед глазами моим письмом.

— Это фальшивка, — объяснил я, пораженный собственным двуличием. — Боюсь, вы введены в заблуждение явной фальшивкой.

Человек из “Великобритании” нанял две коляски, в одну усадил меня, в другую погрузил мои вещи и сел сам. Над нашими головами нависал низкий тент с бахромой, так что видел я не слишком много. Было понятно, что мы преодолеваем длинный крутой подъем с множеством поворотов. На некоторых я мог мельком видеть барочный храм; на других открывался вид на полную кораблей Гранд-Харбор (Великую гавань) с укрепления-

1. Луис Александр Маунтбаттен, 1-й маркиз Милфорд-Хейвен, ранее принц Людвиг Александр фон Баттенберг — адмирал флота, британский государственный деятель.
2. Горацио Нельсон (1758—1805) — вице-адмирал, барон Нильский и Бернхем-Горнский, герцог Бронте.

ми позади нее. Мы кругами поднимались все выше по широкой улице с множеством лавок и более внушительных дверей, мимо стаек в высшей степени уродливых мальтийских женщин в удивительных черных головных уборах, чем-то средним между покрывалом и зонтиком, последним, что унаследовал остров от рыцарей ордена св. Иоанна Иерусалимского, традиционно здесь почитавшегося. Затем мы свернули в узкую боковую улочку и остановились у небольшого, из железа и стекла, крыльца отеля "Великобритания". Темный коридорчик вел в темный, скромных размеров холл, обставленный под английский бар-салон: копии кожаных кресел, вазы с ландышами на подставках из мореного дуба, столики с покрытыми металлом столешницами и столики под плюшевыми скатертями, бенаресская медь, фотографии в рамках и пепельницы с фирменным знаком различных марок виски и джина. Не поймите меня неправильно, это не было отдаленное подобие отеля былых времен в английском торговом городе, но лишь овеществление моего представления об интерьерах тех гостиниц, что выходят фасадом на вокзал Паддингтон и заманивают объявлением "5 шиллингов. Номер и завтрак" поверх впечатляющих названий, как то "Бристоль", "Кларендон", "Империя" и тому подобных. Я приуныл, встретив хозяина отеля в этом сомнительном холле, и мое уныние увеличивалось по мере того, как я поднимался этаж за этажом в свою спальню. Хуже всего, впрочем, было первое впечатление, и, думаю, я честно выполняю свое обязательство перед владельцем, предупреждая людей и призывая их не пугаться сказанного мной. Потому что могу совершенно откровенно сказать, что "Великобритания" — *лучший* отель на острове. Позже я зашел взглянуть, каков из себя "Осборн", и почувствовал, что заткнул за пояс его светлость принца Луиса Баттенберга и герцога Бронте. Еда в "Великобритании" была отличной; прислуга особенно усердна и приятна. Однажды вечером, будучи усталым и занятым, я решил пообедать у себя в номере. В "Мена Хаус", где была тьма слуг и лифт, обед принесли мне наверх в один заход и оставили перед дверью; в "Великобритании" же каждое блюдо приносил отдельно, преодолевая три лестничных пролета, задыхающийся, но улыбающийся valet de chambre[1].

Перед моим отъездом владелец отеля спросил, довольно подозрительно, что я собираюсь написать о нем.

У них уже был один писатель, сказал он, который останавливался в качестве его гостя; он работал на газету "Городская и

1. Коридорный (*франц.*).

сельская жизнь" и написал действительно хорошую статью о "Великобритании". Они перепечатали ее для распространения.

Владелец дал мне экземпляр.

Это была такая статья, сказал он, которая сослужила отелю хорошую службу. Он надеется, что моя, по возможности, будет столь же благожелательной.

Та статья начиналась так: "Красивая и пышная растительность, экзотические небеса и восхитительные голубые воды, изобилие солнечного света, что дарует здоровье и счастье, и возможность, причем круглый год, заниматься спортом на свежем воздухе, — вот лишь немногое из того, что делает Мальту столь популярной. Живописные пейзажи, люди, настолько очаровательные в своей привлекательности, насколько скептическая душа только может пожелать". И в таком духе целый столбец, с той же избыточной пунктуацией; затем краткий обзор истории Мальты и описание главных достопримечательностей — еще один столбец. Далее следует переход к отелю "Великобритания". "Отель не пожалел средств на то, чтобы сделать общие комнаты настолько комфортабельными, насколько возможно... Руководство гордится тем, что питание в отеле превосходно и ничем не уступает как по части продуктов, так и приготовления и обслуживания лондонским гостиницам и ресторанам... особое внимание уделяется тому, чтобы все постели были максимально удобными, а постельное белье — из лучших материалов..." и так далее на полтора столбца. Заканчивалась статья так: "Все роскошества современной цивилизации получили свое воплощение в здании отеля 'Великобритания' в Валлетте, Мальта, где гость имеет возможность насладиться радостями здорового счастливого проживания среди великолепия современного дворца, окруженного великолепием самой природы — моря и зелени".

Я не стану пытаться превзойти автора в изъявлении благодарности. Пусть моя признательность выражена более сдержанно, она, тем не менее, искренна. Позвольте мне снова заявить: "'Великобритания' может быть менее подходящим местом для любителей гольфа, нежели 'Глениглс'[1]; игорные залы, наверное, лучше в 'Нормандии'; покупки удобней делать, поселившись в парижском 'Крийоне'; римский 'Russia' расположен на более красивой площади, более занимательную компанию найдешь в 'Кавендише', танцевать лучше в 'Беркли', спать — в 'Мене', есть — в 'Ритце', но '*Великобритания*' *в Валлет-*

1. Знаменитый отель в Шотландии, которому принадлежат три поля для гольфа, признанных лучшими в Шотландии.

те, Мальта – лучший отель на острове; дальнейшие сравнения только внесут путаницу".

Я провел на Мальте слишком мало времени. Больше всего дней потратил на изучение Валлетты с помощью небольшой книжечки Ф. Уэстона "Пешеходные прогулки по Мальте", которую купил за два шиллинга в "Критьене", большом писчебумажном магазине. Поначалу книжка несколько сбивала меня с толку, пока я не привык к методу автора; после этого я уже не мог обходиться без нее, не только из-за многообразия сведений, содержащихся в ней, но и из-за занимательной бойскаутской игры, в которую она превращала осмотр достопримечательностей. "Резко повернувшись налево, вы заметите...", – предваряет мистер Уэстон свои комментарии, и далее следует обстоятельное свидетельство зоркого наблюдателя. Однажды, когда с этой книжкой в руках я высадился у форта Синглеа, приняв его за форт Витториозы, и какое-то время поднимался не в тот город, с жаром следуя неверным ориентирам и вроде бы узнавая "окна, украшенные изысканной старинной лепниной", "частично поврежденные гербы", "интересные кованые ограды балконов" и тому подобное, и так прошел почти милю, пока отсутствующий в путеводителе собор дал мне отчетливо понять свою ошибку.

В скором времени я стал справляться в транспортных конторах о местах на пароходах, отправляющихся с Мальты в разных направлениях, и мне ответили, что наличие мест редко можно гарантировать. Предпочтение всегда отдается пассажирам, бронирующим места на дальние маршруты. Но попытать счастья стоило. Мне стал немного надоедать хозяин "Великобритании", который последние два дня взял за обыкновение внезапно появляться из своего кабинета всякий раз, как я садился чего-нибудь выпить, и говорил: "Здрасьте, здрасьте. Как продвигается ваша книга? Мне кажется, вы уделяете мало времени осмотру острова. – И ободряюще добавлял: – Его и половину не увидишь, если не проживешь здесь всю жизнь, нет, не увидишь". Я стал ощущать легкий клаустрофобный зуд и в этом состоянии однажды, меньше чем через неделю после прибытия на остров, перегнулся через парапет бастиона Сент-Джеймс, глядя вниз на Великую гавань. И увидел внизу среди ничем не привлекательных рыбацких лодок и грузовых судов, служебных катеров и лихтеров входящее в гавань ослепительно сияющее судно, большой белый теплоход, построенный как яхта, с широкими чистыми палубами и единственной желтой трубой. Я спустился на фуникулере в гавань и посмотрел на него с причала. Это была "Полярная звезда", совершающая второй круиз после того, который я прервал в Порт-Саиде. Пока я

стоял там, от ее левого борта отошел моторный катер и поплыл к причалу, на его корме развевался норвежский флаг. Из катера высадились три или четыре пассажира с фотоаппаратами и зонтиками от солнца. С ними был старший стюард. Есть ли у них свободные места? Стюард ответил, что есть. "Звезда" не должна была отходить до завтрашнего полудня, но не прошло и часа, как я распрощался с "Великобританией", заверив владельца, что буду горячо рекомендовать его отель британской публике, и отправил свой багаж в гавань. В тот же день я поднялся на борт, распаковал свои вещи, отправил большую стопку белья в прачечную, одежду, какую надо, сложил, какую надо повесил, разложил по порядку массу скопившихся бумаг: заметки, фотографии, письма, путеводители, проспекты, зарисовки, поймал и убил двух блох, которых подцепил в Мандерадже, и вышел, очень собой довольный, чтобы возобновить знакомство со стюардом бара на палубе.

По пути на восток мы на один день остановились на Крите. Гавань в Кандии была слишком мала для "Полярной звезды", поэтому, не заходя в нее, мы встали на якорь в бухте, отлично защищенные мысом Парагиа и островом Диа. В гавани за укрепленным волнорезом с его прекрасными высеченными из камня венецианскими львами толпилась масса ветхих суденышек — небольшая флотилия рыбацких лодок, две-три парусные шлюпки береговой патрульной службы и несколько грузовых пароходов самого непотребного вида, курсировавших между Пиреем и островами. Один из них вез груз вина в бурдюках из козлиных шкур.

В городе наличествует одна главная улица и лабиринт расходящихся во все стороны узких переулков. Тут можно увидеть фасад разрушенного венецианского дворца и обветшалый венецианский фонтан с резными львами и дельфинами. Здесь есть и мечеть, построенная с использованием капителей и резных каменных фрагментов от других венецианских зданий. С ее минарета сбили верхушку и строение превратили в кинотеатр, где по странному совпадению шел фильм "L'Ombre du Harem"[1]. В лавках торговали главным образом очень желтым и серым мясом, старыми турецкими часами, немецкими юмористическими открытками и отрезами набивного ситца с ярким узором.

Я присоединился к группе своих попутчиков по "Звезде", отправившихся в музей, полюбоваться варварской минойской культурой.

1. Точнее "Dans l'Ombre du Harem" ("В тени гарема", 1929) — фильм французских режиссеров Леона Мато и Андре Леобеля.

Невозможно судить о достоинствах минойской росписи, поскольку лишь несколько квадратных дюймов из обширного живописного пространства, представленного нашему обзору, созданы раньше последних двадцати лет, и художники черпали вдохновение при воссоздании древней живописи в обложках "Вог".

Мы взяли в прокат "форд" и поехали с гидом в Кносс, где сэр Артур Эванс (наш гид упоминал его не иначе, как "Ваш английский лорд Эванс") восстанавливал дворец. В настоящее время закончены лишь несколько комнат и галерей, остальное представляет собой склон холма, обезображенный раскопками, но мы имели возможность получить некоторое представление о величине и сложности дворца по схемам, вывешенным на главной площадке для нашего просвещения. Думаю, если наш английский лорд Эванс когда-нибудь закончит хотя бы частично свое грандиозное предприятие, это будет место, подавляющее своим злом. Не думаю, что только воображение и память о кровавой мифологии делают страшными и зловещими эти тесные галереи и застывшие в ужасе проходы, эти ряды перевернутых, широкой частью вверх, конических колонн, эти комнаты, представляющие собой тупики в конце темных лестничных пролетов; этот низкий маленький трон, стоящий на лестничной площадке там, где пересекаются коридоры дворца; это не сидение законодателя, не скамья для отдыха солдата; здесь стареющий деспот, возможно, сжимался, вслушиваясь в крадущиеся вдоль стен шепчущей галереи едва слышные шаги убийцы.

Во время моего пребывания там произошел прелестный случай, о котором я узнал позже. Я взял с собой в Кносс фотоаппарат и забыл его в машине, когда мы пошли на раскопки. Помню, я был несколько удивлен, когда в тот же день отправился фотографировать гавань и увидел по счетчику, что отснял больше кадров, чем думал. Когда пленка вернулась после проявки в корабельной фотолаборатории, я с изумлением обнаружил снимок, которого не делал; я узнал на нем "форд", на котором мы приехали в Кносс: шофер сидит за рулем, застыв, как истукан. Должно быть, он упросил одного из своих друзей сфотографировать его, когда мы были во дворце, и я подумал: это говорит о том, какой он славный человек. Он не мог надеяться ни получить фотокарточку, ни даже увидеть наше удивление, когда обнаружится его невинная шутка. Мне нравится думать, что ему хотелось установить более прочные отношения между нами, чем это позволяла сделать быстротечная двухчасовая аренда машины с водителем; ему хотелось выделиться среди бесчисленного, безликого общества туристов. Уверен, его

забавляла мысль о небольшом сюрпризе, который он приготовил для нас на тот момент, когда мы небрежно расплатимся с ним и вернемся на корабль. Может быть, он испытывал нечто вроде удовлетворения, какое эксцентричные (и прискорбно редкие) благодетели получают, анонимно давая банкноты людям, которых совершенно не знают. Если бы только его технические возможности по части фотографии не уступали его добронравию, я воспроизвел бы его портрет в этой книге, но боюсь, тот единственный образец, коим я располагаю, не принесет ему в дальнейшем пользы.

Мы переночевали на рейде и ранним утром отплыли, чтобы днем пройти Киклады.

Мы миновали новый остров, недавно поднявшийся в море, — груды вулканической породы, пока еще совершенно лишенной жизни. Затем — Наксос, Парос и Миконос в Эгейском море и поплыли на север к Дарданеллам со скоростью в пятнадцать узлов по спокойной воде. "Я так и вижу древние пятиремы, а вы? — сказала мне дама-американка, когда мы стояли рядом, опершись о леер. — Плывущие из далекого Офира[1], — добавила она, — с грузом слоновой кости, сандалового и кедрового деревьев и сладкого белого вина".

На другое утро мы проснулись в Геллеспонте, и до наступления полудня прошли залив Сувла и Галлиполи. Вода за бортом была бледно-зеленой и непрозрачной от ледяных потоков, вливающихся из Черного моря. Мраморное море было неспокойным; мы шли под холодным ветром и серым небом, и солнце лишь на миг появлялось в разрывах судорожно несущихся облаков.

Когда мы подошли к устью Золотого Рога, уже начинало темнеть. Над городом низко стелился туман с моря, мешаясь с дымом из труб. Смутно вырисовывались купола и башни, но даже и тогда взгляду открывалась величественная картина; в момент, когда солнце коснулось горизонта, облака разошлись, и внезапный всплеск золотого света разлился над минаретами Святой Софии. Во всяком случае, думаю, что это была Святая София. Одно из сильнейших впечатлений, когда впервые прибываешь в Константинополь по морю, момент узнавания этого великого храма, среди фотографических изображений которого все мы выросли. Приближающиеся купола появляются один за другим, вызывая очередной благоговейный вздох. Наконец, когда перед нами предстала вся панорама необъятного города,

1. Упоминаемая в Библии страна, из которой Соломон привозил золото, серебро, слоновую кость, драгоценные камни и редких животных.

два сооружения в нем оспаривали первенство. Грандиозней была Мечеть Султанахмет, иначе Голубая мечеть. Ее можно узнать по шести минаретам, в отличие от Каабы в Мекке, имеющей их семь. Однако, более убедительным способом отстоять свое мнение, будет сказать, указывая в любом, какое захочется, направлении: "Это — Агия София".

"Агия" всегда победит в споре. Более непонятным снобизмом будет произнести "Айя София", но за исключением очень изысканного круга, который, возможно, совершенно не нуждается в советах по данному предмету, — это может вызвать подозрение, что произошла простая ошибка произношения.

* * *

На другой день, имея всего лишь два свободных часа, мы отправились в Караван-сарай, дворец султанов, ныне превращенный в государственный музей; служители здесь в большинстве своем — это дожившие до нашего времени султанские евнухи. Один из них был карлик с забавным сморщенным бесполым личиком, в не по размеру большом черном пальто, полы которого касались земли и на которые он раз или два наступил, едва не упав при этом. Никто из них не был таким крупным и толстым, как мне воображалось. Мне рассказывали, что в тяжелые времена перед прочным установлением кемалистского режима взбудораженные евнухи устроили большую демонстрацию протеста против отмены многобрачия.

Самое поразительное в Караван-сарае — это его невероятное неудобство. Чем-то он напоминает лондонский выставочный центр Эрлз-Корт, состоящий не из одного здания, а включающий в себя большую закрытую территорию с лужайками и деревьями и беспорядочно установленными киосками и павильонами разных эпох и конструкций. Это просто прославленный лагерь кочевников. Константинополь ни в коем случае не жаркий город. Место для него было выбрано из-за его политического и географического значения, а не по причине ровного климата. Он открыт холодным ветрам из степей, снег здесь не редкость. Однако за пять столетий турецкой оккупации султанам ни разу не пришло в голову, при всем их огромном богатстве и неограниченной рабочей силе, находившейся в их распоряжении, попробовать соорудить какие-нибудь крытые переходы между различными помещениями их главной резиденции. Пределом их представлений о роскошной жизни было развалиться среди ярких шелковых подушек и жевать сласти, а между тем в решетчатых перекрытиях свистел ледяной ветер. Неудивительно, что они становились пьяницами. Тем

не менее, сокровища царского двора ошеломляют. Некоторое представление о хозяйстве Караван-сарая можно получить из того факта, что высшее руководство кемалистской партии, обходя в первые месяцы своего правления его строения, наткнулось на комнату, от пола до потолка набитую бесценным фарфором шестнадцатого века, прибывшим с караваном из Китая. Никто не позаботился даже распаковать его, в таком виде он и пролежал несколько веков. В хозяйстве Караван-сарая процветали необузданные воровство и растрата. Удивительно, что за годы после банкротства империи уцелело столько сокровищ. Тут и огромные необработанные изумруды и алмазы, гигантские бесформенные капли, с многочисленными изъянами, похожие на наполовину обсосанные леденцы; тут и золотой трон, украшенный шлифованными самоцветами и панцирями черепах; тут и коробки с трубками, чьи мундштуки отделаны драгоценными камнями; с рукоятками кинжалов, с часами, портсигарами, табакерками, ручными зеркалами, щетками для волос, гребнями — по двадцать или тридцать штук, все великолепнейшие; тут и туалетный столик — подарок от Екатерины Великой, каждый дюйм которого покрыт инкрустацией и драгоценными камнями; и туалетный столик от Фридриха Великого, покрытый алебастром и янтарем; тут и изящный японский сад и храм из золотой филиграни и эмали; модель колесного парохода, сделанная из красного и белого золота, с бриллиантовыми иллюминаторами и рубиновыми и изумрудными флагами; правая рука и череп Иоанна Крестителя; драгоценные камни для тюрбанов и драгоценные камни для ношения на шее на цепочках, и драгоценные камни для женщин, и драгоценные камни, чтобы лениво перекатывать их между пальцами. Гид давал округленную оценку каждому предмету по очереди: “Дороже миллиона долларов”. Однако невозможно было не усомниться, что в длительный период экономической несостоятельности Турции не произошло некоторое расхищение этого запасника. Было так легко подцепить ногтем шлифованный изумруд, например, и вставить на его место финик, что чувствую, такое проделывалось время от времени — и кто знает, сколь часто?

Непосредственно передо мной в нашем инспекционном обходе шествовала дородная богатая дама из Америки, чей разговор мне выпала честь подслушать. Что бы гид ни показывал ей — фарфор, золото, слоновую кость, алмаз или янтарь, шелк или ковер, — на все это сия удачливая дама мимоходом замечала, что у нее дома есть нечто подобное. “Ну, — говорила она, — кто бы подумал, что *это* представляет какую-то ценность. У меня три таких, кузина Софи оставила, те, конечно, крупней, но точно такой же формы, я убрала их в од-

ну из кладовок. Надо будет достать их оттуда, когда вернусь. Никогда не думала, что *это* что-то особенное".

Но при виде правой руки и черепа Иоанна Крестителя ей пришлось признать себя побежденной.

Мы отплыли на следующий день перед самым закатом.

Главной темой разговора на судне в тот вечер было кораблекрушение, произошедшее в гавани. Паром, ходивший между Галатой и Скутари на другом берегу Босфора, в утреннем тумане наскочил на скалы; всех, кто был на борту, благополучно сняли. А на "Звезде" появился новый пассажир – очень элегантный грек, который был в галстуке старого итонца и козырял обширными знакомствами среди наиболее доступной части английской аристократии. Во время кораблекрушения он находился на борту парома – его рассказ о пережитом был чрезвычайно интересным. Паром был полон рабочих, направлявшихся на работу. При первом ударе о камни капитан и его старший помощник прыгнули в единственную шлюпку и сбежали. В тот же день капитан подал в отставку на том основании, что это случается в третий раз за восемнадцать месяцев, а нервы у него уже не те, что прежде. Предоставленных самим себе пассажиров, которые были разных национальностей: турки, евреи и армяне, охватила безумная паника. Единственным разумным поведением было сохранять абсолютное спокойствие и надеяться на подмогу. Вместо этого они с воплями метались от борта к борту, раскачивая судно, отчего оно сорвалось с камней, на которые напоролось. Рассказчик, застыв от ужаса, сидел, ожидая, что судно немедленно пойдет ко дну. Тут он увидел невысокого человека, который, дымя трубкой и сунув руки глубоко в карманы долгополого пальто, спокойно расхаживал по палубе. Они наблюдали друг за другом с взаимным уважением, пока вокруг них толпились и кричали взбешенные рабочие.

– Полагаю, сэр, – сказал человек с трубкой, – что вы, как и я, англичанин.

– Нет, – отвечал грек, – я всего лишь чертов чужеземец.

– Прошу прощения, сэр, – сказал англичанин и отошел к борту, чтобы тонуть в одиночестве.

Однако, к счастью, никто не утонул. С берега подошли лодки и сняли всех пассажиров прежде, чем судно пошло ко дну.

Грек плыл с нами только до Афин. Большую часть следующего дня я провел в его компании. Он подробно расспрашивал меня о "эстетизме" в Оксфорде. Он учился в Хаус-колледже, но, как он заметил с тенью сожаления, не обнаружил там никакого "эстетизма". Не из-за эстетизма ли Оксфорд не преуспевает в спорте? Я ответил: нет, беда в другом, гораздо

глубже. Я не против поговорить с другим оксфордцем, но дело в том, что в университете стали увлекаться наркотиками.

— Кокаин?

— Кокаин, — подтвердил я, — и кое-что похуже.

— Но разве доны не могут это пресечь?

— Дорогой мой, доны и есть источник всей беды.

Он сказал, что в его времена наркотиками практически не увлекались.

Позже он возобновил атаку, пригласив к себе в каюту выпить.

Я ответил, что не прочь выпить с ним, но в баре на палубе.

— Вижу по вашим голубым глазам, — сказал он, — что вы шотландец. У меня был очень большой друг, тоже шотландец. Вы немного напоминаете его. А потом, — спросил он, — не зайду ли я к нему в каюту, посмотреть серебряную турецкую чернильницу?

Я ответил "нет", но с удовольствием взгляну на нее на палубе. Чернильница оказалась страшно уродливой.

Сходя на берег, он пригласил меня на ланч в "Великобританию". Я принял приглашение, но назавтра он не появился.

Мы прибыли перед самым обедом и стали на якорь в Фалернской бухте.

В Афинах я однажды уже бывал во времена, когда не уезжал из Англии дальше Парижа. Мне будет нелегко забыть то первое мое романтическое посещение города. Я прибыл из Марселя на "Patris II" — совершенно новом корабле греческой государственной компании. Это было зимой, и большую часть пути на море штормило. Я делил каюту с греческим торговцем смородиной, который все пять дней плавания не вылезал из постели. Единственным, кроме меня, англоговорящим пассажиром в первом классе был неистовый американский инженер. Я почти все время сидел на палубе, страдая от качки и читая "Многообразие религиозного опыта" Джеймса[1]. В промежутках мы с американцем пили *мастику*. Он сказал, что если кто выпьет *мастики*, то обязательно вернется в Грецию; иногда я выходил, чтобы приглядеться к "палубным пассажирам", толпящимся под импровизированными тентами, почесывавшим ноги и всегда с едой в руках. Первая наша остановка была в Пирее. Солнце уже зашло, и, когда мы вошли, вся гавань сияла огнями. Наша высадка задерживалась. Гребные лодки окружили нас со всех сторон и столь плотно, что можно было по ним перейти на берег, все лодочни-

1. Уильям Джеймс (1842—1910) — американский философ и психолог, старший брат писателя Генри Джеймса.

ки кричали, предлагая свои услуги. Друзья, которых я собирался навестить, приплыли встретить меня и сидели внизу в лодке, стучали и кричали: “Ивлин!”. Они взяли с собой своего слугу, чтобы тот занялся моими вещами, — человека исключительной свирепости, бывшего при прежнем режиме наемным убийцей в Константинополе. Он и лодочник тоже принялись кричать: “Ии-лин! Ии-лин!”

Затем мой багаж перешел в руки ненадежного лодочника, и тот подрался со слугой, в коей драке слуга очень легко одержал победу, благодаря жестокому, но решающему запрещенному приему. Затем мы высадились на берег и очень быстро поехали из Пирея в Афины по дороге, разбитой, как после бомбежки, на дряхлом “моррисе” без фар, без тормозов, без клаксона и защищенном от надоедливой полиции дипломатическим номером и маленьким английским флажком между отсутствующими фарами. Было православное Рождество и улицы кишели людьми, пожимающими руки, целующимися и пускающими фейерверки в глаза друг другу. Мы направились прямиком в ночной клуб, принадлежавший одноногому мальтийцу, который угостил нас коктейлем с каким-то наркотиком и спиртом собственной перегонки.

Позже появилась première danseuse[1] кабаре, присела за наш столик и предупредила, чтобы мы ни в коем случае не прикасались к коктейлям. Час был очень поздний.

Еще позже я ездил по городу на таксомоторе, забыл по какой надобности, и вернулся в ночной клуб. Шофер пошел за мной к нашему столику. Я расплатился с ним, вручив больше десяти фунтов в драхмах, отдал часы, перчатки и футляр для очков. Слишком много, запротестовал тот.

Это мое первое знакомство с афинской жизнью отодвинуло в глубокую тень все остальное пребывание там. То было в пору моего студенчества, вспоминая о котором, я чувствую себя неестественно старым.

Но даже сейчас, в сравнительно зрелом возрасте, второе мое посещение Афин совпало с первым знакомством с новым сортом выпивки. Сойдя на берег, я взял такси до города, намереваясь навестить друга по имени Аластер, который жил в это время в небольшом домике на склонах Ликабеттуса, на боковой улочке, отходящей от площади Колонаки. В доме было множество механических певчих птиц и икон, одна из которых — более современная, что довольно необычно, — была чудотворной. Это утверждал слуга Аластера на том основании, что обычно из

1. Солистка (*франц.*).

нее высовывалась рука и стукала его по голове, когда он отлынивал от обязанностей. Аластер был еще не одет. Я признался, что лег накануне очень поздно, выпивая после бала с милейшими норвежцами, и мне малость не по себе. Тогда он смешал мне коктейль, который я рекомендую каждому в качестве благотворного и легкодоступного тонизирующего средства. Он взял большую плитку свекольного сахара (вполне подойдет такое же количество обычного кускового), смочил его несколькими каплями "Ангостуры биттерс" и вложил в стручок кайенского перца. Все это опустил в большой бокал, который наполнил шампанским. Исключительность получившегося напитка не поддается описанию. Сахар и ангостура обогатили вино и убрали легкую кислинку, которой отдает даже лучшее шампанское и довольно неприятной ранним утром. Каждый пузырек, подымающийся на поверхность, несет с собой красную крупинку перца, поэтому у человека сразу разыгрывается аппетит; жар и холод, огонь и жидкость соперничают на нёбе и одни ощущения поочередно побеждают другие. Я отведал этот почти невыносимо желанный напиток и забавлялся с искусственными птицами и музыкальными шкатулками, пока Аластер не был готов выйти из дому. У меня был еще один друг в Афинах, Марк, и с ними двумя я провел два восхитительных дня.

Мы поехали по Элевсинской дороге, время от времени преследуемые свирепыми пастушьими собаками, потом свернули на проселочную дорогу под горой Эгалеос к одинокому кафе, смотрящему на бухту Саламина. Был воскресный день и снаружи в беседках в гавайском стиле сидело еще несколько компаний. Там был фотограф делавший маленькие ферротипы, на которых, когда они были готовы, обычно обнаруживался отпечаток пальца самого фотографа, и больше ничего. Там сидели два студента, он и она, в футбольных шортах и рубашках апаш, с грубыми палками и рюкзаками. Очень счастливая афинская буржуазная семья с маленьким ребенком. Сперва они посадили его на столик, затем — на крышу их машины; после этого — вверх тормашками на стул, потом взгромоздили на крышу кафе, потом верхом на бельевую веревку и тихонько покачали, затем в колодезное ведро и опустили вниз так, что он пропал из виду, потом ему дали бутылку шипучего лимонада, напитка, более опасного в Афинах, чем в любом городе мира. Все эти усилия развлечь малыша сопровождались его счастливым смехом и большими пузырями слюны, стекавшей по подбородку. Был там и лимузин с двумя *очень светскими* молодыми дамами, которые предпочли сесть не на открытом воздухе, а внутри, едва видимые в разрезном бархате кресел, и ждали двух юных офицеров; время от времени окно опускалось, появлялись укра-

шенные драгоценностями пальцы и надменно выбрасывали серебристый фантик или банановую кожуру.

Марк, Аластер и я сидели в тени, распивали графинообразную бутылку смолистого белого вина и закусывали рахат-лукумом, а фотограф суетился перед нами со своей камерой и побуждал нас купить копии отпечатка его большого пальца в количестве, достаточном, чтобы обвинить его в любом преступлении по греческому законодательству.

Мы поехали обедать на "Звезду", а затем вернулись посмотреть ночную жизнь города. Сперва мы отправились в подвальное кафе, украшенное фресками в псевдорусском стиле. Здесь мы увидели большинство представителей английской колонии, занимающихся теми страстными интригами, частью светскими, частью политическими, частью частными, которые украшают и обогащают жизнь в Афинах больше, чем в любой столице Европы. Но вся развлекательная часть ограничивалась единственным пианистом, наряженным под крестьянина георгианской эпохи. Мы поинтересовались, разве это не кафе-кабаре, где проходят выступления? "Увы, — ответила управительница. — Не сегодня. Прошлым вечером один из посетителей, немецкий господин, так ужасно бил девочек по ногам, что сегодня они не могут танцевать!"

Оттуда мы отправились в местное "Фоли-Бержер", очень шикарное и очень парижское, где официант пытался склонить нас заказать шампанское, венгерская еврейка танцевала восточные танцы в костюме рабыни на невольничьем рынке из "Чу Чин Чоу"[1], скромно дополненном розовым трико. Марк вскоре заскучал так отчаянно, что мы попросили счет, заплатили половину того, что с нас требовали (эту сумму у нас приняли, рассыпаясь в благодарностях), и покинули заведение.

Мы пошли через парк в более бедную часть города. Из всего множества запахов в Афинах два мне кажутся самыми характерными — это запах чеснока, сильный и убийственный, как ацетилен, и запах пыли, мягкой, теплой и ласкающей, как твид. Мы шли по парку в этом запахе пыли, но чеснок встретил нас у ступеней, ведущих с улицы к дверям ΜΠΑΡΘΕΛΛΑΤΟΕ; это был чеснок, облагороженный, однако, благоуханием жареного барашка. Мы увидели двух барашков, горизонтально нанизанных на вертела, шипящих над открытым огнем. Атмосфера напоминала диккенсоновское праздничное застолье. Присутствовали только мужчины, в большинстве своем крестьяне, приехавшие

1. Музыкальная комедия Фредерика Нортона, выдержавшая рекордное число представлений (первое представление в 1926 г. в лондонском Королевском театре).

в город на эту ночь. Нас встретили приветливыми улыбками, какой-то мужчина послал три кружки пива на наш столик. Это положило начало грандиозной попойке за наше здоровье, которая еще продолжалась к тому времени, когда мы ушли. Достойный похвалы обычай греков — никогда не пить не закусывая, это, как правило, кусочек чесночной колбасы или скверной ветчины на конце спички, подается на маленьких блюдечках; и вскоре наш столик был весь уставлен ими.

Два человека в углу играли на некоем подобии гитары, а остальные танцевали с очень серьезным выражением на лицах, но при полном отсутствии чувства неловкости. Это была пирриха, танец, восходящий ко временам неописуемой древности. Четверо танцевали вместе, чрезвычайно торжественно исполняя разнообразные фигуры. Если один из них делал неверное движение, это было как промах по мячу в английском крикете; товарищи принимали его извинения, подбадривая его с притворной сердечностью, но было ясно, что это серьезная ошибка, которую будет нелегко скрыть или искупить, разве что непогрешимым исполнением в дальнейшем. Более того, как в крикете, они ревниво сохраняли свой любительский статус. Вместо того чтобы пускать шляпу по кругу после исполнения танца, они сами скидывались по полпенни на музыкантов. Между исполнителями танца существовала острая конкуренция, группы по четыре человека уже сложились и с нетерпением ждали своей очереди выступить. Единственная стычка, случившаяся тем вечером, произошла по вине крепко выпившего молодого человека, пытавшегося станцевать без очереди. Все набросились на него с кулаками, но позже они помирились и выпили за его здоровье.

Вечер продолжался, и разговор становился все оживленней. У меня не получалось следить за ним, но Аластер сказал, что они в основном обсуждают политику; обсуждают по-дилетантски, но очень эмоционально. Один из спорящих, человек с седой курчавой бородой, особенно разгорячился. Он орал, гремел по столу кулаком, колотил по кружке, разбил ее и порезал себе руку. Тогда он прекратил спорить и заплакал. Тут же все остальные тоже прекратили спор и бросились его успокаивать. Грязным носовым платком перевязали ему руку, которая, думается, не слишком пострадала. Принесли ему пива и скверной ветчины; похлопывали по спине, обнимали за шею и целовали. Вскоре он снова заулыбался, и дискуссия возобновилась, но как только у него появились признаки возбуждения, ему в предупреждение новой вспышки заулыбались и подальше отодвинули кружку.

Наконец, после долгого прощания, мы повторно поднялись по ступеням и, выйдя на свежий воздух, отправились во-

своясi под апельсиновыми деревьями, в теплой тьме ночи, пахнущей твидом.

На другое утро Аластеру предстояло идти в канцелярию, раскодировать телеграммы, поэтому мы с Марком пошли за покупками на Шу-лейн – улицу в старом турецком квартале, где торговали подержанным товаром. Марк продолжил переговоры, что, сказал он мне, делает уже три недели, относительно приобретения грота, сделанного анатолийскими беженцами из пробки, зеркальца и кусочков губки; а мне лишь цена помешала купить мраморную статуэтку, напоминающую футболиста.

"Звезда" в полдень отплывала в Венецию, и я чуть не упустил последний катер, отвозивший пассажиров с берега на корабль, Марк задержал меня, вручая мне подарки: три открытки с религиозным сюжетом, воздушный шарик и корзинку черных оливок.

Сразу после ланча мы прошли Коринфский канал, который, по непонятной причине, вызвал больший интерес у многих пассажиров, чем все виденное ими в путешествиях. Чтобы пройти канал, потребовалось время, но они оставались на палубе, фотографируя его, обсуждая, делали акварельные зарисовки его безликих каменных стен, я же отправился в свою каюту и задремал; я отлично поспал, использовав благоприятную возможность восполнить упущенное прошлой ночью.

Назавтра рано утром мы достигли Корфу.

* * *

Когда, после моего первого посещения Греции, я остановился на острове на несколько часов (путешествуя вторым классом с немыслимым неудобством на отвратительном пароходе, называвшемся "Yperoke"), он показался мне одним из прекраснейших мест, какие мне доводилось видеть. Он произвел на меня такое огромное впечатление, что позже, когда я писал роман об очень богатой персоне, то поселил ее в вилле на Корфу, поскольку думал, что, когда разбогатею, то первым делом куплю себе такую же.

Основным предметом торговли на острове, похоже, являются живые черепахи и их фигурки из древесины оливкового дерева, делаемые заключенными тюрьмы. Несколько пассажиров "Звезды" купили черепах, из которых единицы пережили путешествие; черепашьи бега стали еще одним развлечением вместе с играми на палубе. Черепахи не подходили для бегов главным образом не потому, что медлительны, а из-за слабой способности ориентироваться. Я испытывал точно ту же трудность, ко-

гда в школе участвовал в спортивных играх и неоднократно бывал изгоняем из команды за фолы против соперников.

Я ехал в коляске к "Трону Кайзера" мимо оливковых рощ, цветущих роз и апельсиновых деревьев — к небольшой огражденной смотровой площадке, называвшейся по старинке Кано-не-пойнт, или в греческом написании ΣΤΟΠ KANONI. Это крайняя точка полуострова, который тянется от города, замыкая узкий залив, который называется озеро Халикипулос. Тут обычно находилась батарея из одной пушки. Теперь здесь кафе-ресторан. Берег круто обрывается к морю, где видны два крохотных островка, один лесистый, с виллой, когда-то, думаю, бывшей монастырем; другой очень мал и полностью занят часовней, двумя кипарисами и домом священника. С берега на него можно попасть, пройдя по камням, разбросанным в мелкой воде. Я спустился туда. В звоннице висели два маленьких колокола, внутри было несколько почерневших икон, и курица откладывала яйцо. Волшебным образом появился священник на лодке, полной овощей с противоположного берега. На корме сидел его сын, скрестив босые ноги и бережно обхватив жестяную банку с калифорнийскими персиками. Я пожертвовал немного денег на церковные нужды и взобрался по крутой тропинке к кафе. Тем временем подъехали еще двое пассажиров с "Звезды". Я присоединился к ним и ел "бисквитные пальчики", запивая их восхитительным местным домашним вином, похожим на сок апельсинов с красной мякотью, вкусом, напоминающим сидр, и сто́ящим, или должным стоить, если вы не турист, два пенса. Появились музыканты, две гитары и скрипочка. Скрипач был очень юн, но слеп. Они сыграли "Да, сэр, это моя малышка"[1] самым странным образом, какой возможен, и громко смеялись, радуясь собранным деньгам.

На обратном пути в Монте-Карло мы редко теряли на долгое время землю из вида.

Я вряд ли когда-нибудь забуду Этну на закате; гора едва виднелась в смутной пастельно-серой дымке, сияла только вершина, а затем вырисовывалась, как собственное отражение, конусом серого дыма на фоне розового света по всему горизонту, постепенно сливающегося с пастельно-серым небом. Никогда, ни в искусстве, ни в природе, я не видел ничего подобного.

Монте-Карло был практически безлюден; спортивный клуб закрыт; русский балет собрал вещи и уехал на свой по-

1. Песенка, написанная в 1925 г. Уолтером Дональдсоном на слова Гаса Кана.

следний сезон в Лондон; модные магазины тоже закрылись или вывесили объявления о конце межсезонных распродаж; окна большинства вилл и отелей забраны ставнями; немногочисленные инвалиды в креслах на колесиках загромоздили променады; мистер Рекс Эванс[1] завершил свои концерты. И, бесцельно слоняясь по тихим солнечным улицам или сонно посиживая в тенечке в парке у казино, я удивлялся прихоти судьбы, которая заставляет богатых людей относиться столь строго, как к литургическому действу, к своим передвижениям, что они прибывают в Монте-Карло под снегопадом, ибо это время предписывается правилами и календарями, и уезжают, едва их грязные, огромные, нескладные города на севере не станут пригодными для жизни; и как не похожи богачи на полевые лилии[2], которые не считают время по метрической системе, а с радостью расцветают при первом признаке весны и почти немедленно жухнут с наступлением мороза.

* * *

В День независимости Норвегии "Звезда" украсилась сотнями флажков. Вечером за обеденным столом произносились речи, а после танцев командный состав и пассажиры-скандинавы устроили вечер. Старший помощник выступил с патриотической речью, сперва по-норвежски, потом по-английски, а после произнес речь на английском во славу Англии и перевел ее на норвежский. Следом выступил я с похвалой Норвегии, а одна из пассажирок перевела мою английскую речь на норвежский и выступила сама на английском и норвежском, расточая похвалы обеим странам и процитировав Киплинга. Все это было восхитительно. В заключение мы спустились на нижнюю палу́бу, где для команды был устроен грандиозный ужин с норвежскими delicatessen, сахарными кексами и шампанским; один из матросов произносил патриотическую речь, стоя

Рис. Филиппа Жюллиана

1. Рекс Эванс (1903–1969) – английский киноактер.
2. Аллюзия на Мф. 6:28.

на трибуне, увешенной флагами. Он закончил, и все мы пили за здоровье друг друга и танцевали; и море отнюдь не было спокойным. После этого мы поднялись в капитанскую каюту и вкусили блюдо, называвшееся *эгдозис*, но не уверен, так ли оно пишется. Приготовлено оно было из яиц, сахара и бренди, все это сбивается до состояния густого крема. Затем перешли в каюту дамы, переводившей мою речь, и там вновь обменялись речами, как ни странно, по большей части на французском.

После Дня независимости я проснулся немного больным и обнаружил, что мы прибыли в Алжир и что палуба уже уставлена прилавками, как на благотворительном базаре. Торговали филигранными золотыми украшениями, биноклями и коврами. Вода в гавани была усеяна плавающим мусором; среди пустых бутылок, намокшей бумаги, грейпфрутовых корок и кухонных отбросов плавали молодые люди и просили, чтобы им бросили монеты.

После ланча я с трудом взобрался к Касбе[1]. Оттуда прекрасный вид на город, гавань и весь Алжирский залив; дома здесь очень старые, улочки узкие и крутые, и на них не затихает жизнь, что бросается в глаза в любом старом городе, где есть трущобный квартал, недоступный для движения транспорта; одна улица и небольшая терраса отданы на откуп публичным домам — все под яркими черепичными крышами и выкрашены в очень веселые, яркие цвета, у каждой двери и в каждом окне толпятся некрасивые молодые женщины, толстые и безвкусно наряженные. Если бы я только что приехал сюда из Англии, это показалось бы мне довольно занятным, но в качестве сцены восточной жизни это было не столь захватывающе, как ночь в Каире на ураза-байрам, а в качестве образца средневекового города менее впечатляюще, чем Мандераджо в Валлетте.

Рис. Филиппа Жюллиана

На улицах здесь очень мало нищих или торговцев, кроме неизменного роя чистильщиков обуви, и ни одного туземного дра-

1. Касба — крепость в старой части города Алжир, внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

гомана. За исключением набережной, всюду можно было гулять спокойно; здесь же приходилось бежать сквозь строй многочисленных гидов — по большей части неприятных бойких молодых людей в европейских костюмах, соломенных канотье, бабочках и с чарличаплинскими усиками; их фирменным товаром была организация групп для посещения туземных танцев — fêtes Mauresques[1], — и они были невыносимо надоедливы. Многие пассажиры "Звезды" пошли с ними и вернулись с очень разными впечатленьями от этого зрелища. Одни как будто видели пристойное и в полной мере аутентичное исполнение во дворах средневековых мавританских домов; они рассказывали о местных музыкантах с барабанами, флейтами и девушками в чадрах, танцевавшими традиционные народные танцы, все это было по их словам немного монотонно, но, кажется, они остались довольны проведенным вечером. Другую группу, в которой были две англичанки, отвели на верхний этаж публичного дома, где усадили вдоль стен крохотной комнаты. Здесь они некоторое время ждали при свете маленькой масляной лампы, чувствуя все большее беспокойство, пока портьеры неожиданно не раздвинулись и горделиво вошла очень крупная еврейка в годах, совершенно нагая, если не считать нескольких фальшивых драгоценностей, и принялась демонстрировать danse de ventre[2] на узкой полоске пола, разделяющей их. Одна из англичанок подвела итог этому испытанию таким образом: "В некотором смысле я вполне довольна, что увидела это, но, конечно, вряд ли у меня когда-нибудь возникнет желание пойти туда снова". Ее спутница вообще наотрез отказалась обсуждать эту тему и до конца круиза сторонилась джентльменов, сопровождавших их тем вечером.

Но одной группе достались приключения более неприятные. Это были пятеро шотландцев среднего возраста, три женщины и двое мужчин (мне так и не представилась возможность уяснить характер их взаимоотношений). Их заманил очень сомнительный гид, который повез их на такси к Касбе. За это он запросил двести франков, которые они ему, не споря, покорно заплатили. Такси остановилось у дома в переулке, кончавшемся тупиком, он постучал в дверь три раза и сказал, вызвав в них беспокойство: "Это очень опасно. Вам ничего не грозит, пока вы со мной, но ни в коем случае не отходите от меня, иначе я не отвечаю за последствия". Их впустили по одному, взяв по сто франков. Дверь за ними за-

1. Мавританское гулянье (*франц.*).
2. Танец живота *(франц.)*.

крылась, и их провели в подвал. Гид объяснил, что они должны заказать кофе, который им и принесли по двадцать франков за чашку. Не успели они его пригубить, прямо за дверью прогремел револьверный выстрел

— Спасайся кто может! — крикнул гид.

Они выскочили наружу и увидели свое такси, которое, к счастью, их дожидалось.

— Наверняка дамы очень взволнованы случившимся. Не желают ли они немножечко коньяку?

И он велел ехать, что стоило еще двести франков, в одно из заурядных городских кафе, где заказал им по глотку eau-de-vie[1]. Расплатился за них и объяснил, что с каждого ему причитается по двадцать пять франков и еще по десять на чаевые.

— Вам повезло, что вы со мной, — сказал он. — Я дал на чай за вас, и вас не надули. В городе много мошенников, которые воспользовались бы вашей неопытностью, будь вы одни.

Затем он отвез их обратно в порт к кораблю, осторожно напомнив, что его вознагражденье за услуги составляют сто франков или сколько они пожелают ему дать. Они пребывали в таком замешательстве и смятении, что дали сто пятьдесят, страшно благодарили его и поздравляли себя с благополучным избавлением от неминуемой опасности.

Им делает честь то, что они не стали скрывать сей мрачной истории, но рассказали ее всем на борту, отчасти с возмущением, отчасти с юмором.

— Я бы хотел вернуться и сказать пару слов тому дельцу, — можно было слышать от мужчин из группы, но, увы, мы уже покинули Алжир.

* * *

Во всем мире встречаются скальные образования, в которых люди видят сходство с объектами живой природы — головами крестоносцев, собаками, быками, оцепенелыми старухами и тому подобным. Существует мнение, пошедшее, думаю, от Теккерея, что Гибралтарская скала напоминает льва. “Это вылитый громадный лев, приготовившийся к прыжку, — пишет он, — посаженный между Атлантикой и Средиземным морем его британской госпожой сторожить пролив”[2]. Все на палубе были поражены меткостью этого сравнения, посему полагаю, виной тому, что мне скала показалась похожей всего лишь на громадный кусок сыра, была моя недостаточная наблюдательность.

1. Водка (*франц.*).
2. У. М. Теккерей “Заметки о путешествии из Корнхилла до великого Каира”, 1846.

На причале дежурил английский полицейский, в шлеме, при свистке, с дубинкой и свернутым плащом с капюшоном. Думаю, пассажиры, увидев его, радовались так, как не радовались ни разу за все путешествие. “Это внушает чувство безопасности”, — сказала одна из дам.

Я побродил по очень чистым улицам с ощущением, что нет в мире города, в котором бы не было ничего интересного. Витрины лавок мало чем могли похвалиться, кроме тощих кисточек для бритья, потускневших столовых приборов и неопределенных предметов, пристроченных к картонкам; аптеки торговали английским слабительным и патентованными пилюлями; газетные киоски — трехпенсовыми бульварными романами и двухпенсовыми еженедельниками; несколько лавок древностей предлагали причудливый набор вещей: викторианские и эдвардианские безделушки — вероятно, попавшие сюда из офицерских домов — и яркие современные вышивки, а также чеканку по металлу из Танжера. Имелась также табачная лавка, торговавшая трубками “Данхилл” и жестянками с табаком, украшенными полковыми и военно-морскими эмблемами. Я прошел мимо стайки жен моряков, стоявших у витрины модистки; они поморщились, когда я проходил, словно от меня пахнуло заразным воздухом Малаги. Большинство их, как я позже узнал, не высовывали носа из дому, когда появлялись “туристишки”, подобно обитательницам Хэмпстеда в праздничные дни.

Вот так, понуро шагая по улицам, я увидел плакат: “К светлому будущему Гибралтара”. Я последовал дальше, пока не увидел схожую афишу и, предвкушая удовольствие, начал своего рода скорбную охоту за сокровищем, ориентируясь по этим знакам на всем протяжении города. Наконец я подошел к Воротам Южного порта и опрятному маленькому кладбищу, где похоронены павшие в Трафальгарской битве. Многие надгробия были изваяны по прелестному рисунку на веджвудском фарфоре, с урнами и изысканными резными круглыми именными пластинами. Несколько дальше на спортивной площадке ставили палатки и навесы, готовясь к джимкане[1]. Я, однако, полагал, что плакаты приведут меня, по меньшей мере, к самому приемлемому месту на Скале.

* * *

Во время нашего посещения Севильи, город по вечерам был освещен прожекторами в честь Испано-Американской выставки.

1. Любительские состязания по конному спорту.

Выставка только что открылась, и во многих павильонах еще продолжались работы. Однако не следует предполагать, что проект был предпринят поспешно или легкомысленно. В Бедекере по Испании и Португалии за 1913 год упоминается, что большие участки парка уже в то время были закрыты для подготовки к этому событию. Когда мы сошли на берег, нам преподнесли красиво оформленный рекламный проспект на английском языке, где сообщалось: “Через пятьсот лет потомки тех, кто сегодня посещает эту Выставку, увидят собственными глазами те же самые сооружения, потускневшие за минувшие столетия, но не утратившие ни великолепия линий, ни внушительности конструкции”. Некоторые строения, безусловно, выиграют, малость потускнев, поскольку выглядят в настоящее время очень веселыми из-за своей узорной кирпичной кладки и разноцветной черепицы, пожалуй, немного излишне веселыми для их “внушительной конструкции” и предрекаемого им будущего архитектурных образцов. Внутреннее же их убранство прекрасно. Я провел восхитительный день, совершенно один бродя по двум замечательным картинным галереям. Вместо того чтобы терпеть давку в Лондоне на распродаже коллекции, по этим превосходным галереям можно было ходить в полном одиночестве.

Та же самая пустота царила на всей выставке. До сих пор еще не было сколь-нибудь заметного потока туристов, а сивильцам за шестнадцать лет подготовки все это надоело. В их пренебрежении чувствуется враждебность. Они считают, что входная плата на выставку слишком высока и что их несправедливо лишили возможности пользоваться любимым парком. Организованного бойкота не было, но просто так уж случилось, что сивильцы не посещали выставку. А там была модель железной дороги с миниатюрным паровозом, который кругами возил пустые вагончики; был парк Atracción[1], где крутилось огромное колесо обозрения, пустое; американские горки, по которым с захватывающей дух скоростью мчались пустые открытые вагончики, бросаясь то вниз, то в сторону; молчаливые тиры с грудами невостребованного оружия и горами неразбитых бутылок; по вечерам парк был ярко освещен; на деревьях висели гирлянды электрических лампочек в форме яблок, апельсинов и гроздей бананов; искусно скрытые прожекторы лили яркий и многоцветный свет на лужайки; лампы прятались и под водяными лилиями на озере; высоко били подсвеченные струи фонтанов, как

1. Аттракцион (*исп.*).

беззвучные и негаснущие фейерверки. Подобное зрелище привело бы в восторг даже толпу в Уэмбли, но тем вечером, когда я там гулял, вокруг не было ни единого человека; я чувствовал себя так, будто достиг нонконформистского идеала быть единственной спасенной праведной душой во вселенной; совсем, совсем один во всем раю. Полагаю, выделять это особое свойство выставки на самом деле не вполне уместно, поскольку понятно, что это случилось вопреки добрым намерениям организаторов. Рассыпаться в похвалах им за это — все равно что уподобляться вежливому художнику, который однажды, когда мне показывали исключительно ухоженный сад моего знакомого, поздравил хозяина сада с тем, какие у того "мягкие, бархатистые лужайки". Довольно трогательный абзац в проспекте гласил: "Ввиду большого наплыва гостей, ожидаемого в Севилье во время работы выставки, были построены несколько новых отелей и два зеленых микрорайона... в своем разнообразии подходящие равно миллионеру и самым скромным кошелькам... Севилья будет принимать двадцать пять тысяч гостей одновременно на протяжении всей работы выставки". Это, безусловно, не сравнится с двумястами пятьюдесятью тысячами, но я был очень рад тому, что увидел Севилью именно такой, прежде чем туда прибыл кто-то еще.

* * *

В церкви Святого Роха в Лиссабоне я подумал: лишь с изобретением фотографии перспектива перестала быть искусством.

Мы отплыли поздно вечером. На следующий день море было неспокойным, с берега дул холодный ветер, и к вечеру мы вошли в Бискайский залив; судно медленно продвигалось вперед и качка многим доставляла серьезные неудобства. Большое число пассажиров во время ланча осталось на палубе, услаждая себя крекерами и шампанским в бутылках по четверть литра. Качка, не ослабевая, продолжалась, пока ближе к концу дня мы не обогнули мыс Финистерре.

Теперь, когда мы покинули Бискайский залив, море было совершенно спокойно, но мы то и дело попадали в полосу тумана, что замедляло наше движение; пошли разговоры, что мы прибудем на место не раньше, чем на другой день после полудня.

Вечером в каюте капитана собралась небольшая компания из офицеров, свободных от дежурства, двух-трех пассажиров-скандинавов и меня; мы поднимали бокалы за здоровье друг друга и обменивались приглашениями зайти в гости.

Через некоторое время я вышел из ярко освещенной каюты в темень шлюпочной палубы. Ночь была ясной и звездной. В руке у меня был бокал с шампанским и, сам теперь не зная почему, я швырнул его за борт, смотрел, как он мгновение летел в воздухе, как на излете его подхватил ветер, а потом над ним сомкнулась вода. Странно, но этот жест стал важным для меня — отчасти, наверное потому, что был сделан в тот миг, спонтанно и в полном одиночестве, во тьме, и тесно связан с приглушенным, неопределенным ощущением возвращения домой.

Ибо возвращение на родину, даже после самого краткого отсутствия, — это своего рода эмоциональное переживание. Я покинул ее в разгар зимы, а возвращался поздней весной; в эту пору Англия, можно сказать — прекрасная страна.

Пока я стоял на шлюпочной палубе, судно вошло в очередную полосу тумана. Двигатели стали работать тише и перешли на малые обороты, уныло завыла туманная сирена, звуча каждый раз по полминуты.

Через двадцать минут мы вышли из тумана и снова пошли под звездами вперед на полной скорости.

Ночью я просыпался несколько раз и слышал сирену, вновь звучавшую в сыром ночном воздухе. Это был зловещий звук, предостерегающий, возможно, о надвигающейся беде, ибо Судьба — это наименее своенравная из богинь и придерживается того справедливого и сурового принципа, что никто не должен быть счастлив слишком долго.

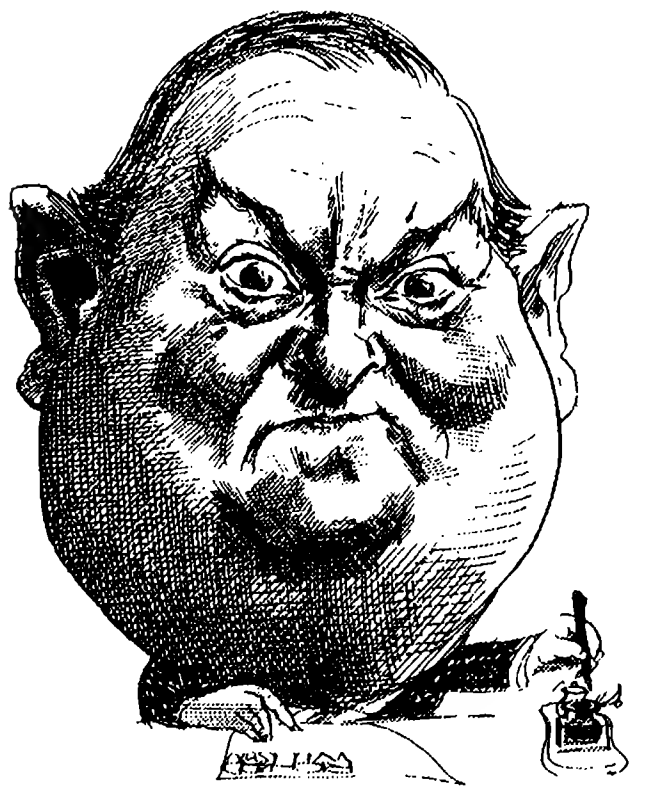
Шарж Джеффри Моргана

"О себе писать особенно нечего..."

Из писем Ивлина Во

Составление и перевод Александра Ливерганта

Комментарии Александра Ливерганта и Николая Мельникова



Шарж Ричарда Уилсона

Дадли Кэрью[1]
Январь 1922

145, Норт-Энд-Роуд
Голден Грин

Дорогой Кэрью,

о себе писать особенно нечего. Очень робею, мне пока еще немного одиноко, но постепенно прихожу в себя. Чувствую, что со временем буду непомерно счастлив. Очень хочется найти родственную душу. Пока же познакомился лишь с книгочеем из средней школы, который хранит молчание, со студентами из Нью Колледжа, у которых только и разговоров о зимнем спорте. А еще — с громкоголосым картезианцем, который говорит непристойности.

Хартфорд[2] оказался лучше, чем я предполагал, — оптимистов здесь хватает, и не только из Лансинга. И все же в Оксфорде слишком много религии и маловато мозгов. Новость у меня, собственно, только одна: денег я промотал чертову прорву. Жду от тебя сплетен из Лансинга, если, конечно, ты теперь не приближен к директору.

Твой Ивлин.

© 1980, The Estate of Laura Waugh
© Александр Ливергант. Составление, перевод, 2016
© Комментарии Александра Ливерганта и Николая Мельникова, 2016
Комментарии даны на с. 208–214.

Гарольду Эктону[3]
18 февраля 1925

Арнольд Хаус[4]
Лланддулас
Денбигшир,
Северный Уэльс

Дорогой Гарольд,

два дня назад пришел наконец-то “Индийский осел”, которого я с нетерпением ждал. Ты, должно быть, счел, что я забыл, что такое дружба и хорошее воспитание, раз благодарю тебя за книгу только сейчас. Но ты не можешь себе представить, какой жизнью я живу. Есть здесь печальная обязанность, именуемая “недельное дежурство”, — и вот настала моя очередь. Это значит, что с восьми утра до восьми вечера у меня нет ни одной свободной минуты, не успеваю даже открытку прочесть, нужду справить. А с восьми вечера до десяти сижу и синим карандашом правлю сочинения по истории. Вчера вечером один ученик написал: “В это время стало известно, что у Якова II родился сын, но бытовало и другое мнение: сына ему в постель принесли в грелке” <...>

Рис. Ивлина Во

Некоторое время назад я напился, да так, что облевал куст крыжовника. Кроме того, в маленьком городке Риле я познакомился с парикмахером, который собирает рисунки Остина Спейра[5] и пишет книгу о Каббале. Я отпустил усы, научился курить трубку, ездить верхом — и вообще становлюсь мужчиной.

Привет тебе
De profundis[6].

И.

Уезжаю отсюда 2 апреля. Есть шанс увидеть тебя в Лондоне?

О. Д. Питерсу[7]
1929 *Бексли Оксон*

Дорогой Питерс,

если “Харперс базар” не станет печатать “Мерзкую плоть”[8], то роман не напечатают и другие, Вы не находите? Может, стоит переделать роман в рассказ?

Ваш Ивлин Во.

О. Д. Питерсу
1929 *Париж*

Да, я, конечно же, напишу статью в “Джон Буль”. На днях один русский эмигрант рассказал мне интересную историю, но, боюсь, “Джон Буль” — издание слишком английское, чтобы этой историей заинтересоваться. Не могли бы Вы позвонить им и предложить на выбор либо эту историю, либо мою исповедь о “судьбе пьяницы”, о том, как пьянство и сочинительство спасли меня от карьеры успешного школьного учителя. Может получиться смешно.

С удовольствием также написал бы что-нибудь для “Мейл”. Предлагаю на выбор. (1) Очерк (смешной) “Истина про Порт-Саид”, про мое там пребывание, когда вместо притона, который я тщился отыскать, я обнаружил нечто вроде Борнмута. (2) Или очерк (смешной) о преимуществах английской ночной жизни перед французской. А также о том, насколько сокращение часов продажи спиртных напитков способствует разгульной жизни. Или (3) очерк (более или менее серьезный) о предрассудках, в котором доказывается, что людям, считающим себя просвещенными и свободно мыслящими, предрассудки свойственны в гораздо большей степени, чем людям верующим. Или (4) “Почему люди становятся писателями” (сатира, но довольно серьезная). Или (5) “Во Франции это устроено лучше?”[9], где доказывается, что жизнь в Лондоне более изысканна и благоустроенна, чем в Париже. Или (6) “Путешествие с удобствами” о снобизме англичан, которые, боясь, что их примут за туристов, попадают во всякого рода печальные и грязные истории.

Рис. Ивлина Во

Возвращаюсь в конце недели. Держите меня, пожалуйста, в курсе о том, как будут восприняты мои предложения на 145 Норт-энд-Роуд.

Объятия и поцелуи Рафхэду[10].

Ивлин В.

У. Н. Рафхэду
Сентябрь 1930

Роллз-парк
Чигуэлл
Эссекс

Дорогой Рафи,

скажи этим американцам, чтобы оставили меня в покое. Я пошлю им книгу[11], когда сочту нужным — не раньше.

А еще скажи им, чтобы не посылали мне столько телеграмм. Телеграммы пишут исключительно историки и бездельники. Никакой безумной спешки нет — вполне можно обойтись письмами. Поскольку за их телеграммы платить приходится мне, я решительно протестую.

Лучшие пожелания успехов в джиу-джитсу.

Ивлин.

Леди Мэри Лайгон[12]
12 ноября 1931

Чагфорд[13]

Очень подавлен. Дождь целый день. Денег нет. Камин дымит. Потолок протекает, посуда оловянная. Кругом одно старье. Патрик по обыкновению пьян. Вчера вечером не закрыл кран на бочке с пивом и затопил весь чулан. Езжу верхом на маленькой лошадке, зовут Вездесущая. Жду не дождусь Святок.

Б[14].

Леди Дороти Лайгон
1 января 1933

Клуб "Джорджтаун"
Британская Гвиана[15]

Дорогая Попка,

прошло чуть больше месяца с тех пор, как я покинул Мадресфилд. Сейчас нахожусь от вас в четырех тысячах миль и, о Бо-

Рис. Ивлина Во

же, — совсем в другом мире. Вместо улыбающихся лугов Вустершира и благородной линии Малвернских гор, что так близки моему сердцу, — бескрайние болота вперемежку с девственными лесами, пустыней и горами. Этот клуб — если только его можно назвать клубом, ибо он не имеет ничего общего с величественным спокойствием "Бакс-энд-Панчес", — представляет собой бревенчатую хижину на опушке джунглей. К прогнившему потолку подвешена единственная в помещении масляная лампа, да и света от нее почти нет, так как она обсижена москитами. Стол давным-давно сожран муравьями, и пишу я, стоя на коленях и положив бумагу на пустой бочонок. Вокруг меня продажные чиновники просаживают в карты полученные за день взятки, а несколько торговцев и миссионеров заливают мытарства целебным ромом. Из кромешной тьмы до нас доносятся тамтамы коварных индейцев, стоящих лагерем вокруг города, а также — ритмичный посвист хлыста, которым спившийся плантатор обрабатывает свою чернокожую любовницу.

Есть в клубе и несколько местных жителей. Губернатор — если его можно назвать губернатором — человек до времени состарившийся, его почтенная седая борода никак не вяжется с расстроенным умом. Сюда он попал еще подростком, устроившись в букмекерскую контору. Все его спутники расплатились сполна и с безжалостной желтой лихорадкой, и с куда более безжалостным желтым дьяволом, и теперь губернатор остался в одиночестве. Сидит в углу и механически раскладывает сальными картами пасьянс, который никогда не сойдется, ибо много лет назад какой-то португальский искатель приключений выкрал из колоды трефовую тройку — она понадобилась ему для игры в покер. Британский флаг, слава Богу, еще развивается над тем, что когда-то было резиденцией губернатора.

Миссионеры давным-давно нарушили свои обеты и теперь открыто живут с туземными женщинами, заражая их чудовищными болезнями.

Офицер медицинской службы — прокаженный.

Пока я пишу, у моих ног зловеще разевает пасть крокодил, рядом свернулась кобра, а потому кончаю, говорю “до свидания” и ДБВБ[16].

Б. О.

Леди Мэри и леди Дороти Лайгон
Январь 1934

Фес, Марокко

Дорогие Блондинка и Попка,

получил, да еще так быстро, письма от вас обеих. Какой приятный сюрприз! Теперь нас разделяет меньше, чем тысячи миль. Почему бы вам не приехать ко мне завтра или послезавтра? Гарантирую теплый прием.

Плаванье получилось унылым. Всех милых людей всю дорогу рвало, под Новый год напился только один человек, да и тот — маленький, неказистый, ковыряет в носу, пытался дирижировать оркестром, но никто не смеялся, только какая-то немка хохотала до упаду. И было холодно.

В Танжере какой-то черный конфисковал у меня все мои сигары, хотя я вовсе не собирался их провезти. Очень расстроился. В Танжере просидел девять часов, и заговорил со мной только какой-то мальчишка: он хотел почистить мне туфли, да я пожадничал.

Потом ночным поездом поехал в Фес.

Город очень славный. Через него протекают маленькие речушки, дома очень старые, сады — за высокой стеной, в лавках продаются вещи, хуже которых видеть не приходилось. В городе 100 000 арабов, 30 000 евреев и не больше трех белых. У белых свой собственный город в пяти милях от Феса, как Нью-Эйдж в Хартфорде. Повсюду полно солдат, одни — черные, другие — из Иностранного легиона. Есть и женский Иностранный легион, но у них нет ни флагов, ни формы; за победу им не дают медалей, за поражение не наказывают.

Познакомился с похожим на лягушку таксистом по имени Джозеф, и он повозил меня по кварталу. Было очень весело. Тут можно взять арабскую девушку лет пятнадцати-шестнадцати всего-то за десять франков и чашку чаю с мятой. Что я и сделал, но особого удовольствия не получил: кожа у нее, как наждачная бумага, да еще громадный живот, на который я обратил внимание, только когда она разделась, и отступать было некуда.

Здесь совсем не жарко, даже прохладно, в гостинице нет каминов, водопроводные трубы холодные. Зато вино бесплат-

но – правда, довольно гадкое; еды полно. Я начал роман[17], идет отлично, сначала – про одного приживала[18], а потом – о некоторых вымышленных людях, которым больше всего на свете хочется вступить в брак – впрочем, ненадолго.

Иудеи живут обособленно, в своей части города; арабы считают, что они дурно пахнут, похоже на Мадресфилд на Рождество.

Есть здесь одна бесстыжая блондинка (англичанка вроде бы) в вечернем платье, с цветком в волосах; походит на мадам де Жанзе[19]. Ходит по борделям, местные шлюхи ее ненавидят и за чашку чаю с мятой берут с нее вдвое.

Имеется в Фесе и бордель с белыми дамами, не без остроумия названный "Maison blanche"[20]. Сто́ят дамы целых 30 франков, и я их покупать не стал.

Когда кончу роман, думаю поехать в Иерусалим в паломничество по святым местам. <...>

Лоре Герберт[21]
24 августа 1935 *Аддис-Абеба*[22]

Моя дорогая Лора,

от пишущей машинки отказался. Не могу заставить себя за нее сесть, ее трескотня меня бесит.

Как ты? Думаю о тебе бо́льшую часть дня, когда есть время подумать о чем-нибудь, кроме встреч с эфиопскими официальными лицами, на эти встречи они, впрочем, все равно не приходят. Больше же всего думаю о твоих ресницах, они шуршат точно так же, как летучая мышь на подушке. Эфиопы читают все мои письма и телеграммы, и подобное сравнение может показаться им подозрительным. Здесь все считают меня итальянским шпионом. Мое имя запятнано. В посольстве – из-за романа[23]: посольские считают, что написан роман про них. У эфиопов – из-за политики "Мейл"[24]. У других журналистов – из-за того, что я никакой не журналист и являюсь штрейкбрехером. По счастью, здесь мой старый приятель Бальфур[25], и это огромное подспорье.

Мое положение далеко от идеального. В городе никак не меньше 50 корреспондентов, репортеров и т. д. Новостей никаких, и нет возможности их раздобыть; мой же идиот редактор засыпает меня телеграммами – хочет знать, какие я приму меры в случае уничтожения всех средств связи. Здесь целая армия космополитов, полиглотов-авантюристов, шпионов, коммивоя-

жеров, рыцарей удачи и пр. Только абиссинцы пребывают в совершенном спокойствии, они полностью уверены в себе и в своей победе, в том, что не только сохранят независимость, но сбросят итальянцев в море и захватят берег Красного моря. <...>

Я нанял греческого шпиона, мистера Галатиса, он шепчет мне на ухо совершенно неправдоподобные истории на совершенно нечленораздельном французском. Собираюсь на несколько дней в мусульманский район проверить одну из его историй (наверняка — ложь) о распространении арабской антиабиссинской пропаганды.

Мое милое дитя, я так далеко от тебя. В этом безумии не могу думать ни о чем нежном и изящном.

Надеюсь, что смогу, прежде чем начнется война, написать еще пару раз. Благословляю тебя, любовь моя.

Твой Ивлин.

Привет от меня Гэбриел, Бриджет и, конечно же, Мэри[26]. Надеюсь, Бриджет выйдет замуж до моего возвращения[27]. <...>

Главному редактору журнала "Спектейтор"
21 апреля 1939 *Пирс-Корт*[28]

"Путешествие на войну"[29]

Сэр,

по нелепой случайности номер Вашего журнала от 31 марта попал ко мне лишь 14 апреля. Позвольте же, пусть и с опозданием, ответить на письмо мистера Спендера по поводу моей рецензии на книгу мистера Ишервуда и мистера Одена. Мистер Спендер заблуждается, полагая, что я нападаю на всякого, кого считаю беззащитным. Именно потому, что положение мистера Одена столь высоко, я не отказал себе в удовольствии употребить в рецензии несколько резких слов. От того, что в обществе отсутствует интерес к поэзии, никакого удовлетворения я не испытываю; то, что мистер Спендер воспринял как самодовольство, задумывалось как ирония. Я глубоко убежден, что безразличие к поэзии в самом деле существует, вследствие чего английский читатель относится к поэтической репутации с излишней доверчивостью. И репутация мистера Одена, на мой взгляд, является убедительным доказательством подобного легковерия. Я нахожу его весьма скучным и невыразительным автором. Мистер

Спендер со мной не согласен. Это письмо — не место для того, чтобы пускаться в споры. Но коль скоро мистер Спендер приписывает мне личную неприязнь, я вправе спросить: кто из нас двоих находится в плену предрассудков — я, который не знаком с мистером Оденом и, если мне не изменяет память, ни разу его в глаза не видел, или он — его, насколько я могу судить, ближайший друг?

При всем желании не могу согласиться и с выводом мистера Спендера о том, что отрицательная рецензия — свидетельство поэтического таланта рецензируемого; думаю, впрочем, что, когда страсти улягутся, мистер Спендер не станет настаивать на своей правоте.

Отвечаю мистеру Спендеру главным образом потому, что в его письме проявляется отношение к мистеру Одену целой группы писателей. Как я уже говорил, в том, что он надоел всем, — не его, а их вина. В конце концов, посредственные стихи пишет не он один — это удел очень многих приличных молодых людей, и ничего постыдного в этом нет. Беда в том, что его друзья сговорились сделать из него дурака. Книги и рецензии, которые они о нем пишут, возносят его на недосягаемую высоту, а это чудовищно плохо для автора, который еще молод, жив и, увы, плодовит. Но еще хуже то, что любая другая точка зрения воспринимается ими как сведение личных счетов. Это совершенно недопустимо.

Ваш покорный слуга Ивлин Во.

Лоре Во
14 (?) декабря 1939

Казармы королевской морской пехоты
Чатэм[30]

Моя дорогая Лора,

вчера вечером побывал в мюзик-холле с мистером Джоном, мистером Беннетом и мистером Сандерсом. Видели множество молоденьких дам в розовом трико. Все до одной притворялись обнаженными статуями. Лицезрели также еврея Лотингу[31], которого поколачивали в присутствии супруги. <...>

Не исключено, что 15 января мы, наконец-то, вступим в дело.

Сегодня вечером, когда сержант Фуллер читал нам лекцию о ротных учениях, мистер Коуэн заснул. Мистер Коуэн ненавидит сержанта Фуллера за то, что тот называет его мистер Коэн. Что же до меня, то если я кого и ненавижу, то разве что некоего мистера Гриндла, который не устает рассказывать мне о том, как он в своем клубе в Бромли бегает по

пересеченной местности. Это худосочный мозгляк, говорит на кокни, что-то напевает себе под нос и прищелкивает пальцами. 31 декабря здесь планируется большой обед для жен, но я вряд ли на него поспею.

Если ты думаешь, что морской бой в Южной Атлантике[32] кого-то здесь заинтересовал, то ты сильно ошибаешься. Война от нас так же далека, как и дом.

Мистер Бетджемен[33] считает, что сможет добыть хорошего и дешевого архитектора для Пирс-Корт.

В этом году у меня ни для кого нет подарков на Рождество, но в полковом киоске я купил шесть рождественских открыток для прислуги и монашек[34].

Мистер Бейли настолько плохо перенес прививку, что теперь ему приходится по шесть раз за ночь менять пижаму — сильно потеет.

С любовью, И.

Лоре Во
25 февраля 1940 *Бизли*

Моя дорогая Лора,

акции мои котируются высоко. Я прочел двадцатиминутную лекцию о разведпатрулях, и она вызвала всеобщее одобрение. С другой стороны, майор Корнуолл подслушал, с каким презрением я отзываюсь о директоре Хайтской школы стрелкового оружия, и сделал мне выговор, отчего пришлось спуститься с небес на землю.

Вчерашний день выдался не из легких. К нам с Мессер-Беннетом пристал бригадир[35]: "Я слышал, на выходные вы остаетесь в лагере. Проведете день у меня". Заехал за нами на машине в 12.30 и привез в сильно траченный временем дом тюдоровских времен, из тех, в которых живут биржевые маклеры. "Вы его сами построили?" — спрашиваю его в шутку. "Я?! Построил?! Да этому дому четыреста лет!" Супруга бригадира знает свое место, муж раздает ей бесконечные поручения. "Женщина! — кричит он ей. — Ступай ко мне в логово и принеси сапоги!" И еще по-свойски над ней подшучивает. Рассказал нам, смакуя подробности, как прошлой ночью, когда она несколько раз вставала к больному ребенку, ее по возвращении ожидал какой-нибудь сюрприз: то веревку в дверях натянет, то кувшин с водой на дверь поставит. Ей, впрочем, подобное обращение, как видно, нравится, вид у нее здоровый и веселый, в доме бессчетное число детей.

После обеда отправились с бригадиром на прогулку, и он все время повторял: "Не называй меня сэр". Рассказывал нам, как он поступает с провинившимся. "Выбирай, — говорит ему, — или военно-полевой суд, или сам тебя накажу". — "Уж лучше сами наказывайте, сэр". — "Сказано — сделано: всыплю от души десяток-другой розог, и хорош!"

Когда мы вернулись с прогулки, он показал мне чудовищную книгу стишков и рисунков, которую они с женой сочинили и проиллюстрировали для одной из своих дочерей в подражание "Сказкам просто так"[36]. Пришлось прочесть все стихи до одного, читал и слушал у себя за спиной его хриплое дыхание. Потом вместе решали кроссворд, пока из Лондона не приехала его дочь, она работает секретаршей у зубного врача. Рассказала мне, что раньше работала лифтершей в "Таймс-Бук-Клаб" и лишилась работы, так как на Рождество повесила в лифте омелу. Бригадир счел, что эта история не для моих ушей, и пришел в неописуемую ярость. Когда он злится, лицо у него из ярко-красного становится фиолетово-серым. Эта дочка, она от первой, умершей жены, вызывает у бригадира постоянную ярость. Потом мы с ней заговорили о низкопробных ночных клубах и говорили бы долго, если б я не заметил, что отец багровеет на глазах и вот-вот лопнет от бешенства. Все истории супруги бригадира сводились к тому, сколько их семье довелось перетерпеть во время отпусков: бригадир имел обыкновение проводить их с риском для жизни. А бригадир сказал, что не имел бы ничего против войны, если бы не лишился из-за нее хоккея. Непростой персонаж. К ужину явились майоры, много майоров со своими спутницами жизни. Все жены, как ни странно, иностранки: одна русская, другая шведка, третья немка. По поводу чего бригадир отпускал замечания вроде: "Попробуй скажи им, что я об их чертовых странах думаю!" А потом громко спросил меня, в самом ли деле нельзя курить трубку, когда пьешь марочный портвейн, и почему. Я ответил, и он опять сделался фиолетово-серым.

"В Египте доверять можно только одному человеку — Гассану Бею. Повезло, что он теперь главный советник короля[37]. Белый человек. Могу рассказать, что он собой представляет. Едем мы с ним из Луксора в Суэц, в вагоне, кроме нас, никого. Одна узкая колея, по обеим сторонам пустыня, жарища не приведи Господь. Десять часов едем — без всякого дела. Думал, с ума сойду. Слава Богу, у меня с собой мяч был от гольфа. Поставил я Хассаняна в один конец коридора, сам встал в другой, и давай мы с ним этим мячом перебрасываться, кто в кого больней попадет. Целый день перебрасывались. Такое не вся-

кий гиппи выдержит. Тогда-то я и понял: кому-кому, а этому гиппи доверять можно".

Твоего друга Бейли чуть было не выгнали из бригады — ни один инструктор не сказал о нем доброго слова. Дали ему все же шанс. "Надеюсь, я ему не наврежу, если скажу тебе, что я собирался одного из вас уволить, — сообщил мне бригадир. — Он сказал мне, что в мирной жизни был репортером в 'Стар', и я решил, что это его оправдывает". — "Вы ему навредили, — сказал я, — но могу вас заверить, он не плох". — "Да, он очень хорошо говорил в свою защиту, мне понравилось". Я не стал спрашивать, не отделал ли он его розгами.

Здесь только что побывал капитан Макдоннелл со своей супругой. Говорит, что ничего не случится, если мы неделю-другую проживем не в казармах. А вчера он заявил, что полковник сказал — никаких увольнительных. Как видишь, день на день не приходится.

А еще бригадир сказал: "Ты, надо надеяться, пасквиль на нас не пишешь, чтоб над нами потом посмеялись. Был тут один гнусный тип, Грейвз зовут, написал книгу "Прощание со всем этим"[38]. Высмеял своего бригадира. И как не стыдно!" Слава Богу, подумал я, что он не знает про это письмо.

С любовью, Ивлин.

Лоре Во
18 февраля 1941[39] *На борту "Гленроя" по пути в Египет*

Моя дорогая Лора,

в настоящее время борода у меня выглядит устрашающе. Я ее сфотографировал и тебе пришлю. Она еще не проявлена — ни фотография, ни борода. За вычетом бороды писать почти не о чем. В письмах, которые мы пишем домой, она занимает центральное место. Боимся, как бы цензоры не заподозрили, что это шифровка. Как бы то ни было, благодаря ей у меня есть теперь хобби. В долгом путешествии хобби, увы, столь же необходимо, как канарейка или комнатное растение, за которыми присматриваешь изо дня в день.

С каждым днем азартные игры занимают в нашей жизни все больше места. По вечерам здесь играют "в железку", ставки не ниже 50 фунтов. Вчера Рэндольф[40] проиграл больше 400 фунтов. Я за этим столом не играю, предпочитаю покер "по маленькой" и, представь, нахожусь в выигрыше — правда, весьма скромном.

Читаю лекции об Абиссинии, которая мне осточертела. Большую же часть дня сплю.

Дэвид Стерлинг редко появляется до ужина.

Все запасы спиртного выпиты, и по вечерам жизнь веду трезвую. В следующем порту надеемся пополнить запасы.

Если наше благосостояние почему-то вызывает у тебя тревогу, не колеблясь, обращайся к Памелле Черчилль[41] — о нас ей известно абсолютно все.

Прочел “Фанни при свете газа”[42] — понравилось. И еще одну книгу про Анджелу Бальфур[43], называется “Манон Леско”.

С любовью, Ивлин.

Нэнси Митфорд[44]
31 мая 1942[45] *Ардроссан, Эйршир*

Дорогая Нэнси,

получилась чудесная посылка. Есть только одна книга, которую читаю с гордостью; вкладываю и ее тоже. Не пришлете ли в ответ что-нибудь поучительное?

После долгих зимних месяцев аскезы в составе морских пехотинцев, чему предшествовали еще несколько месяцев бесконечных проволочек, которые можно было бы назвать “боевыми бездействиями”, — мы с Бобом Лейкоком[46] вернулись из Шотландии.

На завтрак каждый день ем омлет и грейпфрут, поскольку в здешних местах в нормирование съестного не верят. До войны мне (как, подозреваю, и Вам) никогда не приходило в голову питаться грейпфрутами. Но даже при наличии грейпфрутов и прочих яств война нравится мне теперь куда меньше, чем раньше. Впрочем, через пару лет, когда перебьют наших солдат, и мы с Вами и Коннолли[47] сможем отстаивать нашу культуру без всякого вмешательства со стороны, война станет лучше. <...>

Думаю, этими книгами будут зачитываться мои внуки (если, конечно, они научатся читать, в чем у меня есть сомнения). Я скажу им, что эти книги были собраны в разгар величайшей войны великим прозаиком и выдающимся критиком. Вам не кажется, что было бы забавно посмотреть на книги, отобранные Саути и посланные капитану британского флота во времена наполеоновских войн? <...>

Леди Дороти Лайгон
23 марта 1944 года

Дорогая Попка,

ужасно рад был Вашему письму. Хочется надеяться, что и Вы получите мое. Постараюсь не выводить из себя цензора, но мои сегодняшние взгляды настолько отличаются от тех, к которым склоняет меня Брендан Брэкен[48], что я могу очутиться в тюрьме в любую минуту. Будет обидно, если из-за меня упекут за решетку и Вас.

В настоящее время я в Чагфорде, перевожу дух от военных обязанностей и, как следствие, тружусь так, как не трудился последние пять лет. Пишу замечательную и очень печальную книгу[49] об очень богатых, прекрасных, родовитых людях, которые живут во дворцах и если и страдают, то исключительно из-за самих себя. Их соблазняют два ненасытных демона, секс и спиртное, а ведь в наше время найдутся демоны и похуже.

От второго демона я и сам в последнее время натерпелся. В Лондоне я, как говорится, не просыхал. И начал терять память, а ведь для человека, живущего прошлым, потеря памяти равносильна потере жизни. Я даже немного встревожился, но потом понял, что мне нужна была работа по сердцу. Я здесь уже полтора месяца, мозги прояснились, и сейчас мне пишется лучше, чем когда-либо в прошлом. Иногда меня навещает малютка Лора. Жизнь она ведет поистине героическую: через несколько недель должна родить очередного ребенка.

С тех пор как мы с Вами виделись, моя армейская жизнь как-то потускнела. Я свел генерала с ума[50] в буквальном, а не переносном смысле слова, и нас обоих изгнали из штаба. Потом я стал парашютистом. Для любящего уединение нет большего удовольствия, чем парить в одиночестве в воздухе, но удовольствие это, увы, скоротечно, да и земля не слишком мягкая, и врачи решили (мне это и без них было ясно), что я слишком стар для подобных утех. <...>

Когда нога зажила, меня направили к другому генералу, у которого я пробыл адъютантом всего 24 часа, ибо имел несчастье за обедом опрокинуть на него бокал красного вина. Просто невероятно, сколько вина помещается, оказывается, в бокале и как велика поверхность его распространения, если выплеснуть вино со смаком. Генерал оказался тупицей, и я был рад от него избавиться, да и он от меня тоже. Потом меня направили к еще одному, уже третьему, генералу более высокого ранга. <...> Но то ли его обо мне предупредили, то ли самого

отправили в отставку — как бы то ни было, я получил бумагу, отменяющую это назначение. <...>

Сломав ногу, я отлично провел время в постели. Кто только меня не навещал, от посетителей отбоя не было, и в день мне приходилось тратить на выпивку фунтов десять, не меньше. <...>

Лоре Во
27 сентября 1944 *Топуско*[51]

Дорогая моя Лора,

время здесь стоит на месте. Думаю, война кончилась бы скорее, стань я помощником регистратора в больнице[52]. Кроме как завтракать и обедать, делать здесь решительно нечего, и писать тебе не о чем. Радист запил, что повергло наше небольшое сообщество в полное замешательство. От запаха ракии меня тошнит; ракия и табачный дым — характерные черты этого места на земле. Мое окно почти полностью закрыто виноградными лозами, и я долгое время не мог понять, отчего, проснувшись и увидев пробивающийся сквозь листву солнечный свет, я каждые четверть часа вспоминаю Мидсомер-Мортон. Потом только я сообразил, что все очень просто: именно так сквозь вьющийся виноград пробивался свет с веранды в курительную в доме моей бабушки.

Два дня назад штаб партизан и русская миссия обменивались наградами, в честь чего состоялся торжественный ужин. К награждению приступили только после полуночи. Затем, в два часа ночи, когда я немного утомился от речей на иностранных языках, началось театрализованное представление — патриотические стихи, пьесы и песни; продолжалось представление до четырех утра. Поскольку ложиться спать мы привыкли ровно в десять, вечер получился нелегким.

Вчера мы поехали посмотреть на боевые действия. Выдался великолепный осенний день. Местность на вид совершенно английская: небольшие леса и поля, живые изгороди с ломоносом, самбуком, черникой и колючками. Мы устроили пикник на склоне холма, а под нами, на расстоянии мили, шел какой-то бесцельный, бессмысленный бой. Домой вернулись в сумерках при лунном свете и обнаружили, что радист бродит по ферме без штанов и стонет, будто от сильной боли.

Еще только четверть пятого вечера, а кажется, с утра прошла целая неделя. Мы — как персонажи из пьесы Чехова.

Только что явилась депутация обиженных евреев. Приходят они чуть ли не каждый день. Рэндольф интересуется евреями, Герберт — албанцами. Я, пожалуй, на стороне Герберта.

Есть здесь также бродячий музыкант, он носит с собой раздутую свиную тушу и, точно горец, играет джигу.

А теперь я должен идти к генералу. Когда вернусь, будет всего-то половина шестого. О Господи, как же хочется заснуть и проснуться, когда война кончится.

С любовью, Ивлин.

Нэнси Митфорд
25 декабря 1944 *37 Военная миссия, Дубровник*

<...> Я сбежал от Вашего кузена Рэндольфа и сейчас нахожусь в жемчужине Адриатики, которая смотрится не такой уж жемчужиной из-за ренессансных фасадов, разукрашенных коммунистическими лозунгами. Рождество я провел в полном одиночестве, что — за вычетом Лоры и нескольких близких друзей, которых можно пересчитать по пальцам одной ноги, — меня вполне устраивает. Я ужинал, сидя перед зеркалом, и с грустью размышлял о том, что с годами превратился не в представительного джентльмена средних лет, а в неказистого юнца. <...> Как я рад, что Вы, может статься, опять возьметесь за перо. В этом случае присылайте результаты в "Чепмен-энд-Холл". Они любят сорить деньгами, я же обязуюсь добыть Вам солидный аванс. В Вашем письме огорчительно только одно. В нем я не обнаружил слов: "Благодарю Вас за Ваш прекрасный рождественский подарок — 'Возвращение в Брайдсхед'. Это замечательное произведение". Вам не хотелось об этом упоминать, или цензура постаралась? Книгу Вы должны были уже получить, и хотя, я знаю, она наверняка шокирует Вас своей набожностью, в романе есть несколько примечательных мест, которые могут Вам понравиться. <...>

Нэнси Митфорд
25 сентября 1945 *Пирс-Корт*

Дорогая Нэнси,

итак, я вернулся к себе домой, и на Ваш Париж мне теперь наплевать. Нельзя, однако, сказать, что я не страдаю. Плановики изменили схему водоснабжения в деревне, и я целыми

днями таскаю ведра с водой от колодца к котлам. Дом имеет жалкий вид, здесь отсутствуют совершенно необходимые вещи вроде дверных ключей. Сад походит на разбомбленные джунгли. Справедливости ради надо сказать, что вина в подвале более чем достаточно, и повсюду свалены книги, которые я когда-то купил и про которые напрочь забыл. <...>

Жаль, что до выхода первого издания Вы не успели переписать неудачные места Вашей книги[53]. Перепишите *сейчас* для "Пингвина". В этом и состоит разница (одна из тысячи) между настоящим писателем и журналистом: писатель готов переделывать свою книгу после того, как вышли на нее рецензии, после того, как ее прочли друзья, и проделанная работа лишена, казалось бы, всякого смысла. <...>

Главному редактору "Таймс"[54]
18 декабря 1945 *Пирс-Корт*

Сэр,

крепкий чай или, если воспользоваться метафорой мистера Данлопа, "рюмка водки" представляет собой тошнотворное пойло для всех тех, кто привык к изысканным винам Тициана и Веласкеса. Мсье Сора попал в десятку, но, боюсь, что и он не сделал правильного вывода. "Человечество разочаровано в себе, — пишет он. — Оно сознает, что неспособно на великие свершения своих предков, но вместо того, чтобы вновь выучить забытые уроки, по простоте душевной обращается к чему-то новому".

Живопись сеньора Пикассо несопоставима с полотнами традиционных мастеров. Неразбериха в оценке его творчества вызвана тем, что поклонники Пикассо используют неадекватный эстетический язык. К такому художнику следует относиться так же, как относятся к своим кумирам любители эстрады. Когда речь идет о музыке, американские подростки не спрашивают: "Что ты думаешь о таком-то?" Вместо этого они спросят: "Чем он тебя берет?" Цель современного искусства, будь то нацистская риторика, джаз-банд или живопись, — гипнотический трюк; стремясь к ней, оно либо добивается головокружительного успеха, либо терпит сокрушительное поражение. Огромное число вполне культурных и умных людей, которые пали жертвой сеньора Пикассо, — вовсе не позеры. Он их "берет" — то бишь гипнотизирует. Для тех из нас, кто к такому искусству невосприимчив, оно может показаться абсурдным, однако этот процесс, по всей вероятности, безвре-

ден. Выйдя из гипноза, они остаются такими же культурными и умными людьми, какими были до гипнотического сеанса. Их экстатический опыт мог бы даже вызвать у нас зависть. И все же давайте не будем смешивать этот опыт с сознательной и возвышенной радостью, которую дарят нам старые мастера.

Остаюсь, сэр, Вашим покорным слугой.

Ивлин Во.

В журнал "Лайф"[55]
7 февраля 1946 *Пирс-Корт*

Дорогой мистер Осборн,

уж не знаю, каким образом у Вас, миссис Рив и мистера Шермана сложилось впечатление, будто я ищу популярности у тех, кто не умеет читать. Я попытался обеспечить знающих грамоту всей необходимой информацией о своих персонажах. И если это не удалось, Вы вряд ли сможете мне помочь.

Уверен, Вы нисколько не виноваты в том, что какой-то босс в Соединенных Штатах Вам надоедает. Не беспокойтесь: он уже давно забыл о своей идее. Когда-то и я месяца два проработал журналистом и боссов изучил неплохо. Они — существа непостоянные.

Если же Ваш босс не собирается отказываться от этой нелепой затеи, и Вы хотите меня видеть — обязательно приезжайте. Просить Вас у меня остановиться я не вправе: в настоящее время у меня нет ни повара, ни прислуги. Но по соседству имеется небольшая гостиница. У Вас есть велосипед? Я живу в семи милях от Страуда. Я здесь безвыездно и, когда Вы приедете, могу угостить Вас стаканом портвейна и черствым хлебом — того и другого у меня в изобилии.

Только, пожалуйста, не звоните по телефону.

Искренне Ваш Ивлин Во.

Рэндольфу Черчиллю *Пирс-Корт*
Апрель 1946

Заметки о Нюрнберге[56]

Сюрреалистический спектакль. Среди груды развалин, отдающих трупным запахом, два дома: роскошный отель и не ме-

нее роскошное здание суда. Барочный зал кайзера Вильгельма. Мебель и освещение функциональны. Нескончаемый приглушенный щебет переводчиков. Перевод почти синхронный. Странное ощущение: видишь, как переругиваются двое здоровенных мужчин, а из наушников в это же самое время раздается визгливый женский голосок с американским акцентом. Очевидный парадокс: на судейской скамье восседают с застывшими квадратными лицами русские — все как один в высоких сапогах и с эполетами; все остальные в гражданском. Русские неподвижны, напряженно, как-то ошарашенно вслушиваются; вид такой, как у венецианских послов при дворе персидского шаха во времена Возрождения. Стоит кому-то произнести слово "Россия", как они виновато вздрагивают, а их представитель, вскочив со своего места, говорит: "Я протестую. Заданный вопрос антидемократичен, не по существу, это фашистская, человеконенавистническая точка зрения, она противоречит Атлантической хартии". Президент международного военного трибунала Лоуренс (совершенно обворожительный человек) говорит: "Вопрос задан по существу", и прения продолжаются. Англичане на высоте, наши юристы раз в десять способнее всех остальных. Французы и янки не скрывают своего восхищения. Вид отпетого преступника из всех сидящих на скамье подсудимых только у Кальтенбруннера: он — нечто среднее между Ноэлем Кауардом[57] и Фицроем Маклином[58]. В Геринге, как и в Тито, есть что-то от почтенной матроны средних лет. Риббентроп напоминает жалкого школьного учителя, над которым постоянно измываются ученики. Он знает, что не подготовился к уроку, и знает, что ученикам это известно. Он только что допустил ошибку, решая на доске арифметическую задачу, и его подняли на смех. Он знает, что в этой школе ему рассчитывать не на что, и все же надеется продержаться до конца семестра, чтобы получить "положительную характеристику" и устроиться в другую школу — похуже. Лжет машинально, по мелочам и без всякой выгоды для себя.

Среди представителей оккупационных сил (исключений — шесть-семь) больше всего (еще один парадокс?) евреев, ведь по-немецки среди эмигрантов говорят только эмигранты в первом поколении. Они целыми днями фотографируют друг дружку на гитлеровской трибуне Дворца спорта, выбрасывая руку в нацистском приветствии.

Сотни вялых, пресыщенных, размалеванных, отвратного вида юных секретарш безостановочно бегают по приемам и банкетам, которые устраиваются в холлах одного и того же отеля. "О Боже, я же обещала пойти к французам и к румынам, а ведь еще прием у генерального прокурора, а мне еще

переодеваться! Надо бежать!" Пробежать придется от силы сотню метров в соседний холл.

Безработные барристеры живут в свое удовольствие: у них отпуск со всеми удобствами и на всем готовом.

Английские юристы демонстрируют завидное рвение и esprit de corps[59]. Никакой пресыщенности. Трудятся в поте лица в полной уверенности, что делают дело исторической важности.

Пожалуйста, не цитируй меня ни при каких обстоятельствах, чтобы не получилось, будто я плачу неблагодарностью за приглашение на процесс или же скептически отношусь к тому, что здесь происходит. Не цитируй меня вовсе, будь добр.

Ивлин.

Нэнси Митфорд
Четверг на Страстной неделе — *Пирс-Корт*
18 апреля 1946

Дорогая Нэнси,

Париж был раем. Но, Боже, каким же утомительным! От встреч с новыми людьми я теперь так возбуждаюсь, что лишаюсь сна. После второго подряд четверга у мадам Буке у меня пропадает хорошее настроение (или, как она выражается, "настрой"). Я и по сей день лежу без сна, вспоминая авантюристку, которая прикарманила вилки.

Очень хочется поподробнее узнать о Кеннелле. Последний раз я видел его в пять утра, у него был сердечный приступ вследствие неуемных любовных утех. Он случаем не умер? <...>

Таможенники были сама любезность. Чего у меня только с собой не было: и дамские шляпки, и шампанское, и сыр, и духи, и игрушки, и т. д. Они сказали: "Будем считать, что с вас пятерка".

На Святой неделе сел на Бельзенскую диету[60] и, в результате, либо теряю сознание, либо — терпение.

На праздники сюда съехались все мои дети[61]. Они веселы, нежны, от них нет никакого спасу. Исключение составляет Харриет: я настолько ей отвратителен, что стоит мне появиться в сотне ярдов от нее, как она принимается голосить, как будто ее режут.

Мой сад на сегодняшний день не имеет ничего общего с садом сэра Лестера Крёсига[62]. Лора купила миниатюрный трактор, похожий на кукольную коляску, дабы посадить оче-

редную капусту или кормовую свеклу, и взрыхлила каждый ярд земли до самых окон. Я бегу следом за трактором и подбираю свежие луковицы, которые она только что вскопала. Меня избрали председателем приходского совета. Побывал на вечеринке с коктейлями, где в одной комнате собралось светское общество, прибывшее на охотничий бал, а в другой — разодетые деревенские красотки. Лора и я попали к деревенским красоткам, и это несмотря на ее неподражаемую прическу.

Привет. Ивлин.

Нэнси Митфорд
8 июня 1946 *Пирс-Корт*

Дорогая Нэнси,

на следующей неделе отправляюсь в Испанию, поэтому попросите Пикассо и Хаксли, а также всех прочих Ваших bolshikh дружков повременить с вторжением до середины июля, когда все прояснится.

Думаю, что назад в эту страну Вы уже не вернетесь[63]. И поступите мудро. Еда с каждым днем становится все более отвратной. Сегодня правительство устраивает абсолютно непотребный маскарад[64]. Мистер Эттли и мистер Чутер-Ид[65] (из членов кабинета только они одни) разъезжают по Лондону в карете, позаимствованной у короля, и выдают себя перед низшими классами за победителей в войне. Подобный выбор представляется мне довольно странным даже для мистера Эттли, ведь ему ничего не стоило найти двух-трех коллег, которые во время войны хоть что-то делали, пусть и во вред стране. В отличие от Эттли и Ида. За каретой следовало христово воинство, состоящее из бразильцев, мексиканцев, египтян (египтян!), официанток из "Наафи" и т. д. По всему городу возводятся трибуны и триумфальные арки для сей публичной демонстрации человеческого тщеславия.

Приходской совет Стинчкома под моим председательством проголосовал за то, чтобы у нас здесь никаких юбилейных торжеств не было. <...>

Нэнси Митфорд
16 октября 1946 *Пирс-Корт*

Дорогая Нэнси,

мы оба ужасно огорчились, узнав, что Вас не увидим. Утешаю себя лишь тем, что вчера вечером у нас возникли проблемы с водоснабжением, и Ваш визит был бы испорчен.

Могу просить Вас об одолжении? Если мы с Вами хотим оставаться друзьями и впредь, пожалуйста, никогда больше не употребляйте слово “прогрессивный”. Оно выводит меня из себя еще больше, чем словосочетание “писчая бумага” Вашего привередливого отца. Всякий раз, встречая в Ваших письмах это слово, я потом долгое время не могу прийти в себя. Пожалуйста, пожалуйста! <...>

Мне хочется уехать из страны, Лора же предпочитает остаться и встретить неумолимо приближающийся век Простого человека. Она моложе, смелее меня и не столь впечатлительна. Хоть бы уж они поскорей сбросили на нас свою атомную бомбу!

Моя лекция в Бристоле о домашних библиотеках, которую я прочел выпускникам университета, была сущим адом. Собрались в основном католики, и я счел, что дело богоугодное и отказываться негоже. Секретарь сказал, что заедет за мной в 6.45 и отвезет на машине. Могло бы Вам прийти в голову, что подобное приглашение не предполагает ужина? Я встретился с секретарем после того, как целый день копался в саду, и щелкал зубами от голода. “В котором часу начинается лекция?” — “В 7.30. У нас полно времени”. Прекрасно. Прочел лекцию, ко мне стали подходить набожные дамы и пожимать руку, дрожавшую от голода. После чего секретарь отвез меня обратно, мы приехали в 10.30, и за весь день у меня во рту не было ничего, кроме булочки и чашки кофе. Секретарь — очень вежливый, культурный молодой человек. В чем же дело? А в том, что родившиеся после 1939 года не подозревают, что такое гостеприимство. <...>

У меня большое искушение после Рождества приехать в Париж. Это не сложно? Неужели можно просто доехать до Виктории и сесть в поезд? В феврале думаю отправиться в Калифорнию. Здесь мне не хватает общения. Вот бы здешние соседи сплетничали и рассуждали о своих привычках, как герои Джейн Остин! Вместо этого только и разговоров что о Молотове и Де Голле.

Обещайте, что напишете мне длинное, обстоятельное письмо. Я знаю, в Лондоне у Вас на это не было времени. А в Париже?

С любовью, Ивлин.

Нэнси Митфорд
24 октября 1946

Пирс-Корт

<...> Ваше литературное будущее рисуется мне туманным. Ведь даже такие многоумные интеллектуалы, как Олдос Хаксли, гниют в изгнании. После "Шутовского хоровода" он не написал ничего стоящего. Ваша проза так остра, своевременна, она настолько английская, что Вы должны сесть на здоровую английскую диету. Как английский наблюдатель, считающий всех иностранцев глупцами, Вы могли бы о них писать. Но в роли космополита у Вас нет шансов. Рад был узнать, что Вы способны еще два года прокормить себя и Фабриция[66]. А я-то думал, что он давно уже вытряс все, что имелось в банке. Вы правы, за два года случиться может всякое. Очень может быть, Вы, подобно Болтеру[67], вернетесь к нам и будете лепетать любимые словечки тридцатых: "прогрессивный", "антисоциальный", "фашистский", "рабочий класс", "дорогой мистер Голланц", "Мюнхен", "Пикассо". Можете не сомневаться, прием Вам будет оказан самый радушный. Если Вы решили написать книгу о французах, непреодолимым препятствием станет разговорный язык. Если Вы пишете на идиоматическом английском, Ваши герои в любом случае будут англичанами, а не французами. Если же станете буквально переводить галлицизмы, придется пользоваться курсивом, как это делал Генри Джеймс. А также — автор парижских дневников в "Байстендере" в двадцатые годы. По-моему, это невозможно.

Через неделю мне стукнет сорок три. С тех пор как мне исполнилось тридцать, я свой день рождения справлять отказываюсь. На всех порах устремляюсь к старческому слабоумию. <...>

В моем ящике стола две козырные карты: военный роман и автобиография. Надеюсь, они меня переживут.

В кино хожу четыре раза в неделю. Думаю, что за последние полгода я пересмотрел больше плохих фильмов, чем любой из живущих на земле. Забываю их, как забывают сны, в ту самую минуту, как выхожу из кинотеатра. <...>

С любовью, Ивлин.

Редактору "Таймс"
17 апреля 1947 *Пирс-Корт*

Стипендия молодым писателям[68]

Сэр,

хочется надеяться, что мистер Моэм известил полицию, прежде чем объявлять, что он учредил ежегодную стипендию в размере 500 фунтов молодому писателю, отправляющемуся за рубеж. В противном случае его протеже, а возможно, и он сам, окажется в весьма затруднительном положении.

Даже если мистер Моэм заручился поддержкой государства, мы вправе спросить, отдает ли он себе отчет, в какое искушение он вводит пожилых писателей? В самом деле, мы не могли и мечтать о том, чтобы потратить за границей свои кровные 500 фунтов, не говоря уж о 500 фунтах мистера Моэма. Тогда бы нам не пришлось тратить за границей деньги, которые причитаются нам за права на перевод наших книг. На какие только уловки мы бы не пошли, дабы оправдать невиданную щедрость мистера Моэма! И свидетельства о рождении бы подделали, и усы подкрасили, и кожу на лице подтянули! На какие бы литературные эксперименты не отважились!

Ваш покорный слуга Ивлин Во.

А. Д. Питерсу
9 июля 1947

Дорогой Пит,

возникает вопрос, стоит ли вообще печатать "Незабвенную"[69] в США? Многих американцев эта повесть наверняка шокирует и, боюсь, будет встречена без особого восторга, особенно после статьи в "Лайфе"[70], где я объявил, что впредь писать буду только религиозные книги. Следует ли мне поддерживать в Америке свою репутацию серьезного (в том смысле, какой они вкладывают в это слово) писателя, или же пусть думают обо мне, что хотят? Вам сложно дать мне совет, ведь "Незабвенную" Вы еще не читали...

Всегда Ваш Ивлин.

"О себе писать особенно нечего

Лоре Во
25 августа 1947 *"Грандотель", Осло*

Дорогая,

итак, я в Осло и буду счастлив в пятницу отсюда уехать. Здесь жарко, пыльно, шумно. Город жалок и уродлив, еда ничуть не лучше, чем в Лондоне. А то и хуже. Вчера провел пресс-конференцию, которую организовал мой издатель и пресс-атташе посольства. Журналистский корпус состоял из мертвецки пьяной девушки и коммуниста, который вышел из комнаты, когда я отвечал на вопрос про Тито; по-английски говорили только двое. Еще один нарисовал на меня злющую карикатуру. Журналист, который задавал почти все вопросы и был, как мне показалось, самым культурным из всех, представлял газету торгового флота. Словом, тоска. Вчера ужинал со своим издателем и агентом по правам — она (это она) была навеселе и не скрывала своих откровенно просоветских взглядов.

Интерес здесь представляет, пожалуй, лишь скульптура некоего Вигеланда (1886–1943) — ничего более нелепого и отвратного мне видеть не приходилось. Его творениями заставлен весь парк и дворец.

...Надеюсь, моя матушка не слишком тебе докучала.

С любовью, И.

А. Д. Питерсу
14 сентября 1947 *Пирс-Корт*

Дорогой Пит,

жаль, что "Незабвенная" Вам не понравилась. Я уже давно над ней потею, и сейчас повесть стала изящнее, но от этого ничуть не менее мрачной. Прикладываю к письму отзыв одной американки (пожалуйста, верните, она из родовитой бостонской семьи, последнее время пишет к тому же бестселлеры). Но я на своем мнении не настаиваю, да и не хочу настраивать против себя своих будущих покупателей. "Незабвенную" следует воспринимать не как сатиру на похоронный бизнес, а как исследование англо-американского культурного антагонизма, где похоронное бюро не более чем забавная декорация. В окончательной версии, которую я также прикладываю, на этой идее делается особый акцент.

Всегда Ваш Ивлин.

Джону Бетджемену
Февраль (?) 1948 *Пирс-Корт*

Дорогой Джон,

очень мило с Вашей стороны, что Вы написали о “Незабвенной”. Сам я этой вещью доволен, но ведь доволен я был и “Брайдсхедом” — все же остальные сочли роман позором. Летом пришлю Вам веселенькое иллюстрированное издание романа. <...>

Первый раз в жизни читаю Пруста. Очень слабо. По-моему, он был умственно неполноценным. Помню, каким ничтожеством я себя ощущал, когда о нем велись разговоры, мне же было стыдно сказать, что я не в состоянии через него продраться. Так вот, сейчас я его прочел — по-английски, разумеется, — поскольку прочесть могу все, что не про политику. Пруст совершенно не в себе. Мне это ясно, как Божий день. Он никогда не указывает возраст своего героя. На одной странице няня ведет его в общественную уборную на Елисейских полях. А на следующей — он уже сам направляется в бордель. Бесподобная чушь. <...>

Грэму Грину
Июль (?) 1948 *Клуб “Уайт”*

Дорогой Грэм,

рад, что Вы правильно расценили мою рецензию[71]. Я восхищен Вашей книгой и, надеюсь, из рецензии это следует.

Меня ввел в заблуждение эпиграф из Пеги[72], и, боюсь, — не меня одного. Я видел рецензию Реймонда Мортимера, в которой тот, в отличие от меня, без всяких колебаний заявил, что Вы считаете Скоби святым.

Думаю, что в США Вам предстоят серьезные испытания. Тамошние епископы только и ждут, как бы расправиться с загнивающим европейским католицизмом. Так, во всяком случае, мне представляется. Я только что избежал нападок, посулив всем им вечную жизнь на Небесах.

Приезжайте же, если у Вас выдастся свободный вечер (или вечера).

Всегда Ваш Ивлин.

А. Д. Питерсу
20 августа 1948 *Пирс-Корт*

Увидеть киноверсию “Незабвенной” желанием не горю, но обсудить этот проект готов. Имя сценариста значения не имеет, но он должен представить подробный план сценария. Если я этот план одобрю, он может приступить к работе, однако я сохраняю за собой право вносить в текст любую правку.

И.

Сэр Лоуренс Оливье[73] считает, что из моей повести получится отличный фильм. Должно быть, он сошел с ума.

Лоре Во
20 ноября 1948[74] *Клуб “Мэриленд”*

Дорогая Лора,

от тебя никаких известий. Как это понимать? Что ты пустилась в невиданный разгул или же оплакиваешь смерть нашей коровы Виктории? Хочется надеяться, что первое.

В Балтимор прибыл вчера поздно вечером. Езжу по стране, попадая из одного клуба в другой. Очень удобно. Клуб “Сомерсет” в Бостоне необычайно степенен — как наш “Будлз” в 1875-м. Еда преотвратная. Из Англии привозят “Таймс” двухдневной давности, члены клуба чаще бывают в Лондоне, чем в Нью-Йорке. Бостон прелестен. Обязательно туда съезди, когда приедешь зимой. Похож как две капли воды на Хайгейт — если представить себе, что в Хайгейте на каждом шагу церкви Рена[75]. В отель, где я остановился, съехались пекари. Крепко выпили. У каждого на шее булка из картона. Видимо, профессия приучила их работать по ночам. До самого утра распевали песни, и заснуть было невозможно. В моем отеле полно тараканов, они напоминают мне о доме. Ведут себя скромнее, чем пекари, но трудятся, как и они, по ночам. <...>

Худшее впечатление от Бостона — мой визит в Гарвард к отцу С. Дж. Фрини. Миссис Люс сказала, что это — святой и апостол, и встретиться с ним надо обязательно. Принимает он в так называемом Католическом центре рядом с университетским кампусом и известен тем, что виртуозно обращает людей в свою веру. Когда я справился о нем, бостонское духовенство и миряне смутились и стали говорить, что давно его не видели. Я договорился о встрече, пришел утром в Центр и обнаружил его в ок-

ружении блеющих от счастья молодых людей обоего пола; сам же Фрини совершенно безумен. Обращенные отказались от гарвардской карьеры и являются к нему за наставлением. Фрини последними словами поносит светское образование, стал кричать, что Ньюмен[76] нанес Церкви непоправимый вред, а потом ополчился на "Постижение мессы" Ронни Нокса[77]: "Подумать только! Эту нечестивую и развратную книжонку дают читать невинным девочкам двенадцати лет!" Ужасается так, словно это не "Постижение мессы", а "Любовник леди Чаттерлей". На мой вопрос, читал ли он Нокса, последовал ответ: "Чтобы убедиться, что яйцо протухло, вовсе не обязательно его есть". Я дал волю своему раздражению. Его присные застыли от ужаса: им не верилось, что со святым человеком можно разговаривать таким тоном. В зловещей тишине я вышел из дома. <...>

А. Д. Питерсу
18 января 1949 *Пирс-Корт*

...Не желаю публиковаться в коммунистических странах. Пока не поздно, прекратите с ними любые переговоры. "Незабвенную" они могут использовать в качестве антиамериканской пропаганды.

И. В.

Грэму Грину
15 июля 1950 *Пирс-Корт*

Я слышал, что Вы согласились написать сценарий по "Брайдсхеду". Если это так, огромное спасибо. Кто бы мог подумать, что мне так повезет.

И.

Лоре Во
7 февраля 1951 *Иерусалим и Королевство Иордании*

Дорогая Лора,

в прошлую пятницу консул отвез нас[78] через ничейную землю в Иорданию. Поселили в солидном, простом арабском отеле, кормят превосходно — не то что в Израиле. Усталости как не бывало. Мы оба здоровы, энергичны и счастливы.

Как же хорошо находиться среди людей, которые почти все расхаживают в маскарадных костюмах! Городской голова очень ко мне расположился и набивает мне карманы сигарами. <...>

На вечеринке у генерального консула я разобиделся; мне показалось, что чиновник-араб отнесся ко мне без должного уважения. Городской голова заставил его передо мной извиниться и объяснил, что тот а) глух, б) пьян, в) плохо говорит по-французски, г) так натер большой палец правой ноги, что вынужден будет на следующий день купить новую пару сапог. <...>

Послал посылку с безделушками для вифлеемских детей, но придет она, подозреваю, не скоро.

Сегодня собираемся на ночную службу в Храм Гроба Господня — будет что вспомнить и чем похвастаться. <...>

По городу разъезжают огромные автомобили под флагом ООН, жители же голодают. Здесь полмиллиона совершенно беспомощных и обездоленных арабских беженцев из Израиля. Голодающий и бездомный Израиль ввозит 25000 евреев ежемесячно из Месопотамии, Абиссинии, Йемена — отовсюду. Домов не строит ни та ни другая сторона; и та и другая методично уничтожает целые деревни, где жили их враги. Все совершенно обезумели, озверели и не говорят ни слова правды. Осточертело быть постоянным объектом нескончаемой и противоречивой пропаганды с обеих сторон.

С любовью, И.

Нэнси Митфорд
Сентябрь 1951

<...> Забавная примета английской жизни. Со свадьбы у нас в гостиной стояло пианино, на котором никто никогда не играл, и каждые три месяца из Челтенхэма приезжал на велосипеде человек его настраивать. В свой последний приезд настройщик заявил, что в недрах инструмента образовался какой-то дефект, и устранение этого дефекта обойдется мне в 50 фунтов. На это я сказал: "Дайте мне 50 фунтов и можете пианино забрать", что он и сделал. Результат? Всеобщее оцепенение. В коттедже молчат, в доме молчат. Скотник молча проходит мимо, опустив глаза. Деревенские женщины метут пол, заливаясь слезами. Грузчики, приехавшие вывезти пианино, несли его, как несут гроб. По всей вероятности, для низших классов продажа пианино — шаг крайнего отчаяния, переход от достойного существования к позорной нищете. Вам это было известно? <...>

Строчу, как безумный, свой opus magnum[79]. По-моему, получается ужасно смешно. Плохой знак.

С любовью, И.

Нэнси Митфорд
15 февраля 1952

Пирс-Корт

Дорогая Нэнси,

последнее время настроение у меня преотвратное. Мучаюсь чем-то вроде ревматизма вдобавок к обыкновенной простуде. Никак не могу избавиться от прислуги. На прошлой неделе три служанки было уволились, однако одна уже вернулась, заявив, что я *обязан* ее нанять, поскольку мать не пустит ее идти работать на фабрику, она же *должна* оставаться в этих краях — у нее, видишь ли, здесь любовь. Говорю ей: "Я не могу себе позволить вас держать". А она мне на это: "Готова работать бесплатно". — "Расходы на ваше содержание гораздо больше, чем ваша зарплата", — говорю. Но она все равно вернулась: притащила свой сундук и корзину с маслом и сметаной. Тем временем две деревенские женщины, которые раньше "оказывали нам услуги по дому" от случая к случаю, теперь устроились к нам на постоянную работу за гораздо бóльшие деньги. Таким образом, моя "компания по экономии средств" с треском провалилась. <...>

Известно ли Вам, нашим соотечественникам, живущим за границей, что умер король Георг VI? Мистер Черчилль выступил по радио с жуткой речью. Банальности вперемежку с грубыми ошибками. Худшее, что он сказал, касалось патриотизма покойного короля: "Во время войны я старался держать его в курсе дела. Он понимал с полуслова все, что ему говорилось. Я даже раскрывал ему военные секреты". Его самая неуместная историческая параллель — сравнение нашей нынешней королевы с Елизаветой Тюдор: "Ни та ни другая не росли в ожидании короны". Елизавету Тюдор Генрих VIII объявил незаконнорожденной и не имеющей права на трон. Жива она осталась только благодаря высоким моральным принципам Марии Тюдор; в любой другой королевской семье ее бы казнили. На трон Елизавету посадила банда заговорщиков, и они же отрубили голову законной наследнице Марии Стюарт. Все газеты превозносят Елизавету Тюдор, подлейшую из представительниц слабого пола.

Думаю, что правление Георга VI войдет в историю моей несчастной отчизны как самое пагубное со времен Матильды

и Стефана[80]. Любопытная деталь. Король скончался в ту самую минуту (быть может, минутой позже), когда принцесса Елизавета впервые в жизни надела слаксы. Герцог Виндзорский лишился трона не столько из-за супружеской неверности, сколько из-за своего берета. <...>

Нэнси Митфорд
День труда, 1 мая 1952 — *Клуб "Уайт"*

"Мир хижинам — война дворцам"

Дорогая Нэнси,

дом в Ирландии найти не удалось — и это первое, за что я должен благодарить Господа в Его бесконечной ко мне милости. Желание жить в этой стране может возникнуть либо у лишившегося рассудка, либо у любителя лисьей охоты. Домá, за исключением полудюжины исторических зданий, построены из рук вон плохо, к тому же ни в одном из них нет комнаты для прислуги: в то время, когда они строились, ирландские слуги спали на кухонном полу. Местные крестьяне недоброжелательны. Их улыбки фальшивы, как у дьявола. Их священнослужители годятся им, но не иностранцам. Угля нет. Никто ничего не умеет и не хочет делать. Нет ни одного местного жителя, который смог бы сделать простейшую работу. Школ для детей нет. Жить за пределами своей страны имеет смысл только в том случае, если есть уверенность, что когда-нибудь пустишь корни и будешь доживать свой век за границей. Но тогда почему не на Ямайке? Почему не на Сицилии? Не в Калифорнии? Всю жизнь находиться в пути, как евреи. <...>

Нэнси Митфорд
27 июля 1952 — *Пирс-Корт*

Дражайшая Нэнси,

в настоящее время мои поклонники досаждают мне не слишком. В среднем одно письмо в день, не больше. Не будет, однако, преувеличением сказать, что они мне осточертели. Разделяю их письма на следующие категории.

(а) Робкое выражение восхищения. Пишу в ответ открытку следующего содержания: "Я счастлив, что Вам понравилась моя книга. И. Во".

(б) Наглая критика. На письмо не отвечаю.

(в) Зануды, которые порываются рассказать о себе. Пишу: “Спасибо за интересное письмо”.

(г) “Техническая критика”, скажем: “Почему Ваш герой едет в Сейлсбери с Паддингтона?” Отвечаю: “Огромное спасибо за Ваше ценное замечание”.

(д) Скромные потуги будущих писателей. Если письмо мне понравилось, в ответном письме стараюсь лишить автора уверенности в себе. Если не понравилось, отвечаю вежливой открыткой.

(е) Просьба прочесть лекцию в университетском клубе. Отказ, напечатанный на машинке.

(ж) Просьба прочесть лекцию в католическом клубе. Согласие.

(з) Американские студенты с литературного факультета, которые пишут обо мне диссертацию и хотят, чтобы я написал ее за них. Отказ, напечатанный на машинке.

(и) Туристы, которые напрашиваются в гости. Отказ, напечатанный на машинке.

(к) Рукопись, предваряемая просьбой дать совет. Отсылаю обратно без комментариев.

(л) Открытки с приклеенными на них моими фотографиями. Пересылаю их монашкам.

(м) В случае получения дерзких писем от замужних женщин пишу письмо мужу, в котором предупреждаю, что его супруга пытается вступить в переписку с незнакомыми мужчинами.

Да, и, конечно же,

(н) Собиратели автографов. Оставляю без ответа.

(о) Индусы и немцы: просят прислать экземпляры моих книг. Бесплатно. Оставляю без ответа.

(п) Очень богатые американцы. Отвечаю вежливым письмом: они ведь могут себе позволить купить 100 экземпляров на рождественские подарки.

Вот Вам мои корреспонденты.

С любовью, И.

Нэнси Митфорд
25 августа 1952

Дражайшая Нэнси,

к вопросу о том, как тяжело французы переживают утрату близких. Мадемуазель Караваджо недавно рассказала мне,

что ее отец скончался после долгой и тяжелой болезни в возрасте 91 года. "Шок" был столь велик, что она упала на улице и расшибла голову.

...Вот Вам мой сюжет. У некоего мужчины (это может быть и женщина) довольно необычное имя — скажем, Грегори Пек. Человек он ничем не примечательный, хотя и с некоторым положением, ну, скажем, библиотекарь в Палате лордов или крупный колониальный чиновник. Он из тех, чье имя появляется в газете всего раз в жизни — когда публикуется объявление о его браке. В один прекрасный день жена ему говорит: "Как забавно, дорогой, появился новый киноактер с твоим именем". Актер становится знаменит. Поначалу друзья и коллеги лишь подсмеиваются над моим героем. Но потом его жизнь становится сущим адом. Он уходит в отпуск, снимает отель в Скарборо, и весь город сбегается его приветствовать. Когда же выясняется, что он не актер, в отеле приходят в бешенство. И т. д., и т. д. Его имя в списках претендентов на рыцарское звание, но его вычеркивают, поскольку награда будет выглядеть нелепо, и т. д. Затем его жена увлекается актером-однофамильцем и к мужу охладевает. Первые три четверти книги — его полный крах. В последней же четверти он берет реванш. Думаю, он должен стать столь же знаменитым, ради чего торгует наркотиками, вступает в коммунистическую партию, предается противоестественным порокам и пр. и тем самым наносит тягчайший удар карьере своего тезки. В конце романа они могут встретиться, оба бедствуют, оба поменяли имя, они становятся друзьями, не понимая, что́ их роднит. Что скажете? Не хотите воспользоваться?

Энн Флеминг[81]
1 сентября 1952 *Пирс-Корт*

Дорогая Энн,

завтра еду в Лондон подписывать экземпляры романа "Люди при оружии"[82]. Вы уже книгу мельком видели, но экземпляр я вам пошлю все равно. Разумеется, не трудитесь благодарить. Еще успеете, ведь это лишь первый номер в мюзик-холле, цель которого лишь подготовить зрителей, пока они занимают места. Если я когда-нибудь допишу эту вещь и если кто-нибудь прочтет следующие два тома, мною задуманные, — вот тогда будет, о чем говорить. Я был бы не против финансового успеха, но ждать его не приходится — в Америке, во всяком случае. Конкуренции здесь у меня нет, за исклю-

чением Энгуса Уилсона, чей роман "Цикута и после"[83] я прочел трижды, считаю его *исключительно* умным и рецензирую в "Месяце".

Как Вы думаете, мне продолжать писать? А почему бы и нет? Делать мне больше нечего, да и сочинительство, когда выздоравливаешь, доставляет удовольствие. <...>

Хуже нет, когда все дети дома. Вы, впрочем, не из тех, кому следует жаловаться на детей. Страсть, которую я испытываю к своей десятилетней дочери, становится маниакальной. Интересно, испытаете ли Вы нечто подобное в отношении Вашего сына? Рук от нее оторвать не могу. Учится она хуже некуда, и каждый день ей задают упражнения по письму. В данный момент она уткнулась носом в тетрадку и выводит: "Пикассо — омерзительная тварь. А Сартр — просто осел".

Кстати, я слышал на днях по радио Люсьена Фрейда[84], и, по-моему, он тоже осел.

Да, вышла еще одна хорошая книга, перевод переписки Клоделя и Жида. Впрочем, Вы, наверно, читали ее по-французски.

На днях ездил в Кембридж — чудесный городок. И почему о нем ничего не слышно? Он куда симпатичнее современного Оксфорда. Поехал из-за печальных изменений, происходящих вокруг нас в середине жизни. Сапожник, который шил мне обувь на заказ на протяжении двадцати семи лет, разорился и бросил работу. Мне порекомендовали некоего мистера Трасселла — судя по всему, он действительно сапожник экстракласса. Когда я сидел у него и он измерял мне ногу, в мастерскую ворвалась босоногая миссис Уолстон, подруга Грэма Грина. Пронеслась по комнате, заглядывая в коробки, и извлекла оттуда округлый ботинок, похожий на те, что надевали лошадям на копыта, чтобы косить траву. "Никогда не видела ничего более шикарного!" Мистер Трасселл: "Это, мэм, моя собственная обувь, к сожалению, у меня деформированная нога". Миссис Уолстон: "Вы просто обязаны сделать мне точно такую же пару". Каково? Разве дед Вашего Фрейда ничего не писал по этому поводу?

Отправился к ней домой, где она живет с мистером Уолстоном (в котором я замечаю неутешительное сходство с собой). Дом — полная чаша, и не самая аппетитная. После обеда он достал коробку гигантских сигар, из тех, которые не тянутся и которым отдают предпочтение люди вроде Корда́[85], и сказал: "Я вам эту сигару не предлагаю, просто подумал, что вы захотите на них взглянуть".

Лоре Во
21 декабря 1952 *Отель "Мандори", Гоа*[86]

Дорогая моя Лора,

прошла неделя, с тех пор как мы расстались. Мне же кажется, что гораздо больше. Жаль, что тебя здесь нет, — ведь у тебя сейчас середина зимы. А здесь жарко, правда, не так, как летом в Италии. Почти все время дует прохладный ветерок. Красота необыкновенная: острова, широкие реки, океан, горы. Все или зеленое, или красное. Под моей верандой протекает река, по ней плывут арабские парусники с Персидского залива. Люди здесь мягкие и дружелюбные. Правительственные чиновники так же тупы, как большинство чиновников в большинстве стран. Ходил на коктейль, а верней на виски к генерал-губернатору. Дамы сидели полукругом в центре гостиной. Каждая вновь прибывшая обменивалась рукопожатием с каждой из присутствующих, после чего присоединялась к мужчинам на веранде. Точно как в Голливуде — вот только пить здешним дамам было нечего. Повсюду сотни барочных церквей — похоже на Мексику с той лишь разницей, что скульптуры здесь не со свирепыми лицами, а с кроткими и радушными.

...Повстречал паломников из Читтагонга, рассказал им, что там похоронен мой дед. Обещали, что разыщут его могилу и помолятся за упокой его души.

Индусы необычайно радушны. В первый же день утром, когда я брился, появился местный чиновник со словами: "Все жители Гоа спрашивают, как вы спали". Плохо только одно: дьявольский шум в гостинице, которая еще достраивается. Шум такой, что даже читать невозможно. Я, впрочем, почти весь день отсутствую.

Как же мне тебя жаль — сидишь в своем ледяном доме.

Индусы почитают коров ничуть не меньше, чем ты.

С любовью, Ивлин.

Лоре Во
5 января 1953 *Мисор*

Дорогая моя Лора,

Индия похожа на Стинкерс. По садам, поедая цветы, бродят коровы. Низшие классы называют меня "master"[87], что для меня вполне привычно. Все воскресенье проскучал в Банга-

лоре. За обедом угостил кьянти двух итальянских иезуитов. Пришли в неописуемый восторг. Один из них сказал: “Когда я сегодня утром ходил к мессе, мог ли я думать, что за обедом буду пить кьянти!” И то сказать, не об этом надо было думать.

В баре повстречал англичанина. Сказал ему, что приехал посмотреть на храмы. “Индуистская религия, — говорит, — сплошной секс. И обратите внимание, для них секс вовсе не отвратителен, не то что для нас с вами. Они считают его прекрасным”.

Сегодня ездил в Серингапатам — о нем ты можешь узнать, если изучишь историю Албемарл-хаус. Дворец султанов Типу как две капли воды похож на “Павильон” в Брайтоне; посмотрел — и меня потянуло домой.

Завтра поеду бог весть куда смотреть скульптуру. Очень утомительно и дорого. Потом планирую податься еще дальше на юг в Мадуру, а оттуда — в Бомбей и домой.

Престарелый индус сбрил мне усы. А также состриг почти все волосы, потом стиснул мой лысый череп обеими руками и постарался его раздавить, после чего сделал попытку сломать мне шею и больно сдавил руки. По всей вероятности, все это входит в процесс, именуемый “стрижка” в этой экзотической стране.

Все здешние женщины очаровательно одеты, они столь женственны, что всем европейкам впору стать лесбиянками. У мужчин же вид, как правило, пренелепый. Единственно достойные люди — здешняя прислуга.

Боюсь, что в Бангалоре я повел себя невежливо: местный чиновник пришел меня приветствовать и отвел в похожий на дворец гостевой дом для почетных гостей, но дом показался мне неуютным, и я съехал. <...>

Индийские отели по-своему роскошны. Одноместный — по нашим понятиям — номер состоит из трех комнат и ванной. Кормят отменно. Выпивка стоит так дорого, что впору ввести Сухой закон.

С любовью, И.

Нэнси Митфорд
17 сентября 1953 *Пирс-Корт*

Дорогая Нэнси,

какая же Вы странная девушка! Ваш magnum opus завершен, и Вы не радуетесь. Мне бы так. И Вы не нуждаетесь в деньгах? А вот мои дети голодают, одежда моя в лохмотьях и сваливается

с моего исхудавшего тела. Вам бы на улице танцевать, а не греться на солнышке. Солнце — опаснейший враг рода человеческого. В цивилизованные времена все от него прятались. О да, я знаю, Вы мне на это скажете, что Людовик XIV лежал нагишом на крыше Версальского дворца в окружении обнаженных кардиналов и герцогинь, — но я Вам не поверю. <...>

Что Вам известно про Бельгию? Собираюсь взять Лору с собой, дабы лишить ее удовольствия собирать традиционный осенний урожай. Бельгийцы по-прежнему к нам расположены, я правильно понимаю? В мире осталось немного мест, где англичан не побивают каменьями. Что, бельгийцы и в самом деле позорно повели себя со своим королем? Мне про них мало что известно. У них, кажется, имеются недурные картины, не правда ли?

Читаю толстенную биографию Диккенса, автор, конечно же, американский профессор[88]. Подробнейшим образом описывает каждую котлетку, которую классик съел, каждую речь, которую он произнес на всех без исключения банкетах. Вы знали, что это был совершенно непереносимый человек?

Школьные каникулы были мучительны, но, по счастью, они близятся к завершению.

С тех пор как Вы видели меня последний раз, я сильно похудел. И, пожалуй, похорошел.

С любовью, И.

Редактору "Дейли мейл"
Вторник, 24 ноября 1953 *Клуб "Сент-Джеймс"*

П. Г. Вудхауз

Мистер Иддон задает вопрос: "Помните Вудхауза?" ("Дейли мейл", 11 ноября). Ответ от истинных любителей художественной литературы: "Да. Каждую его книгу мы ждем с нетерпением и постоянно перечитываем его великолепные произведения".

Далее мистер Иддон пишет: "В моем архиве имеется его 'объяснительное письмо'". Насколько я понимаю, речь идет об абсолютно удовлетворительном ответе мистера Вудхауза на нападки, которые затрагивают его честь и касаются его поведения во время войны[89]. Мистер Иддон ставит словосочетание "объяснительное письмо" в кавычки и этим дает понять, что объяснения мистера Вудхауза подозрительны. Но поскольку это письмо стало сейчас общественным достояни-

ем и более в архиве мистера Иддона не скрывается, эти издевательские кавычки (если мистер Иддон имел в виду издевательство) лишены всякого смысла.

Теперь, когда мистер Вудхауз опубликовал, наконец, истинные факты своего дела, Би-би-си следовало бы пригласить инициатора нападок на Вудхауза, чтобы тот принес свои извинения одному из самых блестящих из ныне здравствующих английских стилистов.

Ивлин Во.

Лоре Во
3 февраля 1954 *Мыс Святого Викентия*

Дорогая, как жаль, что тебя со мной нет. Когда доберусь до Кенди, приеду быстро. Ревматизм мой гораздо лучше. Сегодня 3 февраля, а мы еще не вошли в Средиземное море. Голова прояснилась, но еще слаба. Теперь совершенно ясно, что я уже полгода травлюсь хлоралом, и мое безделье, возможно, продлится и после того, как кончится недомогание. Вернусь домой и какое-то время буду вести полубезумное существование. Россетти из-за хлорала в пятьдесят лет предпринял попытку самоубийства, приведшую к частичному параличу и слепоте. Мы всего этого избежим. Даже в таком письме мне трудно соединять слова в предложения. Снотворное я не принимаю уже третью ночь, отчего сплю урывками и часто просыпаюсь. Поэтому хорошо, что я нахожусь в одиночестве, — ты не в счет, разумеется. Когда просыпаюсь — а происходит это раз двадцать-тридцать за ночь, — смотрю на соседнюю кровать и огорчаюсь, что тебя нет рядом. Что удивительно, ведь спим мы в разных комнатах.

Пароход комфортабельным не назовешь, да и кормить могли бы сытнее — хорошо, что аппетита нет. Пассажиров немного, люди в основном приятные. Хуже всего — шум в моей каюте. Такое впечатление, что через нее проходят все трубы и вентиляционные решетки. Из соседней каюты до меня доносятся передачи третьей радиопрограммы, и двое едва слышно называют мое имя, отчего у меня развивается мп [мания преследования], и тогда начинает казаться, что обо мне шепчутся и другие пассажиры[90]. Если привычная сельская жизнь на свежем воздухе не сотворит чуда, пойду к психиатру. Но сейчас мне хочется только одного — поскорей вернуться к тебе.

Ивлин.

Лоре Во
8 февраля 1954 *Отель "Континенталь-Савой", Каир*

Дорогая Лора,

вчера в Порт-Саиде получил от тебя два письма. Радости моей не было предела. Мне каждый день тебя ужасно не хватает, и я решил, что больше без тебя никогда никуда не поеду. Твои молитвы очень помогли мне в трудное время. Как видно, я отравился гораздо сильнее, чем думал. Потом, когда начал приходить в себя, обнаружил, что стал жертвой телепатического эксперимента и почувствовал, что схожу с ума. Когда вернусь, все тебе расскажу. После всего случившегося начинаю верить в черный ящик Дианы Олдридж.

Шарж Уильяма Хьюисона

Сейчас жду самолета в Коломбо. Там за работу не сяду. Главное сейчас — поправиться. В деньгах у нас недостатка нет, и забивать себе голову работой пока не буду. Здоровье — прежде всего.

Бедная, у тебя ведь жуткий холод. Скоро будем мерзнуть вместе. Не помню, что я писал тебе на пароходе и писал ли вообще. Большую часть времени я пребывал в полубреду, а потому, что бы я там тебе ни писал, не придавай этому значения — кроме нежной любви. Сейчас спать стал, пожалуй, лучше и крепче. И есть тоже стал понемногу, на пароходе же кусок в рот не лез. Рука больше не трясется, проклятая телепатия прервалась — как знать, может, еще вернется. Пожалуйста, не волнуйся из-за слова "телепатия". Я знаю, выглядит это, как острая мп, но видения меня преследуют, уверяю тебя. Полумесмеризм, который изобрели экзистенциалисты, тревожнее всего, когда он является больному без всякого предупреждения и объяснения.

Шлю тебе, дорогая Лора, уверения в нежной любови. Напишу из Коломбо. Объясни детям, что я им не писал, так как был нездоров.

Прилечу, как только дома будет летная погода.

И.

Нэнси Митфорд
5 мая 1954 *Пирс-Корт*

Дорогая Нэнси,

у меня хорошие, нет, великолепные новости: все мои дети наконец-то разъехались по своим школам и колледжам. Моя противоестественная страсть ко второй дочери поубавилась, и теперь все мои дети антипатичны мне одинаково. С детьми, как с зачатием: удовольствие мимолетно, поза смехотворна, расходы непомерны. <...>

Сомневаюсь, чтобы Москва показалась Вам похожей на Нью-Йорк. Наглые выходки местных жителей Вам, во всяком случае, не грозят. В Москве нет телефонов, приглашений, философских рассуждений таксистов и лифтеров, интервью, собирателей автографов и т. д. — всего того, чем отвратителен Нью-Йорк. В Москву Вас приглашают, исключительно чтобы скрасить одиночество дипломатов и рассказывать им сплетни о свободном, ха-ха, мире. <...>

Хочется надеяться, в Москву Вы поедете не одна. С тех пор как по дороге на Цейлон я лишился рассудка, я принял решение никогда никуда не ездить без сопровождения. <...>

П. Г. Вудхаузу
29 декабря 1954 *Пирс-Корт*

Дорогой доктор Вудхауз[91],

четверть века назад случилось непоправимое: Эдит Ситуэлл спустилась ко мне с небес, подобно благостному орлу, и сказала: “Мистер Во, Вы можете называть меня Эдит”. После чего я пять лет не смел к ней обращаться. Вот и к Вам, мой дорогой и почитаемый мастер, я не могу обратиться “Дорогой Плам”, но Ваша открытка необычайно меня порадовала.

Надеюсь, Рождество у Вас было более веселое, чем у нас. В нашем доме свирепствовал грипп, не очень тяжелый, но обременительный, и мрак рассеивался лишь тогда, когда “Дживз и феодальный дух” переходил от одного больного к другому.

В этом году в Америку приеду вряд ли. Эту страну имеет смысл посещать, когда тебе сопутствует успех, моя же книга, которую я только что дописал[92], рассчитана исключительно

на внутреннее — островное — пользование. Есть ли надежда увидеть Вас в Англии?

Глубоко уважающий Вас Ивлин Во.

Грэму Грину
5 декабря 1955

Пирс-Корт

Дорогой Грэм,

огромное спасибо за "Тихого американца". Я уже с восхищением роман прочитал и даже его отрецензировал[93]; скоро Ваш архив пополнится еще одной журнальной вырезкой. Боюсь, мне не удалось скрыть отвращение к Фаулеру. Какой же он все-таки негодяй! Надеюсь, однако, что я дал понять: Ваша книга первоклассна. <...>

Маргарет Во
Март 1957

Кум-Флори-Хаус[94]

Грустная история

Жила-была одна прескверная маленькая девочка. У нее было плоскостопие, круглые плечи, и она грызла ногти. Многие принимали ее за свинку. Но добрый папочка очень любил ее, и вот однажды, когда он радовался жизни в клубе "Уайт", от нее пришло письмо, в котором она просила его вернуться домой. Так он и поступил. Но когда он приехал, в доме толпились рабочие, и было очень неуютно, и тогда похожая на свинку дочка сказала, что жить будет со своими тетками, и бабушкой, и двоюродными братьями и сестрами, а не со своим бескорыстным папочкой. Он ужасно обиделся, но любил ее по-прежнему.

И вот настало время, когда у этой прескверной девчонки не осталось ни теток, ни бабушки, ни двоюродной сестры, и ей пришлось играть с такими же девочками-свинками, как она сама. И тогда она написала красивое стихотворение, в котором просила отца навестить ее. Стихотворение отцу очень понравилось, ему очень хотелось повидать дочь, да вот беда: он познакомился с бедным, больным, совсем одиноким священником и обещал, что отвезет этого святого человека на море далеко-далеко отсюда. И вот в Пепельную среду он едет туда и останавливается в Торки, в отеле "Империал", за

много миль от Аскота, где бы он с куда большим удовольствием проводил время со своими любимыми дочерьми.

Мораль. Лови момент, пока твой папа куда-нибудь не уехал. Другие люди, у кого не осталось в живых ни теток, ни бабушек, ни двоюродных братьев и сестер, нуждаются в его обществе больше, чем свинки.

Энн Флеминг
28 августа 1958

Кум-Флори-Хаус

<...> Голодом меня морили дважды[95] – сначала это сделал краснолицый человек по имени Левита, директор туристического агентства. Я взял билет через Остенде на "Таверн-экспресс". Пароход приплывает в Остенде в восемь вечера. Спрашиваю: "Я могу поужинать в поезде?" – "О да". – "Позаботьтесь об этом". Левита позаботился – позвонил куда-то по телефону и обнадежил меня: вагон-ресторан в поезде непременно будет. Когда я добрался до Остенде, то оказалось, что вагон-ресторан прицепят в семь утра в Штутгарте. Следующим вечером я должен был выступать в мюнхенском театре с восьми до девяти. Время ненадежное. Говорю консулу: "Имеет мне смысл поужинать до выступления?" – "Нет, после выступления состоится банкет в вашу честь, на который я приглашен". В театр я приехал в восемь, выпив перед отъездом в отеле в полном одиночестве несколько коктейлей. Устрашающего вида гунн говорит: "Боюсь, в Баварии мы не очень-то пунктуальны". Отвели меня в артистическую. Обстановка, в отличие от роскошного зрительного зала, вполне функциональна. В 8.30 входят еще несколько устрашающего вида гуннов. Один из них заявил, что скажет "несколько вступительных слов". Сели на сцене за занавесом. Гунн вышел на авансцену и что-то говорил, и говорил, и говорил. А зрительный зал смеялся, и смеялся, и смеялся. В 8.45 из-за занавеса на сцену вытолкнули меня. Роскошные люстры, ложи и т. д. Битый час читал отрывки из своих книг. Поклонился. Устрашающего вида гунны зааплодировали. Вернулся за занавес, ожидая, что меня будут приветствовать, благодарить, поздравлять. Ни души. Сел на сцене в обрамлении оперной декорации Рекса Уистлера. Сидел до десяти. В десять явились два гунна-пролетария в комбинезонах и стали тушить свет. Поехал в отель, благо он был неподалеку, и направился было через холл в "Ватершпиль", но тут меня остановил еще один устрашающего вида гунн: "Нет, нет, вам сюда". Завел в затрапезного вида гостиную, где сидели, переговариваясь на своем тарабарском наречии, де-

сять гуннов и консул. Не дождавшись, пока они наговорятся, спрашиваю консула: “Как насчет моего ужина?” — “А вы что, разве еще не ужинали? У нас в Мюнхене ужинать принято рано. — Что-то сказал главному гунну и повернулся ко мне: — В этой части отеля горячие блюда не подаются”. — “Тогда пусть принесут что-нибудь холодное”. Очередной раунд переговоров на тарабарском наречии. “А что бы вы хотели из холодных закусок?” — “Все что угодно: консомме, лососину, форель, утку с персиками”. Опять тарабарщина. “Он говорит, что в этой части отеля эти блюда заказать нельзя”. — “В таком случае ради всего святого принесите то, что заказать можно”. — “Выпить вы бы тоже что-нибудь желали?” — “Да, желал”. — “Что?” — “Пиво” (в голосе отчаяние). После долгого ожидания принесли светлое пиво в винном бокале. А также оловянный поднос с двумя кусочками черного хлеба с чем-то, отдаленно напоминающим копченую селедку. И поднос поставили не передо мной, а на столик, за которым сидели две немки, мгновенно оба бутерброда проглотившие. “Понимаете, это наш средний класс”, — сказал консул. После чего я поднялся к себе в номер, где обнаружил, что в мое отсутствие у меня украли семнадцать фунтов.

Лоре Во
4 марта 1959 *Танга, Танганьика*

Дорогая,

минуло всего пять недель с тех пор, как я сказал тебе “до свидания”, а кажется, будто времени прошло гораздо больше. Я — совершенно другой человек: всю меланхолию как рукой сняло. Увидимся через пять недель и три дня. Теперь напишу не раньше, чем через неделю: завтра возвращаюсь на побережье, а там такая жара, что не будет сил даже водить пером по бумаге. Мы в машине втроем: я, пожилой бригадир и приятель Джека Дональдсона, веселый парень, сапёр. Они переезжают из одного правительственного лагеря в другой и берут интервью у перепуганных чиновников. Я же охочусь за достопримечательностями. Их тут немного: жирафы, страусы, темнокожие и перепуганные чиновники. Один день провел в племени Масаи. Этот народ любит виски, сходит с ума по коровам, табаку и южноафриканскому шерри. В отличие от В., они раскрашивают себя охрой, целыми днями причесываются и прихорашиваются. Все они носят копья, щиты и дубинки, живут в птичьих гнездах из грязи и только ждут провозглашения независимости, чтобы перерезать своих соседей. Во время восста-

ния Мау-Мау они повеселились вволю. Их завербовали, поступил приказ вернуться с оружием, отвоеванным у Кикуйу, и они вернулись, с гордостью неся корзины с отрезанными руками[96]. Вчера побывал у Чагга, их соседей, которых они хотят истребить в первую очередь, поскольку племя это богатое и образованное. Образованное настолько, что меня — поверишь ли? — приветствовал чернокожий с magnum opus Стоппа[97] в руках. Я должен был обедать с верховным вождем, который сказал: "Не наряжайтесь. Приходите в лохмотьях". Родился он в глинобитной хижине, а теперь у него новенькая вилла с пятью уборными, которые он мне продемонстрировал. А также — богатую коллекцию галстуков, сложенных в специально для них построенном шкафу, шесть радиоприемников, много бутылок спиртного и альбом с фотографиями увеселений по случаю коронации королевы. Весьма жизнерадостный субъект, гораздо общительнее басуто. <...>

Достать здесь курево — задача не из легких. Все курят только трубку. Бригадир не расстается с трубкой, даже когда принимает душ.

С любовью, И.

Джону Монтгомери
20 июля 1959 *Кум-Флори-Хаус*

Как Вам известно лучше, чем мне, из большинства кинематографических проектов ничего не получается. Думаю, что американцы снимут совершенно чудовищный фильм по "Офицерам и джентльменам" и "Людям при оружии". Тем не менее критиковать их я не собираюсь — при условии, что они хорошо заплатят. Просьба только одна: не упоминать в прессе мое имя, пока деньги не поступят на счет. У нас уже были с этим проблемы.

И. В.

Энн Флеминг
17 февраля 1960 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая Энн,

надеюсь, это письмо придет до Вашего отъезда. Только что получил Ваше веселенькое послание. Наслаждался жизнью за счет "Дейли мейл". Сначала вместе с Лорой прожил три недели в Венеции, которую в январе видел впервые: печаль-

но, туманно, пусто, тихо, ни одного американца. Намного прелестнее, чем летом. Потом отправились в Монте-Карло: прохладно, солнечно, опять же ни одного янки, зато сколько угодно приличного вида европейцев. Эсмонда[98] встречал дважды в день: суетлив, как кролик. Похож как две капли воды на Кауарда из "Нашего человека в Гаване"[99]. <...> Объявился Рэндольф [Черчилль. — *А. Л.*] "Ты что здесь делаешь?" — "Освещаю алжирский мятеж".

Ведет себя паинькой — давит отцовский авторитет. Лора купила книгу "Подводные камни в азартных играх, и как их избежать", и после этого каждый вечер выигрывала небольшие суммы, причем в "новых франках", что особенно ценно. После чего отбыла домой к своим коровам. Я же отправился в Рим, где только и разговоров что о фильме "Сладкая жизнь". <...> А потом поспешил домой, так как газеты писали, что будет забастовка, и мне вовсе не улыбалось закончить свои дни в Кале, подобно красавчику Бруммелю. Только добравшись до Дувра, я узнал, что забастовка отменилась. А потому продолжил путешествовать — отправился с Маргарет в Афины. <...>

Дэвиду Райту[100]
21 апреля 1960

Кум-Флори-Хаус

Дорогой мистер Райт,

спасибо за последний номер "X" и за Ваше сопроводительное письмо, столь вежливое и трогательное, что я счел своим долгом объяснить, почему я вынужден отказаться от сотрудничества с Вами.

Я не видел статьи в "Критикал куотрели", не слышал и о журнале. Мало того, листая Ваш журнал, я обнаружил: абсолютное большинство молодых писателей, о которых говорится в превосходной степени, мне совершенно неизвестны. Что свидетельствует о том, сколь плохо я ориентируюсь в сегодняшней литературе. Не думаю, впрочем, что это можно поставить в вину пожилому писателю. Всегда найдутся болтуны и сплетники, которые, несмотря на свой солидный возраст, исправно посещают международные культурные конгрессы и силятся не отстать от новейших культурных веяний. Немногие из таких литераторов сумели обратить на себя внимание критики. Писатель должен себя найти до пятидесяти лет. После этого он читает исключительно для удовольствия, а не из желания узнать, что пишут другие. Говорю это вовсе не из пренебрежения молодыми, не из зависти к ним. Все гораздо про-

ще: их вкусы и достижения для творчества состоявшегося писателя несущественны.

Часто говорят о “сложностях”, которые приходится преодолевать начинающим авторам. Быть может, Вам было бы небезынтересно услышать о “сложностях”, которые выпадают на долю писателей пожилых (в этом случае Вы вправе опубликовать это письмо). Писатель среднего возраста хорошо знает свои достоинства и недостатки и, как правило, хорошо представляет, что ему предстоит написать. Наряду с этим он, случается, пишет актуальные статьи в газеты и журналы. Он может сотрудничать либо с популярными изданиями, либо с малотиражными. В первом случае его статья будет до неузнаваемости изуродована редактором и переназвана самым непотребным образом — но зато ему заплатят в двадцать раз больше, чем заплатил бы человеколюбивый заказчик. Немолодой писатель вынужден выбирать между тщеславием и жадностью. Жадность не всегда эгоистична. У пожилых людей много домочадцев. И их не стоит резко критиковать, если они решают пожертвовать своим тщеславием.

Следует помнить, что многие писатели решают не только литературные задачи — бывают задачи политические, локальные, религиозные и так далее, и эти задачи они также должны в своем литературном труде учитывать.

Время от времени немолодой писатель хочет высказать свое мнение на какую-то общую тему — тогда он пишет письмо в “Таймс”. Если же он желает поделиться своим мнением о книге, то пишет рецензию в одну из еженедельных газет; рецензию, которую прочтут его друзья и знакомые, ведь обращается он, прежде всего, именно к ним.

Вот почему я искренне желаю Вам успеха, однако сомневаюсь, чтобы наше сотрудничество было плодотворным. Будем откровенны, Вы ведь писали мне вовсе не потому, что Вас интересовало *мое* мнение, а потому что надеялись, что *имя* человека, печатающегося больше тридцати лет и, стало быть, известного читателям, которые при прочих равных не стали бы покупать “Х”, могло бы, появившись на обложке, привлечь их внимание.

Искренне Ваш Ивлин Во.

Мюриэл Спарк
11 октября 1960 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая мисс Спарк, и как Вам это удается? Я потрясен “Холостяками”[101]. Большинство прозаиков (особенно юмори-

стов) считают, что написать они способны книги только одного типа — и сочиняют одно и то же до самой смерти. Ваш же ресурс поистине неистощим. "Холостяки" — умнейшая и изящнейшая из всех Ваших умных и изящных книг. Совершенно себе не представляю, каким был Ваш путь к успеху. Подозреваю, что Вы и по сей день принадлежите к той категории авторов, которых читают в основном друзья и знакомые, после же "Холостяков" путь к славе Вам открыт. И пусть эта слава доставляет Вам радость. Если Ваш издатель хочет Вас разрекламировать до появления рецензий, он может процитировать меня на обложке: "Я потрясен 'Холостяками'" или же поместить любой другой панегирик по своему усмотрению.

Искренне Ваш Ивлин Во.

Редактору журнала "Спектейтор"
18 ноября 1960 *Кум-Флори-Хаус*

"Леди Чаттерлей"

Сэр, мистер Левин[102] признается, что запамятовал, какова судьба картин Лоуренса. Возможно, он точно так же забыл, что́ на этих картинах изображено. А может, и вообще их никогда не видел?

Я же некоторые картины запомнил. Прекрасно помню выставку Лоуренса, ибо именно тогда я убедился, что как живописец Лоуренс никуда не годится. Книги его мне никогда не нравились, но в те дни я с бо́льшим уважением относился к моде, чем теперь, и готов был признать, что в своих суждениях недальновиден. Тогда-то я и увидел эти жалкие картины. Бедняга совсем не владел кистью, о чем даже не подозревал, те же, кто аплодировал его книгам, с не меньшим энтузиазмом превозносили его живопись. Вот тогда я и начал понимать, что произведение искусства — это не распрекрасные идеи или глубокие чувства (хотя и то и другое — его сырой материал); это ум, мастерство, вкус, пропорции, знания, дисциплина и усердие; дисциплина — прежде всего. Сколько бы у автора ни было учеников, компенсировать эти качества они не смогут.

Преданный Вам Ивлин Во.

Нине Бурн[103]
6 сентября 1961 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая мисс Бурн,

спасибо за “Поправку-22”. Жаль, что книга произвела на Вас столь сильное впечатление. В ней найдется немало мест, не пригодных для женских глаз. Книга не только мало пристойна, но и излишне многословна; она бы только выиграла, если бы автор сократил ее вдвое, и, прежде всего, это касается деятельности Мило: эти страницы следовало бы убрать вовсе или безжалостно сократить.

Вы напрасно называете “Поправку” романом. Это собрание набросков, часто повторяющихся и бессистемных.

Диалоги по большей части и в самом деле смешны.

Можете меня процитировать: “Разоблачение коррупции, трусости и грубости американских офицеров шокирует всех друзей вашей страны (в том числе и меня) и доставит нескаванное удовольствие вашим врагам”.

Искренне Ваш Ивлин Во.

Нэнси Митфорд
2 февраля 1963 *Отель “Ройял Вестминстер”, Ментона*

Дражайшая Нэнси,

“Дьявол! — скажете Вы (или на Вашем космополитическом наречии — “Merde![104] ”). — Опять он пишет! Ну сколько можно! Вот ведь зануда!”

Не беспокойтесь, это письмо в ответе не нуждается. Пишу от ощущения неизбывного одиночества, которое перестанет меня терзать, когда Вы получите сие послание и вернется Лора. С тех пор как она отбыла в Неаполь, я ни с кем не произнес ни слова.

Я, как Вы знаете, никогда не был особенно словоохотлив, однако 30 лет назад я мог прислушиваться к тому, о чем судачили лягушатники, и даже произнести несколько маловразумительных слов. Теперь же я нахожусь как будто среди китайцев. С трудом подбираю слова, в том числе и английские, — мой запас слов трещит по швам. <...>

Отель весьма недурен, но я дохну от скуки и бесплодия. Ходил в кино и понял, что Вы имели в виду, когда по совсем

другому поводу сказали: "Хуже нет, чем сидеть на краю". Я не разобрал тогда Вашего почерка и прочел: "Хуже нет, чем сидеть в раю". Прочел и удивился. Из фильма "Офелия"[105] не понял ни единого слова. Героиня — хуже не бывает.

Сегодня собираюсь в Salle de marriages[106], он находится в городской ратуше и расписан Кокто.

В казино заняты все стулья. Я же, когда играю, люблю сидеть, но ставлю немного. Терпеть не могу выкрикивать крупье свои ставки, стоя за спинами многочисленных старух, обступивших стол в несколько рядов.

Не отвечайте.

И.

Энн Флеминг
7 августа 1963 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая Энн,

...каждый день выжимаю из своей прошлой жизни несколько капель отчаянной скуки[107]. Одновременно пишу предисловие к американскому изданию "Собственника" Голсуорси. Читали? Не читайте. Это был последний английский прозаик, получивший всеобщее признание. В действительности же он нестерпимо скучен. Я-то надеялся, что презирал его из-за своего юношеского снобизма. Но нет. Он никуда не годится.

Я ведь дал Вам совет относительно Вашего родового поместья. Вы им пренебрегли. И теперь потерпите финансовый крах и станете жертвой клаустрофобии. <...>

Маргарет Фиц-Герберт[108]
9 августа 1964 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая Свинка,

Пруста я читал только в переводе. По-моему, начинал он неплохо, но со временем спятил, как и Дж. Джойс в "Улиссе". Никакого плана. Нэнси [Митфорд. — *А. Л.*] говорит, что все им написанное невероятно смешно и что только англичане и американцы ставят его выше П. Г. Вудхауза.

Молись за меня.

И. Во.

Леди Диане Купер[109]
17 сентября 1964 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая Диана,

это печальное письмо. Когда мы молимся, мы не просим, а даем. Даем свою любовь Богу и ничего не просим взамен. И принимаем всё, что Он дарует нам Своей милостью. Не "Пожалуйста, Господь, даруй мне счастливый день", а "Пожалуйста, Господь, удостой меня чести принять все мои сегодняшние страдания". Господь в подачках не нуждается. Вы когда-нибудь каялись? Сомневаюсь. Ничего удивительного, что Вы хандрите. Вы верите в Инкарнацию и Искупление так же, как верите в исторический факт битвы при Эль-Аламейне? Это важно. Вера — не настроение.

Получил от Кэтрин нагоняй за непристойный отрывок в "Недоучке". На рецензентов мне наплевать. Вы и она — вот чье мнение я ценю.

С любовью, Бо.

Энн Флеминг
10 ноября 1964 *Кум-Флори-Хаус*

<...> Меня Испания необычайно утомила, Лору же, наоборот, взбодрила. По правде сказать, у меня нет больше никакого желания путешествовать. Я слишком стар для приключений с верблюдами и каноэ, а туристический бизнес сделал все цивилизованные места на свете неотличимыми друг от друга. Разумеется, в Испании сколько угодно великолепных произведений искусства и архитектуры, но для человека, который не говорит на их языке, тамошняя жизнь очень пресна. Больше одного произведения искусства в день человеческому рассудку не усвоить. Еда перестала быть аппетитной или несъедобной. Она — по крайней мере, на туристических курортах — стала такой же гигиенической и безвкусной, как отрава под целлофаном, которую разносят на подносах и ставят нам на колени в самолетах. <...>

Энн Флеминг
27 января 1965 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая Энн,

наши с Вами последние письма встретились в пути.

Я являюсь обладателем зубной щетки, но при отсутствии зубов щетка — вещь необязательная, она подобна диадеме,

которой владеет дама, никогда не покидающая порога собственного дома. По счастью, в Лондоне нашелся человек, который вставляет зубы, я ему написал и заказал себе искусственную челюсть. Сомневаюсь, чтобы он успел все сделать за один раз, поэтому в Лондоне в ближайшее время буду бывать часто и, надо надеяться, Вас увижу. В это время года я обычно езжу за границу, но ехать никуда не хочется. Может быть, коль скоро у меня теперь будет, чем есть, стоит заказать гастрономический тур. Когда-то я был знаком с одним стариком, который, поужинав, закрывал лицо салфеткой, долго давился, а потом поднимал голову и беззубым ртом шамкал, что не может отведать портвейн, когда во рту у него искусственные зубы. Я смотрел на него с нескрываемым ужасом.

Последние две недели мою подъездную аллею истоптали мальчишки-почтальоны с чрезвычайно выгодными предложениями от газет прокомментировать кончину сэра Уинстона Черчилля. Я, конечно же, отвечал отказом. Черчилль был не тем человеком, к которому я питал уважение. Он вечно нес ахинею, окружил себя мошенниками, был никуда не годным отцом — не более чем "радиознаменитостью", пережившей свою славу. Вот уж действительно "сплотил нацию"! В 1940 году я служил в действующей армии, и как же мы все ненавидели его выспренные речи! <...>

Скорее всего, среди редакторов газет, которые хотели, чтобы я описал похороны сэра Уинстона, прошел слух, что когда-то я написал книгу о похоронах в Калифорнии[110].

Здоровье мое с нашей последней встречи поправилось, и, если Вы готовы совершить утомительное путешествие в дом без прислуги и без парового отопления, Вам будет оказан самый теплый прием.

Надеюсь, Вы по своей опрометчивости еще не вышли замуж?

Всегда преданный Вам И. В.

Алеку Во[111]
6 марта 1966 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогой Алек,

спасибо за письмо. Газеты, как водится, все переврали. Я действительно весь прошлый год бездельничал и хандрил, но галлюцинаций у меня не было. По глупости, подписал контракты на четыре книги[112] (а не на одну), и эта задача представляется

мне теперь абсолютно невыполнимой. Кроме того, мне вырвали много зубов, а жевать твердую пищу искусственными особого удовольствия на доставляет. Перспектива угодить в объятия международного туризма меня не прельщает, поэтому свою деревню покидать не собираюсь. Но рассудок я не потерял и серьезно болен не был.

Все мы кончим тем, что будем учить американцев[113]. Помнится, когда-то я видел пьесу про Оклахому. По-моему, они не слишком разборчивы. В то же время, насколько я понимаю, американские старшекурсники заражены мятежным духом. <...>

Леди Мосли[114]
30 марта 1966 *Кум-Флори-Хаус*

Дорогая Диана,

остерегайтесь мне писать. На письма я отвечаю исправно. И никогда никуда не езжу и не звоню по телефону. Потомственное занудство, возведенное в степень. Последние двадцать лет своей жизни мой отец только и делал, что писал письма. Если кто-то благодарил его за свадебный подарок, он благодарил своего корреспондента в ответ, и обмен благодарностями могла прервать только смерть. Нэнси [Митфорд. — *А. Л.*] притворилась, что слепнет — лишь бы я от нее отстал.

Не подумайте только, что "Работа прервана" — это карикатура на Вас. Это не столько Ваш портрет, сколько мой собственный; это не Вы, а я, в Вас влюбленный. Между Вами и моей героиней нет решительно ничего общего, если не считать беременности. Ваша беременность была на моей памяти первой, которой я был свидетелем.

Экземпляр этой книги я отправил Вам, когда Вы сидели за решеткой. Уверен, Вы меня достаточно хорошо изучили и никогда не поверите, чтобы я мог в такое время послать Вам книгу, где Вы выведены в карикатурном виде.

Вы тепло пишете о моих военных романах. Они есть у Вас в окончательной версии, собранные в один том? Если нет, пришлю Вам книгу на Пасху. За вычетом кое-каких сокращений, она мало чем отличается от предыдущих изданий.

У Джона Сатро[115] были галлюцинации, ему казалось, что он обнищал, и его лечат электрошоком.

В свое время Пасха очень много значила для меня. Это было до папы Иоанна и его Совета — они уничтожили красоту литургии. Я еще не дошел до того, чтобы облить себя бензином и

вспыхнуть синим пламенем, но теперь за веру я цепляюсь исключительно по привычке, без всякой радости. Церковь я посещаю просто из чувства долга. До той поры, когда ее возродят, я не доживу. Она ухудшилась во многих странах.

Пожалуйста, отвечайте лишь в том случае, если хотите получить от меня “Меч почета”.

С любовью, Ивлин.

Комментарии

1. Дадли Кэрью (1903–1981) – журналист, поэт и критик, соученик И. Во по Лансинг-колледжу, частной школе в окрестностях городка Лансинг, графство Суссекс, где И. Во учился с мая 1917-го по 1921 г. после окончания начальной школы Хит-Маунт в Хэмпстеде.

2. В январе 1922 г. Во поступил в оксфордский Хартфорд-колледж, где проучился до лета 1924-го, получив диплом бакалавра гуманитарных наук третьей степени.

3. Гарольд Эктон (1904–1994) – литератор; автор стихов (сборник “Аквариум”), двухтомной автобиографии (“Мемуары эстета”), художественной и исторической прозы; выпускник Оксфорда. Выведен в образе Энтони Бланша в романе Во “Возвращение в Брайдсхед”.

4. В 1925–1927 г. Во работает учителем в различных школах, в том числе и в школе в Северном Уэльсе, что нашло отражение в его первом романе “Упадок и разрушение” (1928).

5. Остин Осман Спейр (1886–1956) – английский художник и оккультист.

6. Здесь: из преисподней (*лат.*).

7. Огастес Детлоф Питерс (1892–1973) – литературный агент Ивлина Во.

8. Роман И. Во “Мерзкая плоть” вышел в начале 1930 г. в лондонском издательстве “Чепмен-энд-Холл”, где работал директором-распорядителем отец Во, писатель и критик Артур Во (1866–1943).

9. Этой фразой начинается книга Лоуренса Стерна “Сентиментальное путешествие по Франции и Италии” (1768).

10. Уильям Никол Рафхэд (1905–1975) – литературный агент; работал вместе с Питерсом; учился в Оксфорде вместе с И. Во.

11. Роман “Мерзкая плоть”.

12. И. Во многие годы дружил с семейством Лайгонов. С графом Хью Лайгоном (1904–1936) Во учился в Оксфорде и переписывался с его сестрами, с леди Мэри Лайгон (1910) и леди Дороти Лайгон (1912). У леди Мэри было прозвище Блондинка (Blondy), у леди Дороти – Пустышка (Coote) и Попка (Poll).

13. После развода с первой женой Ивлин Гарднер (1903–1966), с которой Во прожил всего два года (1928–1930), писатель одно

время живет близ Чагфорда в гостинице "Истон-Корт", в крытом соломой фермерском доме XIV века, вместе со своим оксфордским приятелем, литератором Патриком Бальфуром, бароном Кинроссом (1904–1977).

14. Некоторые свои письма, в частности – Лайгонам, И. Во подписывал Б., или Б. О., или Боаз.

15. Путешествие И. Во в Британскую Гвиану и Бразилию продолжалось с декабря 1932-го по май 1933-го.

16. Да Благословит Вас Бог.

17. "Пригоршня праха" (1934).

18. Прототип главного героя – майор Ирландской гвардии Мурраг О'Брайен.

19. Графиня де Жанзе в 1922 г. вышла замуж за знакомого Во, журналиста Филлиса Бойда.

20. "Белый дом" (*франц.*).

21. В сентябре 1933 г. И. Во знакомится в Италии со своей будущей женой Лорой Герберт (1916–1973), дочерью политика, члена парламента Обри Герберта (1880–1923), на которой женится в апреле 1937 г.

22. В 1935 г. И. Во посещает Абиссинию во второй раз – в качестве военного корреспондента "Дейли мейл", освещающей итало-абиссинскую войну.

23. Имеется в виду роман Во "Черная напасть".

24. В отличие от других британских СМИ, "Дейли мейл" придерживалась проитальянских позиций.

25. Джон Патрик Дуглас Бальфур (1904–1976) – историк-востоковед, журналист; в 1930-е был корреспондентом газеты "Ивнинг стандард".

26. Мэри – мать Лоры; Гэбриел – ее старшая сестра, Бриджет – младшая.

27. 20 нобяря 1935 г. Бриджет выйдет замуж за издателя Эдди Гранта.

28. Летом 1937 г. И. Во с женой переселяются в купленный писателем дом Пирс-Корт в Стинчкоме, графство Глостершир.

29. В соавторстве с Уистоном Хью Оденом Кристофер Ишервуд (1904–1986) написал книгу зарисовок и репортажей "Путешествие на войну" (1938) – результат их совместной поездки в Китай, подвергшийся японской агрессии. Ивлин Во откликнулся на книгу разносной рецензией, в которой, среди прочего, назвал писания Одена "невразумительными и скучными" (Mr. Isherwood and Friend // Spectator. 1939. № 5778 (March, 24), p. 497). За Одена вступился его друг, поэт, публицист и критик Стивен Спендер (1909–1985), опубликовавший в следующем номере журнала "Спектейтор" полемическое письмо, в котором заявил, что рецензия Во "не имеет ничего общего с литературной критикой" и что она вызвана исключительно его "злобой" и "ядовитой завистью" к Одену (Spectator. 1939. № 5779 (March, 31), p. 536).

30. В декабре 1939 г. Во вступает в ряды Королевской морской пехоты в чине младшего лейтенанта, участвует в учениях в Чатэме, Кингсдауне (графство Кент), Бизли.

31. Эрни Лотинга (1876–1951) – английский комик и киноактер.

32. Морское сражение возле устья реки Ла-Плата, в котором английские корабли повредили немецкий тяжелый крейсер "Адмирал граф Шпее". После боя команда затопила поврежденный корабль, а капитан застрелился.

33. Джон Бетджемен (1906–1984) – поэт, эссеист, журналист; в 1972 г. удостоен звания "поэт-лауреат"; друг и корреспондент И. Во.

34. В отсутствие хозяев в Пирс-Корт с октября 1939 г. разместились монашки Доминиканского ордена.

35. Генерал-майор Сент-Клер Морфорд (1893–1945) – командир бригады Королевской морской пехоты, куда в декабре 1939 г. Ивлин Во был зачислен в чине младшего лейтенанта. В дневнике писателя дан карикатурный портрет Сент-Клера, предвосхищающий гротескные образы британских военных из трилогии "Меч почета": "... выглядит он так, будто только вчера убежал из тюрьмы Синг-Синг, а говорит, как четвероклассник; зубы у него как у горностая, уши как у фавна, глаза горят, как у ребенка, играющего в пиратов" (запись от 18 января 1940 г. цит. по: Во И. Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Из дневника / Пер. А. Ливерганта. М.: Текст, 2013. – С. 209).

36. Редьярд Киплинг "Сказки просто так" (1902).

37. В августе 1939 г. Ахмад Хассанян был назначен главой королевского кабинета. В 1946 г. погиб в автокатастрофе.

38. Имеется в виду английский прозаик, поэт, критик Роберт Грейвз (1895–1985) и его автобиография "Прощание со всем этим" (1929).

39. В феврале 1941 г. Во отплывает на Ближний Восток, 19–20 апреля высаживается на побережье Ливии, в конце мая в качестве офицера разведки участвует в обороне Крита.

40. Рэндольф Черчилль (1911–1968) – журналист, сын Уинстона Черчилля; приятель И. Во.

41. Первая жена Рэндольфа Черчилля.

42. Мелодраматический роман о судьбе лондонской проститутки в викторианскую эпоху, написанный в 1940 г. английским прозаиком Майклом Сэдлиром (1888–1957).

43. В 1938 г. Патрик Бальфур женился на Анджеле Калм-Сеймур.

44. Нэнси Митфорд (1904–1973) – писатель, критик, автор многих романов и биографий, близкая приятельница и постоянная корреспондентка И. Во и его первой жены Ивлин Гарднер. Во время войны работала в книжном магазине в Лондоне, после войны переселилась в Париж. В отличие от консерватора Во, придер-

живалась левых убеждений, что порой провоцировало его на подтрунивание и критические выпады.

45. В 1942 г. Во проходит курс ротных командиров в Эдинбурге; в Шерборне служит офицером разведки при штабе бригады.

46. Роберт Лейкок (1907–1968) – командир десантников, в составе которых одно время воевал И. Во; его близкий друг.

47. Сирил Коннолли (1903–1974) – писатель, критик, журналист; в 1939 г. вместе со Стивеном Спендером основал литературный журнал "Горизонт", где печатались Джордж Оруэлл, И. Во, У. Х. Оден.

48. Брендан Брэкен (1901–1958) – министр информации в правительстве У. Черчилля.

49. "Возвращение в Брайдсхед".

50. В феврале 1944 г. Во был назначен адъютантом к генералу Томасу, однако испытательный срок не прошел и вернулся в Чагфорд.

51. Осенью и зимой 1944 г. И. Во находится в Топуско (Хорватия) в составе британской миссии, после чего в качестве офицера связи переведен в Дубровник, где осуществляет связь между английскими войсками и югославскими партизанами.

52. В июле 1944 г. самолет, в котором И. Во и Рэндольф Черчилль летят в Югославию, терпит аварию, и писатель проводит месяц в больнице в хорватском городе Топуско.

53. Имеется в виду роман Митфорд "В поисках любви", который И. Во редактировал.

54. Письмо написано в связи с выставкой Пикассо и Матисса, открывшейся 5 декабря в Музее Виктории и Альберта, и с откликами на нее в прессе.

55. В конце января И. Во получил письмо из журнала "Лайф", в котором сообщалось, что журнал предполагает поместить фотографии прототипов, с которых Во писал героев своих романов.

56. И. Во присутствовал на Нюрнбергском процессе в качестве почетного гостя с 31 марта по 3 апреля 1946 г.

57. Ноэль Кауард (1899–1973) – английский драматург, актер и композитор.

58. Фицрой Хью Маклин (1911–1996) – британский дипломат, разведчик и политический деятель; в 1943 г. был направлен на Балканы налаживать взаимодействие с партизанской армией Тито.

59. Честь мундира (*франц.*).

60. Типичный для Во образчик черного юмора: выражение "Бельзенская диета" (от названия печально известного нацистского концлагеря Берген-Бельзен) сродни отечественным фразеологизмам "крепыш Бухенвальда" или "душ генерала Карбышева".

61. У И. Во и Лоры было шесть детей, три мальчика и три девочки: Тереза (родилась в марте 1938 г.), Осборн (домашнее имя Брон, ноябрь 1939 г.), Маргарет (июнь 1942 г.), Харриет (май 1944 г.), Джеймс (июнь 1946 г.), Септимус (июль 1950 г.).

62. Персонаж романа Нэнси Митфорд “В поисках любви”.

63. После войны Нэнси Митфорд переехала во Францию, где прожила до конца жизни.

64. Имеется в виду парад в честь Дня победы, который широко отмечался в Англии по инициативе победивших на июльских выборах 1945 г. лейбористов во главе с Клементом Эттли (1883–1957).

65. Дж. Чутер-Ид (1882–1965) – министр внутренних дел в правительстве Эттли. Во время войны был председателем парламентского комитета по образованию.

66. Скорее всего, здесь имеется в виду возлюбленный Нэнси Митфорд, офицер движения Свободная Франция, а в дальнейшем – влиятельный французский политик Гастон Палевски (1901–1984), послуживший прототипом Фабриция де Советера, героя автобиографического романа Митфорд “В поисках любви” (1945); именно из-за него писательница перебралась из Англии во Францию.

67. Персонаж романа Митфорд “В поисках любви”.

68. В 1947 г. Уильям Сомерсет Моэм учредил премию в размере 500 фунтов стерлингов, которая присуждалась лучшим английским писателям в возрасте до тридцати пяти лет.

69. Повесть И. Во “Незабвенная” вышла в 1948 г.

70. Речь идет о программном эссе Ивлина Во “Медные трубы”. Перевод на с. 215 данного номера.

71. Имеется в виду рецензия Во на роман Грэма Грина “Суть дела” (Felix Culpa? // Commonweal. 1948. July 16, p. 322–325).

72. В рецензии Во пишет: “Думаю, мистер Грин считает Скоби святым”. Эпиграф к роману взят Грином у французского писателя-католика Шарля Пеги (1873–1914): “Грешник постигает самую душу христианства... Никто так не понимает христианства, как грешник. Разве что святой”.

73. Лоуренс Оливье (1907–1989) – английский актер. Фильм по “Незабвенной” (режиссер Тони Ричардсон, в ролях Джон Гилгуд и Род Стейгер) вышел на экраны в 1965 г.

74. И. Во приехал в США читать лекции осенью 1948 г. Лора присоединилась к мужу зимой 1949-го.

75. Сэр Кристофер Рен (1632–1723) – английский архитектор.

76. Джон Генри Ньюмен (1801–1890) – английский богослов, педагог, публицист; в 1845 г. перешел из англиканства в католичество.

77. Рональд Нокс (1888–1957) – английский богослов, писатель, друг И. Во, написавшего про него книгу.

78. И. Во побывал в Израиле и Иордании вместе со своим биографом и оксфордским другом, писателем Кристофером Сайксом (1907–1986).

79. То есть трилогию “Меч почета” (1965); в русском переводе “Офицеры и джентльмены”.

80. После смерти сына Вильгельма Завоевателя Генриха I Англию и Нормандию сотрясала гражданская война между наследниками: дочерью короля Матильдой (1102–1167) и его племянником Стефаном Блуаским (1092/96–1154; коронован в 1135 г.).

81. Энн Флеминг (1913–?) – жена писателя Иена Флеминга (1908–1964), автора романов о Джеймсе Бонде; приятельница И. Во.

82. Первый роман (1952) трилогии "Меч почета".

83. Цикута и после" (1952) – роман прозаика и критика Энгуса Уилсона (1913–1991), считавшегося своего рода преемником И. Во.

84. Люсьен Фрейд (1922–2011) – английский художник немецко-еврейского происхождения, внук Зигмунда Фрейда.

85. Александр Корда (1893–1956) – английский кинорежиссер.

86. И. Во ездил на Гоа на празднование 400-летней годовщины смерти миссионера святого Фрэнсиса Ксавьера.

87. "Хозяин" (*англ.*).

88. Эдгар Джонсон "Чарльз Диккенс" (1953).

89. Во время войны П. Г. Вудхауз, будучи интернирован в Германию, выступал по берлинскому радио. Подробнее об этом см.: Литературный гид: Дело Вудхауза // Иностранная литература. 2012. № 12. С. 4–137.

90. Во время путешествия на Цейлон у писателя, страдавшего бессонницей, из-за неумеренных доз барбитуратов и злоупотребления алкоголем возникали проблемы с психикой (ему мерещились голоса, ведущие с ним непрерывные разговоры, полные угроз и оскорблений). Избавиться от наваждения помогла литература: пережитое послужило сюжетной основой романа "Испытание Гилберта Пинфолда" (1957).

91. В 1939 г. Вудхауз стал почетным доктором литературы Оксфордского университета.

92. Трилогия "Меч почета".

93. Рецензия на "Тихого американца" была напечатана в газете "Санди Таймс" (Sunday Times. 1955. December 4, p. 4).

94. С 1956 г. и до конца жизни И. Во живет в доме Кум-Флори, в графстве Сомерсет, в 20 милях от Пикстона, дома родителей Лоры.

95. В этом письме И. Во описывает свою поездку в Мюнхен на празднование 800-летия города, где он выступил с чтением своих произведений.

96. Соль истории в том, что туземцы плохо знали английский язык, на котором слова "оружие" и "руки" пишутся и произносятся одинаково: "arms".

97. Монография Фредерика Стоппа "Ивлин Во: портрет художника".

98. Виконт Ротемир, бывший муж Энн Флеминг.

99. Ноэль Кауард исполнил одну из ролей в фильме Кэрола Рида, снятом по роману Грина в 1959 г.

100. Дэвид Райт вместе с Патриком Свифтом издавал литературный журнал “X”.

101. “Холостяки” (1960) — роман Мюриэл Спарк (1918–2006).

102. Речь идет о статье влиятельного английского публициста Бернарда Левина (1928–2004) “Леди Чаттерлей не для сожжения” (Spectator. 1960. № 6906 (November 4), p. 677–678).

103. Нина Бурн — сотрудница издательства “Саймон энд Шустер”, которая прислала И. Во на рецензию роман Джозефа Хеллера (1923–1999) “Поправка-22”.

104. “Дерьмо!” (*франц.*)

105. Фильм Клода Шаброля (1962), представляющий собой парафраз “Гамлета”.

106. Дворец бракосочетаний (*франц.*).

107. В это время И. Во работает над своей автобиографией “Недоучка” (“Little Learning”), которая вышла годом позже.

108. В 1962 г. дочь И. Во Магарет вышла замуж за сотрудника брокерской конторы, впоследствии политика, ирландца Джайлза Фиц-Герберта.

109. Леди Диана Купер (1892–1986) — актриса, жена политика, министра информации во время Второй мировой войны Альфреда Даффа Купера. Близкая приятельница И. Во, прототип миссис Стич в “Сенсации” и в трилогии “Меч почета”.

110. Имеется в виду повесть “Незабвенная”.

111. Алек Во (1898–1981) — старший брат Ивлина; романист, путевой очеркист и биограф.

112. О крестовых походах, о папстве, книгу из американской истории и второй том автобиографии.

113. Алек Во получил приглашение в Оклахомский университет в качестве “писателя-резидента”.

114. Адресат письма — Диана Митфорд (1910–2003), жена лидера британских фашистов сэра Освальда Мосли; во время войны вместе с мужем находилась в заключении; после войны переехала во Францию.

115. Джон Сатро (1903–1985) — журналист, актер, кинопродюсер; оксфордский друг И. Во.

Медные трубы

Перевод Николая Мельникова

На протяжении семнадцати лет мои книги довольно регулярно, хотя и без особого шума, издавались в Соединенных Штатах. Никто их не замечал. Ко мне на стол периодически ложились бандероли с моими произведениями в странных суперобложках, а иногда и со странными заглавиями[1]; в бухгалтерских счетах моего агента появлялся пункт "незаработанный аванс[2] за американское издание" — на этом все и заканчивалось. Теперь же, в совсем неподходящее время, я обнаружил, что написал бестселлер — словно пугливая утка, высидевшая драконово яйцо. "Неподходящее", потому что время, когда конечный результат приносит какое-либо существенное вознаграждение, уже ушло. В цивилизованные времена неожиданный взрыв популярности обеспечил бы меня на всю оставшуюся жизнь. Но, по всей видимости, в цивилизованные времена не стоит добиваться такой популярности. Политики, если можно так выразиться, конфисковали мои доходы, так что мне достались лишь письма читателей.

Шарж Виктора Вейза

Это для меня в диковинку: у англичан не принято писать незнакомым людям. Более того, сейчас они вообще очень редко пишут письма: они перегружены работой. Даже перед войной редко можно было увидеть или услышать английского читателя. Надо признать, что писатели, осознающие собственную

© 1946 The Estate of Laura Waugh
© Николай Мельников. Перевод, 2016

1. Американские издатели действительно нередко меняли заглавия произведений Ивлина Во, исходя из сугубо коммерческих интересов и не считаясь с мнением автора. Например, книги путевых очерков "Наклейки на чемодане" (1930) и "Далекие люди" (1932) в Америке вышли под названиями, соответственно, "Холостяк за границей" и "Они все еще пляшут". Рассказ "Тактические занятия" при публикации в нью-йоркском журнале "Good Housekeeping" был переименован в "Желание". (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Незаработанный аванс — ситуация, при которой общая сумма гонорара автора за произведение не превышает полученный им аванс.

никчемность, свободно могут присоединяться к литературным группировкам, выступать с лекциями и даже красоваться на званых обедах, но никто от них этого не требует и не питает к ним за это уважения. Вместо привычных для Америки Свободы, Равенства и Братства Европа предлагает художникам Свободу, Неодинаковость и Уединенность. Возможно, поэтому лучшие американские писатели уезжают в Европу. Но, как говорил Гитлер, в современном мире нет островов. Я моментально возбудил любопытство американцев, убежденных в том, что в стоимость книг входит дружеское участие и доверительность автора.

Отец учил меня, что оставлять письма без ответа преступно. (В самом деле, его учтивость была несколько экстравагантна. Отец был в состоянии писать благодарственные письма людям, отблагодарившим его за свадебные подарки, и, когда нарывался на такого же педанта, как и он сам, переписка кончалась только со смертью корреспондента.) Поэтому я охотно пользуюсь предоставленной возможностью сразу ответить на все те задушевные вопросы, которые получил в последнее время. Поверьте, милые дамы: не лень или "чванливость" мешают мне ответить вам лично. Просто мне это не по средствам. Сумма потиражных, оставшаяся после налоговых вычетов, без преувеличения не позволяет мне оплатить почтовые марки.

Желаете знать, как я выгляжу? Извольте. Я коренастый, вполне здоровый мужчина сорока двух лет... — нет, решительно не могу продолжать. Позвольте только добавить, что лондонские портные, парикмахеры и торговцы трикотажными изделиями Сент-Джеймского прихода делают все возможное, чтобы мое появление на улице совершенно не привлекало внимания. Встаньте у окна моего клуба, внимательно изучите мелькающие за ним аквариумные лица и попытайтесь определить, кто там писатель. Меня вы не опознаете. Один мой приятель сетовал на то, что я обращаю на себя внимание, когда появляюсь в районе Блумсбери. Но когда я бываю в Лондоне, то редко покидаю район Сент-Джеймс, да и вообще не слишком часто выбираюсь в Лондон. Живу я за городом, в обветшавшем каменном доме, в котором нет ничего моложе ста лет, за исключением водопровода, — и тот не работает. Бережливо, но бессистемно собираю старые книги. В моем владении стремительно пустеющий винный погреб и сад, быстро превращающийся в джунгли. Я счастлив в браке. У меня целая куча детишек, с которыми общаюсь по десять минут в день — минут, внушающих им благоговение, я надеюсь[1]. В первые десять лет

1. В дневниковых записях 1940-х гг. Ивлина Во можно найти малоприятные признания в холодности к собственным детям: "Мои дети утомляют меня. Воспринимаю их недоразвитыми взрослыми; нерадивы, агрессивны, легкомысленны, чувственны, лишены чувства юмора" (1 января 1946 г.); "Присутствие моих детей утомляет и угнетает меня. До обеда я их не вижу: завтракаю в одиночестве в библиотеке, а эту часть дома они обучены обходить стороной" (23 декабря

моей взрослой жизни у меня было множество друзей. Теперь, в зрелом возрасте, в год я приобретаю дружбу одного, а расстаюсь с двумя. Видите, все довольно скучно: нет ничего такого, куда любитель достопримечательностей мог бы ткнуть зонтиком.

Прежде я жил иначе. В молодости я много путешествовал; тогда и в безумные годы Второй мировой войны я приобрел такой опыт, что его хватило бы на несколько писательских жизней. Если романист говорит вам, что должен собирать "прототипы", то будьте уверены — он плохой писатель. Большинство великих писателей прожили короткую жизнь. Если они, подобно Сервантесу, испытали множество приключений, то не по своей воле. Я же скитался и общался с дикарями, светскими людьми, политиканами и сумасшедшими генералами, поскольку они были мне интересны. Теперь я угомонился, потому что они мне наскучили и мной овладела куда более сильная привязанность — английский язык. Мой отец, некогда считавшийся влиятельным критиком, первым привил мне страстное желание изучить тот язык, которым владел с таким совершенством, — самый богатый и утонченный из известных человечеству. Существует постоянная угроза его оскудения, однако он так долго живет благодаря тому, что представители высшего культурного общества, говорившие на нем, придавшие ему авторитет и святость, взаимодействовали с горстью энтузиастов, которые обогатили и облагородили его своими творениями. Первые уже уничтожены. Если язык будет сохранен, то благодаря вторым.

Я вовсе не собирался быть писателем. Изначально предметом моих мечтаний была живопись. Мои способности к ней были весьма скромными, но я любил рисовать, как, наверное, многие бесталанные авторы обожают писать. Я учился в художественной школе, что вовсе не было пустой тратой времени, как мне казалось потом. Часы, проведенные у гипсовых слепков, научили меня любить архитектуру, точно так же, как часы, отданные древнегреческому языку, ныне забытому мной, научили меня наслаждаться, читая по-английски. Вплоть до недавнего времени писательский труд не приносил мне удовольствия: я ленив, а писать книги — чрезвычайно трудное дело. Я хотел быть "человеком мира" и взялся за сочинительство точно так же, как, возможно, выбрал бы археологию или дипломатию, или любую другую профессию в качестве средства примириться с ним. Теперь всему этому настал конец. Большинство европейских писателей после сорока переживают кризис. До той поры их поддерживает юношеская словоохотливость. После они превращаются либо в пророков, либо в борзописцев, либо в эстетов. (Американские писатели, я полагаю, почти все становятся борзописцами.) Я не пророк и, надеюсь, не борзописец.

1946 г.). Цит. по: *И. Во.* Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным. Из дневника / Пер. А. Ливерганта. — М.: Текст, 2013. — С. 330, 343.

Думаю, это и есть ответ на второй вопрос, который так часто мне задают в последнее время: “Когда вы напишите еще одно ‘Возвращение в Брайдсхед’?”. Милые дамы, никогда. Льщу себя надеждой, что никогда не привлеку ваше внимание подобным образом. Я уже избавился от одного американского критика, мистера Эдмунда Уилсона, который однажды снисходительно заявил, что интересуется моим творчеством. Он был глубоко возмущен (по его меркам, вполне обоснованно), обнаружив в моем романе присутствие Бога. Я убежден: вы можете обойтись без Бога, только если хотите превратить персонажей в чистые абстракции. В этом преуспели многие замечательные, а порой и лучшие в мире писатели. Последним был Генри Джеймс. Причина неудач наследовавших ему авторов, включая Джеймса Джойса, — непомерная самонадеянность. Они не довольствуются искусно выполненными созданиями, которые прежде с таким изяществом воплощали живых мужчин и женщин. Они пытаются представить сознание и душу человека во всей полноте, тем не менее упуская из виду главное, что определяет его характер: он творение Божие, созданное с определенной целью.

Поэтому следующие мои произведения будут отличать две особенности, которые уменьшат их популярность: забота о стиле и попытка более объемно изобразить человека, что, по-моему, подразумевает одно — в его взаимоотношениях с Богом.

Прежде чем мы расстанемся, попробую ответить еще на несколько вопросов. Леди из Хэмпстеда, Нью-Йорк, спрашивает: считаю ли я своих героев “типическими”. Нет, миссис Шульц. Меня ужасает ваш вопрос. Романисту нет дела до типов — они добыча экономистов, политиков, рекламщиков и представителей других скучных профессий нашего времени. Художника интересуют только индивидуальности. Государственный муж[1], заклеймивший наше время термином “век обычного человека”, отказывается замечать очевидный исторический факт: только художник, а отнюдь не государственный деятель, решает, кого считать героем времени. “Обычный человек” не существует. Он — абстракция, выдуманная занудами для зануд. Даже вы, дорогая миссис Шульц, — индивидуальность. Когда читаете рассказ, не спрашивайте себя: “Соответствует ли такое поведение той или иной возрастной группе, классу или психическому типу?”, а задайтесь вопросом: “Почему именно эти люди ведут себя именно так, а не иначе?”. В противном случае вы понапрасну потеряете время, читая творения авторской фантазии.

Гораздо более осмысленный вопрос, который мне часто задают: “Ваши персонажи взяты из жизни?” В самом широком смысле, конечно же, да.

1. Автором ставшего весьма популярным выражения “век обычного человека” был американский государственный деятель Генри Эгард Уоллес (1888–1965), в 1941–1945 гг. вице-президент США в правительстве Ф. Рузвельта; впервые фраза прозвучала в его программной речи 1942 г. “Цена победы свободного мира”.

Все, за исключением одной или двух незначительных фоновых фигур, списаны с реальных людей; большинство персонажей появляются в результате слияния в единое целое бесчисленного количества разнообразных жизненных впечатлений и воображения. Мне всегда было нелегко извлечь чистую комедию или трагедию из грубого фарса, который разыгрывали окружающие меня люди. Мужчины и женщины, какими я их видел, выглядели бы неправдоподобно, если бы я их запечатлел без каких-либо изменений. Например, журналисты, с которыми я общался на протяжении нескольких горячечных недель в Аддис-Абебе и затем попытался вывести в виде второстепенных персонажей "Сенсации". Или капитан Граймс из "Упадка и разрушения". Я знал этого человека[1]. Самая нелепая эскапада моей юности была следствием серьезной беседы с отцом о моих долгах, после которой я попытался добиться финансовой независимости и начал преподавать в частной школе. Здесь я встретил человека, который изрек, как мне показалось, афоризм: "Похоже, старина, прошедшая четверть была первой за два года, которую я отработал до конца". Но если бы я написал роман, в котором дал полный отчет о его проступках, то мы с издателем пошли бы под суд.

Что касается главных героев, то по-настоящему я ими почти не управляю. Я сажусь за работу, заранее предполагая, что они будут делать и говорить, но они постоянно поступают по-своему. Взять хотя бы миссис Лин, героиню романа "Не жалейте флагов!"

Вплоть до середины романа я понятия не имел, что она втайне от всех пьянствует. Я не мог взять в толк, почему она себя так странно ведет. Когда в одной из сцен она внезапно села на ступеньку кинотеатра[1], я все понял и вынуж-

1. Коллега Ивлина Во, некто мистер Янг, послуживший прототипом для Граймса, одного из самых колоритных персонажей романа "Упадок и разрушение" (1928). В своем дневнике Ивлин Во не раз упоминает Янга, который не скрывал своих "педерастических наклонностей: только и разговоров, что о красоте спящих мальчиков" (запись от 14 мая 1925 г.): "Его исключили из Веллингтона [закрытой школы для детей британских офицеров. — *Н. М.*], выслали из Оксфорда и заставили уйти из армии. От его услуг отказались четыре школы, три — в середине семестра из-за мужеложества, а четвертая — потому что он пил шесть дней подряд, не переставая. При этом он без труда устраивается на новое место, которое лучше предыдущего" (запись от 3 июля 1925 г.) (*И. Во.* Чувствую себя глубоко подавленным и несчастным... — С. 70, 72).

1. В третьей главе романа описывается, как "вдребезги пьяную" Анджелу Лин встретили возле кассы кинотеатра ее светские знакомые, после чего "по всему Лондону разнеслась весть, что выдержанная, циническая, отчужденная, безупречно одетая, донельзя исполненная чувства собственного достоинства миссис Лин <...>, которая вот уже пятнадцать лет являла собой высший и единственный в своем роде образец всего того, что американцы называют "уравновешенностью", — эта чуть ли не легендарная женщина была подобрана <...> в сточной канаве, куда, как она ни упиралась,

ден был вернуться к предыдущим главам, чтобы оставить целую батарею пустых бутылок в ее квартире. В то время я находился на борту транспортного судна. За столом рядом со мной сидел молодой командир миноносца, который может быть моим свидетелем. Однажды за обедом он спросил, как продвигается работа над книгой. Я ответил: "Плохо. Ничего в ней не понимаю. — И вдруг воскликнул: — Понял! Миссис Лин — пьяница".

Напротив, роман "Пригоршня праха" я начал с конца. До него я написал рассказ о человеке, ставшем пленником в джунглях и кончившем свои дни, читая вслух Диккенса[1]. Идея рассказа пришла после посещения уединенно жившего колониста и размышлений о том, как легко он мог бы сделать меня своим пленником. После публикации рассказа замысел продолжал развиваться. Я захотел показать, как пленник очутился в джунглях, и постепенно пришел к изображению другого вида дикарей, среди которых культурный человек оказывается в бедственном положении у себя дома.

Время от времени мне говорят: "Недавно встретил человека — точь-в-точь персонаж из вашей книги". Я встречаю их везде, причем случайно, не выборочно. Полагаю, весь мир населен моими персонажами.

До войны порой утверждали, что я, должно быть, имею дело с весьма специфической публикой. Затем я вступил в армию и прослужил там шесть лет, общаясь главным образом с кадровыми военными, которые славятся своим жестким единообразием. Я был потрясен тем, что командовали мной, ели со мной за одним столом совершенно не похожие друг на друга люди. Из чего я сделал вывод: такой категории как "нормальность" не существует. И это ставит перед писателем задачу: вобрав в себя, упорядочить бесформенный и грубый жизненный материал.

Отсюда вытекает последний вопрос: "Ваши произведения замышлялись как сатирические?" Нет. Сатира — продукт своего времени. Она предполагает общепринятые нравственные ценности и переживает расцвет в стабильном обществе, например, в ранней Римской империи или в Европе XVIII века. Она нацелена на безалаберность и лицемерие. Она утрирует и разоблачает жестокость и глупость политиков. Она стремится вызвать чувство стыда. Всему этому нет места в Век обычного человека, в котором порок уже не притворяется добродетелью. В наши дни у художника остается одна-единственная обязанность перед распадающим-

ее выбросили двое вышибал из кинотеатра, где она учинила пьяный дебош" (роман "Не жалейте флагов" цитируется в переводе В. Смирнова).

1. Рассказ "Человек, который любил Диккенса" (1933), впоследствии ставший главой романа "Пригоршня праха" (1934), был написан под впечатлением от визита на ранчо некоего мистера Кристи во время путешествия Ивлина Во по Британской Гвинее и Бразилии зимой 1933 г.

ся социумом: создать крошечный островок порядка в себе самом. Предвижу, что в наступившие темные времена писатели будут играть ту же роль, что монахи в эпоху раннего Средневековья, а они не были сатириками.

И последний вопрос: "Считаете ли вы 'Возвращение в Брайдсхед' вашей лучшей книгой?" Да. Роман "Пригоршня праха", мой прежний любимец, полностью был посвящен человеческим взаимоотношениям. Он был исполнен гуманизма и вобрал в себя все, что я должен был сказать о гуманизме. "Возвращение в Брайдсхед" — куда более амбициозное произведение, хотя, возможно, и менее совершенное. Но я буду гордиться тем, что попытался осуществить, независимо от похвал читателей или проклятий критиков. В частности, меня не слишком трогают обвинения в том, что я использую клише. Полагаю, что повышенное внимание к клише сродни одержимости столовым этикетом. Они возникают из-за того, что человек вращается в дурном обществе. Профессиональный обозреватель по долгу службы читает так много бездарных сочинений, что приобретает нездоровую страсть к броским фразам. Во множестве случаев сюжетному действию требуется неброский фон; когда важно то, что происходит на переднем плане, пейзаж *должен быть* условным, выполненным в традиционном стиле. Никогда не поверю, что серьезный писатель побоится использовать то или иное выражение только потому, что его употребляли раньше. Одни лишь рекламщики вечно пыжатся, чтобы подобрать вычурные эпитеты к обыденным предметам.

Не задевают меня и обвинения в снобизме. Классовое сознание, особенно в Англии, сегодня настолько взбудоражено, что произнести слово "аристократ" — все равно что сказать "проститутка" шестьдесят лет тому назад. Новоиспеченные блюстители нравов утверждают: "Без сомнения, такие люди еще существуют, но вскоре мы о них ничего не услышим". Я же сохраняю за собой право писать о том круге людей, с которым я лучше всего знаком.

Один критический выпад глубоко потряс меня: почтовая открытка от мужчины из Александрии, штат Виргиния (мой единственный американский корреспондент мужского пола). Он пишет: "Ваш роман 'Возвращение в Брайдсхед' — странный способ показать, что католицизм является ответом на все вопросы. Скорее, он смахивает на поцелуй смерти". Могу сказать одно: простите, мистер Макклоз, я старался. Мне не совсем ясно, что вы понимаете под выражением "поцелуй смерти", но уверен, что это нечто омерзительное. Что-то вроде плохого запаха изо рта? Если так, то я и впрямь потерпел неудачу, а мои неукротимые персонажи в очередной раз отбились от рук.

Life, 1946, April 8, p. 53–54, 56, 58, 60

Я всюду вижу одну лишь скуку

Перевод Анны Курт

С моей стороны было бы самонадеянно пытаться истолковать “глухо-немой язык Провидения”, как его метко назвал Винсент Кронин[1]. Я могу лишь предсказать, что нам предстоит в следующем десятилетии, если нынешние тенденции будут развиваться в том же направлении.

Должен признаться, что, когда я пытаюсь заглянуть в близкое будущее, меня охватывают дурные предчувствия. Угрозы физиков-ядерщиков, раздутые рекламной шумихой, меня не слишком тревожат: во-первых, я не возражаю против полного уничтожения нашей планеты. Лишь бы оно было непреднамеренным (что вероятнее всего). Если же это случится по злому умыслу, значит, кто-то будет в нем виноват. Даже хорошо информированный школьник знает, что мир когда-нибудь кончится. Единственное, в чем можно быть уверенным: огненная катастрофа будет неожиданной. Поэтому мы можем руководствоваться только одним твердым правилом: живи каждый день так, как будто он последний. Во-вторых, когда ученым и публицистам удается вызвать у нас озноб, они ощущают свою необычайную значительность. Я хорошо помню, какой вздор несли в 1938 году эксперты по химическому и бактериологическому оружию, как грозили крупномасштабными потерями от воздушных бомбардировок. И в-третьих, я не верю в то, что следующая мировая война разразится в то время, о котором мы сейчас говорим.

Шарж Джона Спрингса

Поэтому я боюсь не опасности, а скуки. И думаю, прежде всего, о нашем королевстве. В других частях света, несомненно, грядут ужасные события. Возникновение империй обычно связано с людскими страданиями, распад — тем более, и я

© 1959 The Estate of Laura Waugh
© Анна Курт. Перевод, 2016

1. Винсент Арчибальд Патрик Кронин (1924–2011) — английский историк, сын некогда популярного писателя Арчибальда Кронина; автор биографий Людовика XIV, Марии-Антуанетты, Наполеона I и других исторических деятелей; среди прочего, автор книги об итальянском миссионере-иезуите Маттео Ричи “Мудрый человек с Запада: Маттео Ричи и его миссия в Китай” (1955), откуда и взята цитата. (*Прим. перев.*)

убежден, что народы Азии и Африки, находившиеся под властью Великобритании, ждут большие бедствия. Но наша страна переживает период застоя, который продлится лет десять. Я не боюсь политических волнений или притеснений, предсказанных Оруэллом в "1984". Мы претерпели социалистический режим со всеми его прелестями: однопартийной системой власти, контролем над промышленностью, тюремным заключением без суда и следствия, принудительным трудом в шахтах и так далее — с 1940 по 1945 гг. Социалистическое правительство слегка ослабило этот режим, консерваторы — чуть больше. Лейбористы будут продолжать свою полезную деятельность и докучать вопросами кабинету министров, но не думаю, что избиратели когда-нибудь проголосуют за них.

Сейчас любят говорить о всеобщем изобилии и комфорте. Заметим, что обогащение коснулось лишь части населения — большой, но не самой примечательной. Почти все, кого я знаю, понесли убытки: скажем в тридцатые я зарабатывал около 3 000 фунтов стерлингов в год. Из официальных отчетов, представленных Министерством финансов в Государственное казначейство, видно: для того чтобы сохранить уровень жизни, который у меня был в 1938 году, я должен зарабатывать 20 750 фунтов. Чтобы заработать половину этой суммы, мне нужно трудиться не покладая рук, однако в документах значится, что мой доход сильно увеличился. Те, чьи доходы остались прежними, обеднели еще больше. Число людей и, соответственно, голосов на выборах, представляющих этот почти исчезнувший класс, незначительно; в ближайшее десятилетие их и вовсе не останется.

Не думаю, что нувориши сильно разбогатеют, но они готовы к тому, что весь мир ожидают лишения. Их огорчает только одно: живет ли кто-то богаче и лучше их. В финансовом отношении мы движемся к бесклассовому обществу.

Болезненное внимание, которое сейчас уделяют малейшим нюансам классовых различий, явственно ощутимо не только в популярных газетах, но и в серьезных еженедельниках. Это внимание — знак слабости, а не силы общественного устройства. Английское общество всегда было самым кастовым в Европе. Хорошо или плохо бесклассовое общество, но в Великобритании его никогда не было.

Самая неприятная тенденция, которую я сейчас наблюдаю, свидетельствует о том, что при нашей классовой системе вскоре может исчезнуть наш национальный характер. Многие считали его нелепым, кто-то — скверным, но он был очень самобытным, а его сила, юмор и достижения отличались необычайным разнообразием: города и графства были непохожи друг на друга, у жителей одной деревни были разные познания, привычки, мнения. В разных местах говорили на разных диалектах, отличавшихся интонационно и лексически, даже стиль одежды всюду был особым. Теперь все, что составля-

ло соль английской жизни и материал для нашего искусства, размывается. Когда я в последний раз был в галерее "Тейт", там была представлена серия гипсовых слепков с работ Матисса, показывающих постепенное исчезновение человеческого тела. Первый слепок изображал неуклюжую, но хорошо узнаваемую женскую спину, последний — чистый абсурд или абстракцию, а между ними усердный студент мог изучать стадии разложения в голове мастера. Нечто похожее происходит сейчас с англичанами.

Их уже трудно отыскать в Лондоне. Здесь живут те, чье проживание кто-то оплачивает. На улицах мелькают странные лица и слышатся чужие наречия, туристы заполонили отели, частных домов практически не осталось. Я преувеличиваю? Может быть, еще найдется с десяток домов, где за обеденным столом собирается больше двенадцати человек. Только не подумайте, что я какой-нибудь гуляка или светский лев. Мои познания я почерпнул из надежных источников: всякое гостеприимство носит теперь деловой или официальный характер.

Прежнее общество не было ареной политических и финансовых интриг, как его любили изображать. Это был мир, где люди развлекались и в то же время соблюдали правила приличия, требовали светских манер от представителей своего круга и от тех, кто им подражал, умели осадить наглеца, отличали славу от скандальной известности и от каждого работника ждали высокого мастерства.

Это был институт, столь же важный, как и монархия. Лондонское общество распалось. Его представители рассеялись: большинство из них удалились в свои загородные дома; остальных разбросало — от Центральной Африки до Вест-Индии. Те, кто его оживляли, покорились телевидению, которое умеет лишь отуплять и опошлять. Это свершившийся факт, и возродить былые традиции, кажется, невозможно.

Все это, естественно, не приносит радости издателю газеты, который ежедневно должен поставлять публике что-то новенькое и волнующее. Чем он будет заполнять свои колонки в последующие десятилетия? Я не вижу впереди ничего, кроме унылого однообразия. Практическая польза автомобиля сходит на нет. Предположим, хотя это маловероятно, он снова станет средством передвижения, и вся страна превратится в сплошную автостраду и автопарк, у людей не останется побуждающих стимулов куда-то ехать, поскольку все здания будут однообразными, в магазинах будут продавать одни и те же товары, все будут одинаковыми голосами говорить одно и то же. Пожилые, повидавшие мир люди едва ли захотят путешествовать. Раньше ездили за границу, чтобы посмотреть, как живут иностранцы, отведать незнакомых блюд и увидеть необычную архитектуру. Через несколько лет мир разделят на небезопасные зоны, куда можно будет проникнуть только с риском для жизни, и туристические маршруты, по которым можно

будет добраться до однотипных отелей: чистых, дорогих и второсортных.

Искусства? Здесь, слава Богу, ничего нельзя сказать с уверенностью. Мы на своем веку уже видели, как живопись и скульптура заглохли во всем мире, но человеческий дух может и воспарить. Но предположим, у нас в Англии вскоре появится гений. Останется ли он в своей стране? Награда за это будет ничтожной. Вокруг него уже не будет культурного мира, который мог бы развлекать и поощрять его. Наверное, он нас покинет, как это сделали многие в последние годы. Культура, изгоняющая художников, вместо того чтобы воздавать им почести, достойна всяческого сожаления. Он сбежит не потому, что будет искать славы и роскоши, — просто в новом обществе у него не будет стимулов для работы. Если он останется, то будет изгоем.

Подонки общества будут существовать всегда. При нынешнем росте преступности в Англии, она превысит уровень американской преступности в 1965 году, а в 1980-м — сицилийской. Зато издатели газет могут утешиться. Забастовки и тяжкие преступления на протяжении всей этой серой эпохи все еще будут главными новостями. Однажды нам расскажут о приключениях американцев или русских, прилетевших на Луну в герметичном космическом корабле, и это будет самое волнующее событие века. Господи, как скучно!

Но где-то около 1970 года мы прочтем о начале новой мировой войны. Большинство моих соотечественников будут ее приветствовать, увидев в ней спасение от скуки. Бедные твари, они забыли, что это такое. Но вскоре узнают. Эпоха закончится новым припадком социализма, более страшным, чем террор Черчилля—Эттли в начале сороковых годов нашего столетия.

Daily Mail, 1959, December 28

Человек, которого ненавидит Голливуд

О фильме *Месье Верду* Ч. Чаплина

Перевод Анны Курт

Шарж Феликса Топольски

Чарли Чаплин не просто непопулярен в Голливуде. Долгие годы он был жертвой организованной травли. Сообщество, мало отличающееся по своему нравственному уровню от обезьян в зоопарке, делает вид, что шокировано его мелкими прегрешениями. Его обвиняют, возможно не без оснований, в социализме и пацифизме. Он не участвует в благотворительных акциях, которые кинематограф периодически поддерживает. Любая дубинка сгодится, чтобы побить человека, подарившего миллионам больше чистой радости, чем все его коллеги вместе взятые.

Все очень просто: его ненавидят за то, что он великий артист. В Голливуде иногда прощают талант, но гения — никогда. Они выслеживают его, чтобы затравить до смерти. Как только стало известно, что Чарли Чаплин работает над новой лентой, прежде чем можно было что-то увидеть за пределами его тщательно охраняемой киностудии, критики уже приготовились заклеймить ее. Америка почти единодушно выступила против его нового фильма. Теперь эта волна докатилась до Европы. Я убежден в том, что мы должны оказать ему совсем другой прием.

Я посмотрел фильм на закрытом показе в Голливуде. Я шел туда, надеясь на один вечер вернуться в счастливую пору отрочества, а увидел потрясающее и зрелое произведение искусства. Не хочу сказать, что нашел в этом фильме милое моему сердцу “идейное содержание”. Там есть “идея”, но скорее неутешительная.

Европеец не может жить в изгнании и сохранить свой культурный уровень неиспорченным. Американские интеллектуалы — это, в основном, беженцы из Центральной Европы, и бедный Чарли подхватил у них пару убогих идей. Гении часто пробавляются самыми нелепыми идеями.

Чарли вложил в этот фильм всего себя. Он — сценарист, режиссер и продюсер в одном лице. На протяжении всей картины он постоянно в кадре. Все исходит от него, в том числе и абсурдные идеи, и непревзойденная актерская игра, и искусство рассказчика.

© 1947 The Estate of Laura Waugh
© Анна Курт. Перевод, 2016

Хорошо знакомый нам бродяга остался в прошлом. Его сменил вертлявый, старомодный, элегантно одетый французский буржуа, месье Верду, который промышляет тем, что женится и убивает своих "жен", чтобы завладеть их состоянием. Холодный профессионал, он мастерски, хотя и без особого удовольствия, выполняет свою работу и после каждого убийства возвращается к себе домой, где царит трогательная семейная идиллия.

Мы знакомимся с ним в саду, среди благоуханных роз; на заднем плане дымит мусоросжигательная печь, где он избавляется от только что убитой жертвы. А расстаемся у эшафота, где он — блестящий штрих — выпивает глоток рома, которого никогда прежде не пробовал, отчего его походка становится неуклюжей, а удаляющаяся фигура вызывает в памяти легендарные финалы чаплиновских фильмов, в которых маленький жалкий бродяга идет вразвалочку навстречу неведомой судьбе.

Между этими двумя сценами располагается череда великолепных выдумок; не будем их пересказывать, чтобы не испортить удовольствия зрителям. У другого режиссера повторяющаяся тема женоубийства могла бы стать назойливой. Здесь она не теряет свежести и не перестает изумлять.

Чарли Чаплин давно сошел с экранов. Появилось новое поколение зрителей, которые вообще его не знают. Для них фильм будет откровением, для нас — волшебным напоминанием о том, что перед нами — величайший актер всех времен, достигший творческой зрелости. Каждое движение он выполняет с точностью танцовщика. Посмотрите, как, шаркая ножкой, он демонстрирует качество паркета в доме, который пытается продать. А вот он накрывает стол на двоих, а потом вспоминает, что прошлой ночью успешно разделался с очередной жертвой, и оставляет один прибор для себя. Сравните эти мельчайшие, изысканные штрихи и приемы актерской техники с тем, что делают популярные звезды киноиндустрии, и вы поймете, почему против него все ополчились.

В фильме есть сцена с полицейским и бутылкой отравленного вина, которую я не хотел бы портить пересказом. Я просто хочу засвидетельствовать, что эта сцена — высшее достижение актерского и режиссерского искусства, какое мне довелось видеть.

Как я уже говорил, в фильме есть моменты надуманного философствования. Есть и неуместная сентиментальность. Но не будем чересчур привередливыми. "Месье Верду" — единоличное творение Чарли. В фильме играют и другие актеры, и все, за исключением тюремного капеллана, — превосходные, но они лишь воплощают выдумки Чаплина и служат для него фоном.

Успех или провал "Месье Верду" в Англии будет проверкой — не Чаплина, а нас с вами. Неужели мы настолько одурманены Голливудом, что утратили вкус к искусству высшей пробы? Позволю себе в этом усомниться.

Evening Stamdard,
1947, November 4

Ох, уж эти Римские скандалы

О фильме *Сладкая жизнь* Ф. Феллини

Перевод Анны Курт

Более двух тысяч лет Рим был священным городом, единственной в своем роде столицей западного мира. Подобно человеческому сердцу, изнутри его раздирали распри, а извне угрожали варвары.

В настоящее время ему угрожают не варвары, а кинематограф и тесно с ним связанный новый тип туристов — не любителей искусства и не паломников, а искателей развлечений. Именно для них был выстроен квартал возле виа Венето. В соответствии с наспех принятым законом, недавно были закрыты бордели — скромные, недорогие и дисциплинированные, а их место заняли безвкусные ночные клубы. Они составляют незначительную часть города, которая привлекает к себе незаслуженно большое внимание.

Римляне всех сословий — куда более нравственные и достойные люди, чем жители Лондона, Парижа или Нью-Йорка. В Италии до сих пор не разрешен развод. Вскоре после войны возникло мощное движение в защиту развода. Сейчас общественные настроения переменились. Но существует небольшой круг людей, состоящий, в основном, из космополитов и кинопромышленников (а также горстки аристократов), который вызывает жгучий интерес у публики.

Подобно тому, как английские матроны любят по воскресеньям читать о жестоких преступлениях, которых явно не одобряют и к которым меньше всего склонны, публика жадно интересуется нравами, царящими на виа Венето. Более десятка газет наживается на этом интересе. Главная из них, “Ло Спеккио”, печатает список имен, которые постоянно упоминаются в светской хронике. Все это смущает не только церковные власти; дошло до того, что Федерико Феллини снял фильм на эту тему. Он называется “Сладкая жизнь”.

Фильм стал притчей во языцех. Он представляет собой череду эпизодов из жизни популярного репортера светской хроники. Жители Рима и других городов, где его показывали, были возмущены. Фильм не подвергся цензуре или порицанию Церкви, но многие благочестивые зрители были шокированы.

Несогласие вызывают два пункта: отношение к Церкви и римской аристократии — серьезных людей, которые очень серьезно к себе относятся.

Феллини не имеет отношения ни к знати, ни к Церкви. Он превосходно понимает и

© 1960 The Estate of Laura Waugh
© Анна Курт. Перевод, 2016

блестяще изображает мир кино и журналистики. Итальянская киноиндустрия была основана Муссолини, но обрела могущество лишь после его убийства. "Чинечитта", созвездие студий на окраине Рима, — очень скромное учреждение по сравнению с Калвер-сити[1]. Здесь трудятся, хотя и нерегулярно, около 2 ооо человек. Я своими глазами видел, как Росселини спокойно и уверенно снимал фильм с помощью одного оператора и двух электриков в павильоне, примостившемся где-то в углу, куда можно было проникнуть лишь ползком, пробравшись под строительными лесами другого киносъемочного павильона. Как это не похоже на огромные пространства и многочисленных ассистентов в американских киностудиях!

Лучший и совершенно непринужденный эпизод в "Сладкой жизни" — прибытие американской кинозвезды в Рим, а самая большая творческая удача — команда фотожурналистов, которые, подобно артистам кордебалета, дурачатся и переползают из одной сцены в другую, комическую или трагическую. Здесь Феллини в своей стихии. Кроме того, он высмеивает интеллектуальную богему в сцене, которую мои друзья из этого круга считают нелепой.

Когда снимали оргию в высшем обществе, пришлось арендовать замок Одескалчи, где, я уверен, уже много веков не было никаких сборищ. Это вызвало скандал, раздутый еще и потому, что в сцене участвует настоящий лакей и два настоящих аристократа. Крестьяне и жители трущоб часто играют самих себя в фильмах итальянских режиссеров. Но для аристократов это первый опыт. Некоторые из них согласились сняться в "Сладкой жизни" просто ради удовольствия, не понимая, каким будет фильм. Комитет итальянской знати — организация с неопределенными полномочиями, созданная в основном для того, чтобы после официальной отмены титулов в 1945 году не позволять людям пользоваться не унаследованными ими титулами, — торжественно осудил аристократов, принявших участие в фильме.

Однако главный пункт обвинений связан с религией. Смею сказать, что я как правоверный католик не вижу в фильме ничего предосудительного. Он начинается с того, что вертолет перевозит статую Христа в новую церковь. Он летит над городом мимо римлян всех мастей, приветствуя школьников, загорающих женщин и других жителей. Некоторые спрашивают, кто такой Христос. В следующем "религиозном" эпизоде показано, как пресса и телевидение используют в своих целях чудесное явление Мадонны детям. Таких явлений было немало в разных частях света. Изображенные здесь священнослужители настроены скептически; они пытаются усмирить всеобщую истерию, и в конце концов остаются, чтобы похоронить человека, которого при-

1. Калвер-сити считается одним из мест зарождения киноиндустрии; здесь расположены студии кинокомпании "MGM".

несли в надежде на чудесное исцеление и бросили, когда толпа рассеялась из-за дождя. Здесь нет ничего кощунственного. В фильме высмеиваются пресса и фотографы.

Наконец, сцена на рассвете во дворце Одескалчи, когда кутилы возвращаются с бурной вечеринки в сад и неожиданно встречают священника, идущего с бабушкой хозяев на мессу. Двое родственников отрываются от толпы гостей и, протрезвев, следуют за небольшой процессией в часовню. Этот эпизод глубоко взволновал меня. Он напоминает о том, что для большинства верующих Рим — столица христианского мира и, несмотря на весь шум и гам, его жители — трудолюбивые и добродетельные люди; в Риме невозможно избежать мотоциклистов, но можно обойти стороной виа Венето и отыскать тихие дома, где трудятся ученые и семинаристы. Город поглотил и цивилизовал несколько волн воинственных варваров. В свой час он покорит и новых варваров.

Daily Mail, 1960, March 11

“*Никогда не убивайте своих персонажей...*”

Интервью Ивлина Во

Интервью Ивлина Во Харви Брайту “Нью-Йорк Таймс”, март 1949

Перевод Николая Мельникова

Как ни рассматривай Ивлина Во, внешность его обманчива: то, что видно глазу, противоречит тому, что слышишь. Его замечания немного циничны или, по крайней мере, язвительны. Однако лицо мистера Во — розовое и пухлое, как у херувима, — кажется простодушным. На самом деле оно выражает минимум эмоций: едва уловимый намек на изумление, проблеск веселья, озорства. С виду он немного напоминает юного Уинстона Черчилля. Котелок, сигара, полная, щеголеватая фигура усиливают сходство.

В апартаментах самой фешенебельной нью-йоркской гостиницы мистер Во, покуривая сигару и говоря об издании своей новой книги “Новая Европа Скотт-Кинга”, выглядит спокойно благожелательным. Он рассуждает о ней несколько отстраненно, бесстрастно, как будто она написана кем-то из не слишком многообещающих собратьев по перу, и говорит только тогда, когда к нему обращаешься с вопросом.

Харви Брайт. Это первоклассная сатира!

Ивлин Во (*недоверчиво*). В самом деле? Она вам понравилась? Пожалуй, в этой вещице есть нечто стоящее. Правда, в

© Николай Мельников. Перевод, 2016

ней слишком много незначительных подробностей. Слишком большое внимание для такого маленького произведения уделяется капризным деталям.

Х. Б. И тем не менее получилась очень смешная книга!

И. В. (*недоверчиво*). Вы действительно так думаете? Я написал ее три года назад. После поездки в Испанию. Если бы я сейчас решил переписать эту вещь, то добавил бы в нее побольше настоящих ужасов и приглушил бы прелесть путешествия.

Х. Б. Вам очень удался образ девушки-спортсменки, похожей на Ингрид Бергман.

И. В. Да, неплохо получилось. И все же некоторые персонажи выглядят неубедительно. Скажем, подпольный делец. Сущая марионетка. Никогда не встречал таких. Он полностью выдуман мной.

Х. Б. Спор в конце книги о ближайших и далеких перспективах придает сатире глубину: получилось смешно и в то же время волнительно.

И. В. (*недоверчиво*). О, вам понравилось? Уверен, что тема важная. Но тут нет моей заслуги. На самом деле "Новая Европа Скотт-Кинга" была написана очень быстро — всего за один месяц. Это значит, что три или четыре часа в день я проводил за письменным столом, а с полудня до шести обдумывал книгу. Ну, знаете, идешь гулять, что-то приходит в голову, затем возвращаешься, чтобы исправить фразу. Вещь растет, работа движется. В среднем каждое предложение переписывалось дважды. Конечно, все от руки, без диктовки, без печатанья. Просто возишься со словами, потом исправляешь их.

Х. Б. Джордж Оруэлл в своем отзыве на страницах "Нью-Йорк таймс" пишет, что в "Новой Европе Скотт-Кинга" вы были беспощадно строги к Европе, в той же степени, что в повести "Незабвенная" — к Америке.

И. В. Не в равной степени. Говорилось, что я беспощаден к Америке. Вовсе нет. Я беспощаден к Европе. Она огорчает меня куда больше, чем Америка. Там гораздо больше плохого, чем здесь.

Мистер Во обожает творения Макса Бирбома. "Он великолепен", — утверждает мистер Во. Также он восторгается "Сутью дела" Грэма Грина и "Зноем дня" Элизабет Боуэн. "Замечательная писательница. Как и Вирджиния Вулф — в пределах избранного ею метода. Но та была не столь изобретательна. Боуэн многому у нее училась, хотя как писательница она сильнее".

Д. Г. Лоуренс был никудышным писателем. "С философской точки зрения, все что он написал — гнилье, — говорит мистер Во, — а как стилист он ужасен". Размазав таким образом Лоуренса по стенке, мистер Во

идет дальше и без лишних слов изничтожает остатки того, что, согласно уверениям защитников Лоуренса, свидетельствует о его писательском даре, а именно: его творческую психологию. "Психология... Нет никакой психологии. Как и слова "slenderizing"[1]. Нет такого слова. Все это сплошное надувательство".

Американские писатели? Мистер Во считает, что Томас Мёртон ("Семиярусная гора") и Дж. Ф. Пауэрс ("Князь тьмы") — талантливые молодые авторы. "Кристофер Ишервуд — талантливый молодой писатель, — утверждает мистер Во. — Думаю, его следует считать американским писателем".

"Лучший американский писатель, несомненно, — Эрл Стэнли Гарднер... Действительно ли я так считаю? Безусловно".

Сейчас, объясняет мистер Во, он на отдыхе. "Я очень ленивый человек. Вся моя жизнь — отпуск, время от времени прерываемый работой. Тем не менее я очень хочу написать роман о войне, в котором осмыслялась бы идея рыцарского духа".

А еще он хотел бы написать детектив. "Не как у Грэма Грина, а в духе Агаты Кристи и Эрла Стэнли Гарднера, у которых дается ключ к разгадке и ее решение. Мне нравятся произведения с напряженным действием".

Х. Б. Возможно, потому что ваши книги не похожи на такие произведения и даже противоположны им?

И. В. (*неспешно, лукаво*). Да, полагаю, в них есть кое-какие мысли.

New York Times Book Review,
1949, March 13, p. 23

Телеинтервью Ивлина Во Джейн Хоуард
Би-би-си, *программа* "Монитор", *февраль 1964*

Перевод Николая Мельникова

Джейн Хоуард. Мистер Во, в октябре вам исполнилось шестьдесят: считаете ли вы дело вашей жизни завершенным?

Ивлин Во. Если бы! Видите ли, будь у меня любая другая профессия, мой возраст можно было бы считать пенсионным, но, когда писатели доживают до моих лет, они вынуждены пи-

1. Худеть (*англ.*). (*Прим. перев.*)

© Николай Мельников. Перевод, 2016

сать и дальше — до самой смерти. Прежде семьдесят лет было вполне приличным сроком человеческой жизни, теперь, наверное, таким сроком будет считаться восемьдесят. Из-за этих ужасных докторов мы живем все дольше, дольше и дольше. Я отношусь к долгожительству с величайшим отвращением.

Д. Х. Вы считаете, что пожилой писатель испытывает какие-то трудности в своей работе?

И. В. Сопоставляя малое с великим, если сравнивать меня с кем-либо из знаменитых романистов, таким, скажем, как Диккенс, увидим, что все его лучшие комические вещи были написаны задолго до достижения моего возраста. Редко, очень-очень редко, когда человек способен продолжить работу.

Д. Х. Кажется, в "Мерзкой плоти" вы пишете: "Если бы молодость знала. Если бы старость могла"[1]. Как по-вашему, где вы находитесь сейчас как писатель в соответствии с этой формулой?

И. В. Однажды я разговаривал с первоклассным игроком в теннис (средних лет), и он сказал мне, что одни способности год от года усиливаются, другие, которыми хочешь овладеть, убывают. Ты просто не можешь приложить сверхусилие, чтобы отбить мяч, хотя и знаешь, как это сделать, — вот поэтому не сыщешь хороших игроков в теннис зрелого возраста.

Д. Х. И вы полагаете, что это применимо к словесному творчеству? Я имею в виду — к поиску слов и процессу запоминания?

И. В. Думаю, мои творческие способности ничуть не хуже, чем были раньше, наоборот, возможно, несколько улучшились. Вот вам стишок, который вы могли слышать:

> Хваленье Богу, что, когда
> Нервы сдают, плоть никуда,
> На слабость ума намека нет
> И до семидесяти лет[2].

Таким образом, сознание продолжает творить, но весьма специфическая способность быть забавным и изобретательным в действительности — не функция мозга, а, знаете ли, юности. Так что перед пожилым романистом встает альтернатива: либо он становится профессиональным писателем,

1. Восьмая глава романа "Мерзкая плоть" (1930). Цитируется в переводе И. Бернштейн. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Ивлин Во цитирует стихотворение Эдмунда Госса, в котором "находил утешение" его отец; позже писатель привел это же четверостишие во второй главе своей автобиографии (см.: *И. Во.* Недоучка / пер. В. Г. Минушина. — М.: Вагриус, 2005. — С. 96). Четверостишие цитируется в переводе В. Г. Минушина.

используя приобретенные ранее навыки, — и в этом случае он способен еще несколько лет зарабатывать на жизнь, изготавливая на заказ исторические романы или что-нибудь в таком духе, причем делая это, не теряя достоинства; либо с ним происходит резкая перемена, когда его омывает свежий поток творческой энергии — бывают и такие случаи.

Д. Х. Да, новая жила. Итак, когда вы оглядываетесь на свое творчество...

И. В. Вы сказали, что я тщеславный жила[1]?!

Д. Х. Нет, я сказала "новая жила": новый источник вдохновения, который человек может открыть в себе.

И. В. Вовсе я не жила. Лет тридцать тому назад, когда я сочинял откровенно смешные вещи, старина Беллок[2] написал мне: "Вам нужно написать трагедию". Так вот, надеюсь, что в ближайшие несколько лет я начну писать трагедию. Но это всего лишь безнадежная мечта. Я ничего не хочу делать, но неизбежно вынужден поддерживать жизнь в себе и в своих домочадцах, должен еще лет двадцать: мои немощные руки все еще будут черкать разные закорючки. Все мы, знаете ли, обладаем определенными профессиональными навыками, подобно старому рабочему, способному починить сломанный кран.

Д. Х. А как насчет истории вашей жизни? Вы пишете автобиографию...

И. В. Я пишу автобиографию. Это — я уже закончил первый том, и очень скоро он выйдет из печати, — это довольно легкое дело, поскольку пока что я дошел до времени, когда мне исполнился двадцать один. Да, это самая легкая часть автобиографии: самая легкая, потому что, видите ли, почти все интересное, что случалось со мной после двадцати одного года, было тем или иным образом использовано в романах. Но я никогда прежде не писал о своей юности, поэтому сейчас все пошло довольно легко.

Д. Х. И все-таки, когда вы оглядываетесь на свое творчество, испытываете ли вы чувство удовлетворения от сделанного? Какие-нибудь произведения вам нравятся?

И. В. В каждой книге есть то, что я сейчас постыдился бы написать: неуклюжести, длинноты и т. п. Однако в каждой имеется кое-что, о чем я думаю: "Ох, теперь мне так не напи-

1. В оригинале путаются сходно звучащие слова "vein" (жила, способность, талант, стиль) и "vain" (тщеславный, самовлюбленный).
2. Хилэри Беллок (1870–1953) — английский писатель англо-французского происхождения, ярый приверженец католицизма. По словам его биографа, он был для молодого Ивлина Во "учителем и образцом для подражания" (*J. Pearce.* Old Thunder: A Life of Hilaire Belloc. — San-Francisco: Ignatius Press, 2002).

сать!" Есть в них своего рода дух свежести, который теперь, знаете ли, умер во мне.

Д. Х. Я имела в виду: перечитываете ли вы свои книги?

И. В. Постоянно.

Д. Х. И покатываетесь со смеху?

И. В. Да, я должен признать...

Д. Х. И заново открываете в них смешные места, о которых успели позабыть?

И. В. Я помню их довольно хорошо, но должен сказать, что они снова и снова доставляют мне удовольствие. За исключением тех случаев, когда я наталкиваюсь на неудачные фрагменты, а их, знаете ли, столько же, сколько и удачных.

Д. Х. В книге "Работа прервана" вы пишете об "игре в прятки с самим собой, которая освобождает порок от скуки"[1]. Как вы думаете, применимо ли это к писательству?

И. В. О нет-нет! Если вы помните, фраза произносится по дороге в танжерский бордель — в Фесе.

Д. Х. Мне она вспомнилась в связи с вашими словами о том, что романист способен выдумать лишь несколько персонажей. Я подумала, не представляют ли они, пусть и в преображенном виде, аспекты одной личности, и, следовательно, есть грань, за которую не может пойти автор, создавая их, потому что он не может многое понять в себе.

И. В. Думаю, суть в том, что существует ограниченное количество характеров, определенно очень ограниченное количество, с которыми способен совладать автор. И мы видим, что великие романисты исполь-

1. Незаконченный роман "Работа прервана" цитируется в переводе В. Голышева и В. Харитонова.

зуют одних и тех же персонажей под разными именами. К тому же в мире очень мало личностей, очень мало сюжетов.

Д. Х. Что же делать молодым романистам? Посоветуйте.

И. В. Ну хорошо. Главное правило: "Никогда не убивайте своих персонажей". Это прекрасно понимал П. Г. Вудхауз. У него ограниченный набор персонажей, но он и сейчас, когда ему за восемьдесят, создает такие же умные и самобытные произведения, как шестьдесят лет тому назад.

Д. Х. Они пригодятся, они позволяют продолжать...

И. В. Просто он знает свои возможности... Никогда не убивайте их! А ведь перед романистом, когда он доходит до заключительной главы, возникает ужасный соблазн, он думает: "Ну хорошо, покончим с ними, головы им долой: одного сбросим в пропасть, другому подстроим автокатастрофу, все что угодно — только бы избавиться от них". Затем, когда он пишет очередной роман, то осознает, что не может придумать кого-либо еще, так что изображает те же самые характеры — только под другими именами и в другой обстановке.

Д. Х. В вашем раннем творчестве очень много убийств и жестокости, не так ли?

И. В. Постоянно убивал их. Чистое безумие!

Д. Х. Почему вы это делали?

И. В. Тони Пауэлл поступает гораздо умнее. В его последнем цикле романов[1] он довольствуется одними и теми же персонажами и лишь изредка добавляет к ним новых. Вот почему он так преуспел — в Кембридже это называется "поймать мяч".

Д. Х. Своих героев вы убивали, потому что вам просто хотелось вдоволь пострелять или потому что хотели показать определенного рода несправедливость...

И. В. Нет-нет, просто хотел закончить историю. Все кончается смертью, поэтому естественней всего закончить рассказ о человеке его или ее смертью.

Д. Х. Не шокировало ли это читателей?

И. В. Ну, смерть некоторых персонажей была комичной, как, например... Не знаю, помните ли вы, в одном из моих романов героиню съедает ее возлюбленный...[2]

Д. Х. Да, я помню...

И. В. ...и это определенно должно было шокировать.

1. Речь идет о романном цикле английского писателя Энтони Пауэлла (1905–2000) "Танец под музыку времени". Ивлин Во был хорошо знаком с ним и по большей части высоко оценивал его творчество.
2. Речь идет о Пруденс, героине романа "Черная напасть" (1932), убитой туземцами Азании и приготовленной с перцем и ароматическими травами для гостей племени, среди которых был ее возлюбленный, Бэзил Сил.

Д. Х. Да уж. В одном из ваших произведений пожилая дама заявляет: "По-моему, современные романы такие... мучительно сдержанные"[1]. Теперь, когда вы сами стали пожилым, разделяете ли вы ее точку зрения?

И. В. Ну, мне не нравятся слишком многие из нынешних романистов. Их, конечно же, нельзя назвать "сдержанными". Писатель всегда вынужден видоизменять факты, чтобы сделать их правдоподобными. Если вы напишете все прямо, как оно происходило на ваших глазах, любой скажет: "Слишком явная нелепость. Если подобное и могло произойти с кем-нибудь однажды, то это не может повториться с ним спустя несколько месяцев".

Д. Х. Вы полагаете, что жизнь слишком ужасна, чтобы ее можно было изобразить в книге?

И. В. "Ужасная" — в старомодном смысле "леденящая душу"?

Д. Х. Да, я это имела в виду.

И. В. Согласен, не в смысле "мучительная".

Д. Х. Способность испытывать или не испытывать потрясение влияет на ваше восприятие современной литературы? Вы же сказали, что вам не нравятся многие современные романы.

И. В. На меня производят тягостное впечатление небрежно написанные вещи, а я должен заметить, что теперь многие начинающие английские писатели, на мой взгляд, пишут кое-как, и это меня возмущает.

Д. Х. В современном значении слова они не внушают благоговейный ужас, это вас возмущает?

И. В. Нет. Меня возмущают их грязные словечки. На мой взгляд, хорошему писателю нет нужды быть непристойным. Он может передать свои чувства с изяществом, не прибегая ко всем этим новомодным выражениям. Некоторые вещи невозможно передать. Переживания высшего порядка вообще не для романистов, не для писателей.

Д. Х. Вы имеете в виду мистический опыт?

И. В. Об этом не может быть и речи.

Д. Х. Ну, никто и не думает, что его можно передать.

И. В. Если кто-то и пытается, то он мошенник. Все великие писатели-мистики довольно быстро приходили к тому, что признавались: "Слова никуда не годятся. Мы не можем выразить то, что хотим сказать".

Д. Х. Как вы считаете, сильно ли влияет католическая вера на ваше творчество?

1. Рассказ "Слепок эпохи" цит. в переводе В. Болотникова.

И. В. Она влияет на меня все время. Не то чтобы я тем или иным способом занимался нравоучениями, однако бесспорно, что от нее зависит структура мышления в целом. Не хочу сказать, что пытаюсь впихнуть теологические проблемы во все мои произведения, хотя в одном их них, в "Елене", я это сделал, а также, до некоторой степени, в трилогии о войне[1], в образах Краучбека и его отца.

Д. Х. Но вы же не можете сказать, что... Я хочу сказать, что вы пишете не только или главным образом для католиков, а для всех читателей...

И. В. Я был бы нищим, если бы писал только для католиков!

Д. Х. Почему же? Потому что они могут осудить вас или потому что их слишком мало?

И. В. Слишком мало тех, кто готов покупать мои книги!

Д. Х. Таким образом, религия — это не главное, это не движущая сила творчества. Что же побуждает вас писать? Я имею в виду, существует ли что-то, заставляющее вас заниматься именно писательством, а не чем-нибудь другим.

И. В. Это всего лишь мое ремесло. И, конечно, английское образование, которое я получил, способно было создать только писателей — ничему другому оно, по правде говоря, научить не могло.

Д. Х. Как-то вы сказали мне, что чувства очень трудно выразить словами.

И. В. Чувства должны быть у потребителя — у читателя. Вы излагаете ему или ей факты, и, если рассказываете увлекательно, они моментально улавливают и чувства. В дни моей юности многие весьма неплохие писатели зашли в тупик, пытаясь изобразить то, что называется "потоком сознания": в нем они передавали все, что человек думает и чувствует, не говоря уж о том, что видит и делает. Романист воссоздает речь и действие, а также ход времени. Не дело романиста загружать читателя эмоциями. Если ваш роман хорош, то читатель сам извлечет из него эмоции, возможно, не те, о которых вы думали, но извлечет. На мой взгляд, что нам не подходит, так это великолепные риторические пассажи Диккенса о смерти или о мрачных трущобах Одинокого Тома[2]: они прекрасно читаются вслух и заставляют нас пустить слезу, но, по-моему, так нельзя писать романы.

1. Трилогия "Меч почета" (1965), которую составили романы "Люди при оружии" (1953), "Офицеры и джентльмены" (1955) и "Безоговорочная капитуляция" (1961).
2. Имеется в виду трущобный район из романа Ч. Диккенса "Холодный дом".

Д. Х. Когда вы были начинающим автором, пытались ли писатели шокировать публику?

И. В. Чтобы вы ни писали, содержание книги действительно вызывало бурное возмущение. Я начинал заниматься литературой в эпоху грандиозных скандалов — это было время Джонсона-Хикса[1], — и те вещи, которые сейчас кажутся вполне невинными, тогда воспринимались как непристойность. Я не это имею в виду, когда говорю о скандалах, ведь тогда была масса куда более пагубных влияний на художественную прозу, превращавших ее в темный бред. И это не шло ей на пользу. То, что Сирил Конолли назвал "Прорывом"[2], на самом деле было распадом — в живописи, архитектуре и поэзии, перед которыми обычный человек испытывает благоговейный ужас: его постепенно приучили к мошенничеству, и он стал принимать то, что ему подсовывали. Но когда дело дошло до английской прозы, выяснилось: простой человек знает, что это такое, он сам постоянно говорит прозой и вовсе не хочет быть одураченным. Но была масса американцев, которых возглавляла дама по имени Гертруда Стайн, писавшая всякую галиматью. К тому же они подрядили рехнувшегося беднягу, ирландца, которого звали Джеймс Джойс — слышали о таком? Во времена моей юности он считался весьма влиятельным...

Д. Х. Да, он...

И. В. ...и писал откровенную чушь, знаете ли. Начинал он довольно неплохо, но легко заметить, что, по мере того как он пишет, он сходит с ума, а его последняя книга годится разве что для изучения в Кембридже.

Д. Х. Разве он всегда писал чушь?

И. В. Не всегда, но от одного предложения к другому можно проследить, как он сходит с ума. Когда начинаешь читать "Улисса", он вполне нормален, но затем становится все более и более безумным, хотя эта вещь написана еще до того, как его ангажировали американцы. А потом они подрядили его написать "Поминки по Финнегану", эту бредятину.

1. Британский политик сэр Уильям Джонсон-Хикс (1865–1932), с 1924-го по 1929 г. занимавший пост министра внутренних дел в правительстве консерваторов, оставил о себе недобрую память махрового реакционера. Среди прочего, жестко подавил Всеобщую стачку 1926 г., пытался (с меньшим успехом) закрыть ночные клубы Лондона, а также инициировал судебное преследование писательницы Рэдклифф Холл за ее роман на лесбийскую тему "Колодец одиночества" (1928): вполне невинное по нынешним меркам сочинение в конце концов было признано британским судом "непристойным".
2. Скорее всего, здесь имеется в виду программное эссе Сирила Конолли "Прорыв в современной поэзии" (*C. Connolly.* The Break-Through in Modern Verse // London Magazine, 1961 (June), p. 27–40.

Д. Х. М-м...

И. В. Гертруда Стайн была весьма неглупой и на удивление ушлой девахой. Она вовсе не была дурой (я не был завсегдатаем салонов и никогда не заходил к ней в Париже, а про ее парижский салон знали все, и, разумеется, наиболее интеллектуальная публика собиралась там), но, когда она бралась за перо, получалась галиматья.

Д. Х. М-м... Скажите, по-вашему, люди в большинстве своем смешны и нелепы? Я хочу сказать, что она выглядит у вас довольно нелепой.

И. В. Она была победительницей, понимаете? Она не была смешной в том смысле, что вела себя, как клоун. Иногда я встречался с ней, но не в ее парижском жилище, и она всегда была в центре беседы, всегда выглядела умной, черт бы ее побрал.

Д. Х. Чувствую, вы придерживаетесь широких взглядов на жизнь: если вы и считаете людей нелепыми, то это еще не значит, что они вам антипатичны; в своем отношении к ним вы руководствуетесь тем, что они в равной степени смешны и трогательны.

И. В. Я не настолько добр, знаете ли. Нет, боюсь, что нет... Мне нравится выставлять людей в комичном виде. Но я не списывал персонажей с моих друзей, хотя порой заимствовал у них некоторые черты.

Д. Х. Так было с Бэзилом Силом[1]?

И. В. Нет, я его выдумал. Но он похож на некоторых моих знакомых.

Д. Х. Некоторых.

И. В. Да.

Д. Х. Но вы кое-что добавили к нему.

И. В. Надеюсь.

Д. Х. Вы сделали его более...

И. В. Да. Для создания эпизодических персонажей порой достаточно пустяка, фразы, произнесенной кем-то в толпе, что можно передать в одном предложении. А вот главных героев приходится выдумывать.

Д. Х. Любите ли вы этого героя, хотите ли написать о нем еще что-нибудь?

И. В. Я как раз написал рассказ о нем, о его старости[2]. Полагаю, таким образом я с ним покончил.

1. Бэзил Сил — обаятельный прохвост, главный герой нескольких произведений Ивлина Во (романов "Черная напасть" и "Не жалейте флагов", а также рассказа "Бэзил Сил опять на коне, или Возвращение повесы").
2. Рассказ "Бэзил Сил опять на коне" был опубликован в 1963 г.

Д. Х. В самом деле?

И. В. Да.

Д. Х. И больше ничего о нем?

И. В. Просто у меня возникла идея: внезапно он встречает своего двойника, потенциального зятя, и, глядя на него, с ужасом осознает, что представлял собой в молодости. Она и легла в основу рассказа.

Д. Х. Вы много говорите о приличиях и благопристойном поведении...

И. В. Разве?

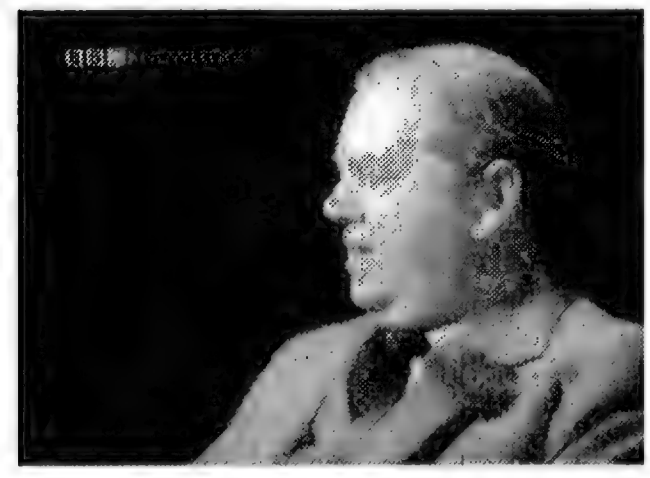
Д. Х. Ну да, вы довольно много об этом написали.

И. В. Ох!

Д. Х. Не находите ли вы, что одно из свойств старости — все меньше и меньше обращать внимание на то, что о вас думают люди, и все больше и больше — на то, как они обходятся с вами?

И. В. До тех пор пока меня по-настоящему не задевают, мне все равно, что вокруг меня делается, но ведь сейчас я мало общаюсь с людьми и к тому же совершенно глух. Я совсем не люблю бывать в обществе, а когда выбираюсь, мне доставляет удовольствие понимать все, что говорят, никого при этом не слушая: если вы имеете дело со светскими людьми, то, знаете ли, вам хорошо известно, о чем они говорят.

Д. Х. Вы много писали о пожилых людях, о тех, кого вы называете “старыми хрычами”; некоторые из них, по сути, довольно злобные существа. Но вот герой вашей трилогии Крауч-бек кажется мне на редкость добродетельным и очаровательным стариком.



И. В. Верно, он вовсе не злобный, и, знаете ли, вы очень любезны, признав это, хотя многие читатели утверждают, что он ходульный персонаж...

Д. Х. Ох!

И. В. Они говорят: “слишком явная подделка”. Вероятно, потому что никогда не встречали человека, похожего на него...

Д. Х. Я совершенно с ними не согласна. Вероятно, те, кто так говорят, никогда не встречали обаятельных людей. Но не кажется ли вам, что, становясь старше, вы испытываете больше симпатии к пожилым людям и поэтому все больше пишете о них?

И. В. Без сомнения, мне не хочется иметь дело с молодыми. Нет. Я люблю встречать своих старых приятелей и видеть, как они увядают.

Д. Х. Так же, как и вы?

И. В. Да. Но я рад, что они дряхлеют быстрее меня.

Д. Х. Полагаю, вы хотели бы пережить их всех. Или я ошибаюсь?

И. В. Нет, просто мне нравится думать: “Вот старина такой-то — одного со мной возраста, а выглядит хуже меня”.

Д. Х. Понятно (*смеется*). Ну хорошо, какие еще новые удовольствия вы получаете от старости?

И. В. Плохо слышу, не могу много есть, но зрение у меня вполне приличное, и я получаю большее удовольствие от того, что вижу. Возможно, потому что меньше замечаю. Когда я был молодым, почти все было прекрасно, а теперь прекрасное нужно выискивать, словно блох. Зато когда встречаешь красивое здание или пейзаж, получаешь от этого такое же острое наслаждение, как и прежде.

Д. Х. Не боитесь ли вы совсем измениться?

И. В. Не думаю, что чересчур этим озабочен. Я боюсь старости, но она неизбежна.

Д. Х. Вы боитесь старости?

И. В. Ужасно, если доживу до восьмидесяти.

Д. Х. Почему?

И. В. Скука. В самом деле, становишься дряхлым импотентом, жалким занудой. И ничего уже тебе не светит. Возможно, поэтому я надеюсь на то, что вскоре разразится война: кто-нибудь любезно сбросит на меня бомбу, и тогда со мной все будет в полном порядке.

Непростое искусство давать интервью

Перевод Анны Курт

Не было ли у вас, любезный читатель, как у меня в недавнем прошлом, одной маленькой слабости? Не составляли ли вы черный список общественных деятелей? Мой перечень рос с каждым годом. В нем фигурировали мужчины и женщины, которых я знал только по газетам, и все же испытывал к ним острую неприязнь.

В отдельных случаях их провалы были отчетливо видны глазу: самодовольная ухмылка, высвеченная вспышкой фотоаппарата, развязная походка в кинохронике, нелепая шляпа; иногда это были акустические помехи (аденоиды в микрофоне), но большинство людей — во всяком случае, в моем списке — попали туда за преступления против разума, которые появились в печати.

Я имею в виду высказывания, которые вырывались спонтанно, смывая в потоке саморазоблачения многолетнюю усердную маскировку. Эти люди добры к своим домашним и сослуживцам, но, когда появляются журналисты, на них что-то находит, и они начинают изрекать чудовищные, незабываемые глупости. Так я думал, наблюдая за тем, как они болтают с репортерами или позируют перед камерами.

Классический пример — лайнер, прибывающий в Нью-Йорк. Жители все еще сохраняют дружеское любопытство к чужеземным гостям — хотите верьте, хотите нет, но каждый день здесь издают бюллетень и кладут его под двери больших отелей. В нем сообщается, какие знаменитости прибыли в город, где они остановились, кто назначен главной знаменитостью дня, знакомство с которым часто бывает одним из призов в радиовикторинах.

Чтобы удовлетворить страстное любопытство толпы, журналисты поднимаются на борт корабля вместе с таможенниками и, пока корабль не стал на якорь, часами проводят свое дос-

© 1948 The Estate of Laura Waugh
© Анна Курт. Перевод, 2016

нание. Они не прихорашиваются, чтобы угодить публике. Скорее, они похожи на Красную Смерть из рассказа Эдгара По — явное напоминание о реальной жизни после пяти дней на борту, когда рядом с ними не было ни одного опрятного или элегантно одетого человека. В распоряжении американской прессы — самые привлекательные создания обоего пола, но, чтобы поприветствовать гостей, выбирают самых хмурых, чем-то напоминающих убийц. Пожилые, озлобленные люди. Они не хватают звезд с неба и интересуются лишь теми, кто достиг вершин успеха. Безжалостный профессионализм — их месть миру. Они осматривают пассажиров и выбирают жертву, словно торговцы рыбой на рынке. Один из них, самый угрюмый, выслеживает ее в вестибюле, врывается в группу пассажиров, хлопает по плечу посла и говорит: "Ребята хотят с вами поговорить".

Я часто наблюдал за этим действом и пришел к выводу, что лисы любят шумиху. Влиятельные персоны, окруженные лампами-вспышками и интервьюерами, чувствуют себя в своей стихии, а в их отсутствии тоскуют по ним; так собачники с нетерпением ждут, когда возле дома их встретит заливистый лай мохнатых, истекающих слюной псов. Возможно, то же чувство испытывают новоиспеченные офицеры. Когда им впервые отдают честь, они смущаются, но вскоре жить не могут без привычного жеста. Глядя на именитых козлищ, которых так бесцеремонно потеснили, предварительно отделив их от овец, я всегда думал, что они будут яростно сопротивляться натиску журналистов, и читал репортажи с каменным сердцем. Как же они поддались? — недоумевал я.

Но год назад, когда в один ужасный день сам оказался жертвой подобного нападения, происходившего не на борту лайнера пароходной компании Кьюнарда, а в куда более скромных, но столь же щекотливых обстоятельствах, я резко подобрел.

Это случилось незадолго до того, как заграничные путешествия стали считаться у нас чуть ли не преступлением. В последнюю минуту я сорвался в страну, которую назову Веселяндией. Англичане редко наведывались в это маленькое дружелюбное государство, а прошлым летом и вовсе забыли о нем, так что мой приезд был особенно примечательным.

Я прилетел туда самолетом. Мы приземлились в полдень, во время обеда, и чиновники, которые должны были дать разрешение на наш въезд в страну, натурально обедали. В наше время превратности путешествий ни у кого не вызывают сочувствия. Чтобы попасть за границу, мы все бодро проходим через ад. Я не роптал, просто был утомлен, когда через

несколько часов добрался до гостиницы. Был душный полдень, под окнами грохотали трамваи. Спасаясь от шума, я закрыл окна, лишив себя последнего глотка свежего воздуха. Улегся на кровать, закурил сигару и через минуту провалился в сон. Проснувшись, я все еще держал сигару в руке, был весь засыпан пеплом, прожег дырку в пододеяльнике и чуть не сжег все постельное белье. В номере стоял густой запах табака.

Передо мной возникло странное создание. Оно зажгло свет и оказалось молодой женщиной в спортивном костюме. Видно было, что это не дань моде; скорее всего, она занималась тяжелой атлетикой.

— Добрый ночи, мистер Вог, — сказало видение. — Простите меня, пожалуйста, мне нужно сделать репортаж о вас.

Я уселся на кровати и, как в детективных рассказах, где героиня долго отходит от хлороформа, стал медленно вспоминать, где я нахожусь.

— Я из нашей главной либеральной газет, — продолжала гостья, издавая гортанные звуки, столь характерные для их языка.

— Присаживайтесь. — Я указал на кресло, потом заметил, что на нем лежала моя одежда. — Извините за беспорядок.

— Почему вы извиняться? Я представлять всю антифашистскую интеллектуальную деятельность.

— Хорошо, вы курите?

— Немного.

Она уселась на мою одежду и взглянула на меня без особого интереса.

Рис. Ивлина Во

— Что же, полагаю тем хуже для вас, а не для меня.

— Простите, вы про что?

— Я просто сказал, что это хуже для вас, чем для меня.

— В каком смысле?

— А может, и нет.

— Не понимаю, что хуже, мистер Вог?

— Я ничего не имел в виду.

— Так что же?

Повисла еще одна пауза, и ко мне стало

медленно возвращаться самообладание. Настольная игра лила[1], змеи и лестницы. Следующий бросок отбросил меня на шесть клеток назад.

— Мистер Вог, вы — великий сатир?

— Нет, уверяю вас.

— Наш редактор говорит, что вы высмеивать английская аристократия. Поэтому он отправил меня к вам, чтобы я взять интервью. Вы тот самый знаменитый Вог, не так ли?

— Не такой уж я знаменитый. Несколько моих книг получили известность... В общем, я самый обыкновенный Вог.

— Знаю, как великий Пристли.

— Нет, куда более заурядный. Совсем другой.

— Совсем другой, мистер Вог? Вы сказали "известный", "заурядный". Я записать эти слова. Я прекрасно понимать вас. Вы верите в общественную справедливость, вы пишете для людей. Так? Вы представитель простого народа? Поэтому вы писать сатиру на аристократию. Они на вас нападают?

— Да, некоторые.

— Ну конечно. У нас в Веселяндии много пролетарских писателей. Но у нас нет аристократии, и они высмеивать профсоюзных деятелей. А вы тоже высмеивать руководителей профсоюзов?

— Нет. Видите ли, я не знаю ни одного.

— Они высокопоставленные персоны?

— Да, очень.

— По-моему, вы робкий человек, мистер Вог, что боитесь профсоюзных деятелей. У нас про них много анекдот.

Вспомнив национальный юмор, она потупилась и с минуту помолчала. Потом завела разговор в духе plume de ma tante[2].

— Мистер Вог, а как ваши перья?

Я просто сказал: "Спасибо, хорошо".

— Здесь много перьев. Я не перо. Мой редактор — международный член в Свиссляндии. Мистер Вог, вы международный член?

1. Древняя индийская настольная игра, основанная на философском понятии лила, является инструментом наблюдения за закономерностями случайных событий в жизни. Играют на игровом поле с семьюдесятью двумя клетками с помощью игральной кости. Описание каждой клетки соответствует планам бытия в индуистской традиции. В Лондоне на кольцевой линии метро есть мозаика по мотиву известной игры Змеи и Лестницы. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

2. Букв.: перо моей тетушки (*франц.*) — фрагмент фразы из учебников по французской грамматике: "la plume de ma tante est sur le bureau de mon oncle" ("писчее перо моей тетушки лежит на бюро моего дяди"). Далее комично обыгрываются семантика слова "pen", которое в зависимости от контекста может означать "писчее перо", "писатель", "литературный труд", "стиль".

У меня потемнело в глазах.

— Член ПЕН-клуба? Нет, я не состою ни в одном ПЕН-клубе.

— Как это может быть? В Веселяндии все великие писатели — члены. А остальные им завидовать. Говорят, что выбирают только своих, по блату, но это неправда. Все по заслугам. А как с этим в Англии?

— Все честно.

— Почему же вы не член? Великие английские писатели вас отвергать?

— Вот именно.

— Потому что вы пролетарий?

— Полагаю, что да.

— Мистер Вог, я от души смеяться над ними в своем репортаже! Мой редактор будет в ярости. Он выступать с протестом в Международном комитете перьев.

— Будет очень мило с его стороны, — кисло промямлил я.

Она писала крупным почерком, быстро заполняя страницы записной книжки. Потом промолвила: "Мистер Вог, вы приехал для того, что написать сатиру на Веселяндию?"

— Разумеется, нет.

— Тогда зачем?

— Просто, чтобы сменить обстановку.

— Очень интересно для меня. Как вы думать: страна сильно изменилась?

— Я имел в виду другое: я сам хотел сменить обстановку.

— В каком направлении вы хотели сменить ее?

— Во всех.

— И вы приехать в Веселяндию ради этих перемен? Новый дух времени?

Этот ход увел меня на много клеток назад.

— Да, — сказал я, потеряв самообладание.

— А ваша школа, образование? Она тоже изменяться?

— Надеюсь, что да. Все школы постоянно меняются... Догадываюсь, что вы хотите спросить: в каком направлении? Теперь преподают меньше классических предметов, больше современных языков и естественных наук.

— Я не понимай, что есть "естественных наук", мистер Вог.

— Мы так называем физику, химию и прочие дисциплины.

— Да, да, теперь понимай. Американский идиом. Естественный науки дурно пахнут[1]. Так? Вы переживать космиче-

1. Слово "stink", вложенное в уста рассказчика, обозначает "естественные науки", а также имеет значения: "вонь", "смрад", "смердеть".

ское отчаянье из-за атомной бомбы. Вы бороться с науками. У нас в Веселяндии много таких отчаянных интеллектуалов. И чтобы выражать эту мировую тоску, вы ведете вашу школу пролетарской сатир к новым языковым формам подальше от классики. Мистер Вог, у меня получиться прекрасный репортаж. Я должна пойти с ним к моему главному редактору.

Она ушла, и, когда я снова улегся на подпаленную простыню, я ощутил глубокую радость, оттого что никто из моих друзей не читает на их языке, и угрызения совести за обиды, которые долгие годы причинял жертвам ретивых журналистов.

Любезный читатель, когда вас в очередной раз охватит раздражение, вспомните об этой истории. В следующий раз в роли жертвы можете оказаться вы.

Vogue, 1948, July

Шарж Дэвида Смита
David Smith Spectator (1982. March 6, p 17)

Среди книг
с Ивлином Во

Победитель не получает ничего

Рецензия на роман Э. Хэмингуэя “За рекой, в тени деревьев”

E. Hemingway *Across the River and into the Trees.* — NY: Scribners, 1950

Перевод Анны Курт

Долгожданный роман Эрнеста Хемингуэя был опубликован несколько недель назад, и вскоре после этого в печати появились и привлекли к себе внимание рецензии всех ведущих критиков. Теперь трудно оставаться не предвзятым: либо к самому роману, либо к его критикам, поскольку они единодушно его не приняли. Рецензии были снобистскими, снисходительными, насмешливыми, в некоторых слышна нескрываемая радость, в других — жалость; но все сходятся в том, что книга явно неудачная. Клеветническая кампания, которая продолжается уже несколько лет под негласным названием “Хемингуэй исписался”, достигла кульминации.

Я прочел рецензии прежде, чем саму книгу, и постарался не пасть духом. Хемингуэй — один из самых оригинальных и мощных современных авторов. Даже если он написал совершенно пустую книгу, она достойна лучшего отношения. На самом деле, он написал историю о себе, не лучшую, а возможно и худшую, свою книгу, но все же она много лучше, чем вещи, которым те же критики оказывают теплый прием.

Перед нами история умирания старого солдата. Он знает, что смертельно болен и хочет провести остаток дней в Венеции или в ее окрестностях, охотясь и занимаясь любовью. Книга представляет собой монолог. Ветеран с горечью вспо-

© 1950 The Estate of Laura Waugh
© Анна Курт. Перевод, 2016

минает прежние битвы, упивается молодой возлюбленной. Вся книга написана тем едким просторечием, которое можно считать фирменным изобретением Хемингуэя.

Скажем сразу: главный герой — весьма неприятный тип. Он хам и зануда, насмешливый и вместе с тем мрачный эгоцентрик с гонором. Он командовал бригадой, но так и остался неудачником, которого переполняет обида на вышестоящие чины — и военные, и гражданские; одним словом, он — последний человек, с которым стоит гулять по Венеции. Но те же критики годами твердили нам, что нельзя судить романы по степени обаяния персонажей, как нельзя судить картины по красоте изображаемых предметов. Хемингуэй нарисовал объемный и сильный портрет своего нагловатого героя.

Героине, молодой венецианке, явно не хватает дуэньи. Если общественные устои сильно расшатались, с тех пор как я в последний раз был в Венеции, поведение этой молодой особы явно свидетельствует о том, что правила традиционной морали крайне желательны. Но вправе ли наши критики осуждать ее шашни? В Хемингуэе живет трубадур, побуждающий его облагораживать своих героинь. Именно это он и сделал в своем первом блестящем романе "Фиеста". Эти две книги — родные сестры. Какое огромное впечатление произвела на нас "Фиеста" четверть века назад, как мы ею восхищались! И с какой холодностью принимаем те же дары сегодня!

Конечно, за истекший промежуток времени ему многие подражали. Как легко им это удавалось! Чтобы подражать Генри Джеймсу, нужно быть совершенным мастером. А посредственную стилизацию под Хемингуэя может состряпать любой журналист. Но в "Фиесте" нас поразили не только стилистические находки, а прежде всего настроение. Английская литература богата первоклассными романистами-обывателями, такими, как Сёртис или П. Г. Вудхауз. Но их герои — счастливые люди. У Хемингуэя все пронизано меланхолией, ощущением обреченности. Его мужчины и женщины печальны, как большие бездушные обезьяны, теснящиеся в клетках в зоопарке. И это настроение оказалось очень стойким.

"За рекой в тени деревьев" — книга о возмездии обывателю. Герою пятьдесят один год, возраст, когда у культурного человека начинается самый плодотворный период жизни. Но песенка обывателя спета; он сам называет себя "старым, побитым жизнью мерзавцем". Его прежняя жизнь состояла из спорта, пьянства, секса и профессионального успеха. И все развеялось, как дым. Он награжден, как медалью, смертельной болезнью. Его жалкое положение усугубляется тем, что он считает себя культурным и умудренным опытом человеком. На своем веку он многое повидал. Он плоть от плоти мятущейся компании бражников из "Фиесты", считавших, что, общаясь с барменами, они погружаются в самое сердце Европы, что в их кафе собирается цвет декадентской европейской аристократии. Он уверен в том, что для таких, как он, создавали свои по-

лотна старые мастера, и — к черту искусствоведов!

Все недостатки последней книги в избытке присутствовали в первой, как, впрочем, и достоинства. Почему же сейчас все ополчились против Хемингуэя?

Все началось с внезапной атаки в "Нью-Йоркере". Не так давно этот популярный еженедельник направил к Хемингуэю журналистку, которая должна была изучить его вдоль и поперек, пока он проводил отпуск в Нью-Йорке. Она с ним ела и выпивала, ходила по магазинам и галереям и тщательно записывала все пошлости, которые он изрекал, и все глупости, которые делал во время кутежей. Наверное, лишь сумасброд или простофиля согласился бы подвергнуть себя подобному испытанию.

Она выставила его полным ослом, хотя и не лишенным обаяния. Я не знаком с Хемингуэем, но полагаю, что его ухарские замашки — одна из причин его непопулярности.

Он действительно сделал все, чтобы его считали "старым, побитым жизнью мерзавцем". В 1936 году его репутация была безупречна, не к чему было придраться. Потом он отправился в Мадрид и Барселону, раструбив об этом по всему свету. Здесь он увидел нечто большее, чем коррида и бистро. Крупнейший современный писатель обратился к важнейшей теме своего времени. Пикассо написал "Гернику", Оден и Спендер по-своему откликнулись на события, великий художник-воин из Нового Света решил создать современный эпос. Но получился не эпос, а что-то другое. "По ком звонит колокол" — совсем не та книга, которую от него ждали социалисты. Они всячески отрицали зверства, Хемингуэй описал их, смакуя подробности. Они отрицали участие в войне русских, Хемингуэй привел нас прямиком к парадным дверям отеля "Гэйлорд". Он высмеял Андре Марти и Пассионарию не хуже любого корреспондента "Нью-Йоркера". Социалисты сочли, что он перешел на другую сторону баррикад, тогда как его горячее революционное сердце по-прежнему уводило его прочь от цивилизации.

Ощущение превосходства над американцами в сочетании с комплексом неполноценности перед европейцами породили в нем тот патриотизм, который не нравится никому. Рост городов и промышленного производства в Америке был для него нестерпим, вместе с тем он справедливо полагал, что англичане смотрят на него сверху вниз, а французов интересуют только его доллары. Он испытывал чисто киплинговское удовольствие, вникая в технические подробности всех ремесел и профессий, кроме собственной. Он прекрасно в них разбирался и мог часами беседовать с рыбаками о рыболовных снастях, но профессиональный писательский жаргон вызывал у него отвращение. И в этой книге американскому писателю противопоставлен другой герой — невезучий, трудолюбивый парень, живущий в той же гостинице, трезвый, не имеющий ни любовниц, ни боевых шрамов и не позволяющий себе шутить с горничными.

Когда началась Вторая мировая война, Хемингуэй не мог

пойти на фронт и стал военным корреспондентом, несмотря на брезгливое отношение к этой профессии. Горечь и безысходность книги объясняются многими причинами. Однако критики наживаются на этой горечи и безысходности.

Они забыли, как когда-то поднимали сжатые кулаки перед красным флагом Барселоны. Писатель физически расправился лишь с горсткой людей. За что же они его так ненавидят?

По-моему, все дело в том, что они обнаружили в нем нечто непростительное — порядочность. Несмотря на все его бахвальство, сквернословие, драки, ему присуще элементарное рыцарство — уважение к женщине, жалость к слабым, чувство чести, которое постоянно попирается. Нынче литературные круги живо интересуются особой формой подлости, смешанной с высокомерием. Критики ищут и не находят ее в книгах Хемингуэя, что вызывает у них бурное и самоуверенное недовольство.

Tablet, 1950, vol. 196, n. 5758 (September 30), p. 290–292

Нечто оригинальное

Рецензия на роман М. Спарк “Утешители”

M. Spark. *The Comforters.* — L.: Macmillan, 1957

Перевод Николая Мельникова

Это запутанный, искусный и, во всяком случае для меня, чрезвычайно занимательный дебютный роман. Не думаю, что он полностью удался. Мисс Спарк затеяла очень трудное дело. В романе есть натяжки, которых избежал бы менее яркий, но более опытный писатель. Однако в то время, когда “экспериментальные” сочинения заслуженно приобрели дурную репутацию, книга Спарк действует освежающе. Осознанно или нет, она попыталась наложить одно на другое, соединив две несходные темы, причем каждой соответствует свой главный герой. Первая тема — механика сюжетостроения; вторая — безумие. Результат описать непросто.

Сперва расскажем о сюжете. Привлекательная, полная жизни пенсионерка с цыганскими корнями живет одна в загородном доме, в Суссексе. Она взяла за правило не принимать помощь у дочери, жены преуспевающего и весьма набожного коммерсанта. Ее до неприличия любопытный внук, работающий спортивным комментатором на радио, хочет выяснить, за счет чего она живет. Он обнаруживает, что она возглавляет шайку, которая про-

© 1957 The Estate of Laura Waugh
© Николай Мельников. Перевод, 2016

мышляет контрабандой ювелирных изделий и при этом прибегает к изощренной, но трогательно-нелепой системе конспирации. Короче говоря, именно здесь — зародыш традиционного романа тайн. События сгущаются. Вопреки правдоподобию главные курьеры шайки — муж и сын дамы, которой покровительствует дочь их патронессы: когда-то эта дама была няней внука-детектива. Их лондонский агент — книготорговец, бельгийский барон, интересующийся черной магией: некогда он был любовником второй жены вышеупомянутого курьера, у которой, ко всему прочему, деловые отношения с братом-гомосексуалистом преуспевающего и набожного зятя главной контрабандистки. В дополнение ко всему этому бонна внука-детектива оказывается экономкой общежития при монастыре, куда посылают пожить его бывшую возлюбленную, принятую в лоно церкви, несмотря на то что она утратила веру. Звучит нелепо, но я осмеливаюсь предположить, что так все и замышлялось.

Дело в том, что сюжетный механизм работает одинаково как в абсурдистском, так и в правдоподобном повествовании. Главное здесь — взаимоотношения автора и героя. Любой романист, плохой или хороший, должен знать все способы доверительных или отстраненных отношений со своими созданиями. Иногда он все берет непосредственно из жизненного опыта, изображая близких ему людей; как правило, его воображение так преобразует жизненные впечатления, что уже невозможно определить, с кого списаны портреты. Иногда он строго контролирует своих персонажей, загоняя их в положения, наиболее соответствующие выбранной теме. Порой он отдает инициативу персонажам и, недоумевая, держась на почтительном расстоянии, вынужден следовать за ними. По ходу сочинения появляются привходящие компоненты, которые иногда принимаются, а иногда отбрасываются. Мисс Спарк показывает нам этот процесс. Многочисленные родственники пенсионерки, занимающейся преступной деятельностью, здесь чрезвычайно важны, поскольку придают жизненность искусственной конструкции. Тема романа позволяет автору представить целый ряд эпизодов, в которых блестяще описываются повадки и образ жизни нынешних английских католиков.

А вот теперь поговорим о той особенности, которая делает чтение “Утешителей” таким трудным и таким интересным занятием. Повествование ведется от лица невротичной экс-пассии внука-детектива. Они все еще любят друг друга и хранят друг другу верность, что в конце концов приводит их к свадьбе. Между тем повествовательница, играющая важную роль в сюжете, теряет рассудок. Часть ее сознания сочиняет роман, другая вовлекается в сюжетное действие, так что ей чудится, что за ней кто-то следит и в какой-то мере ее контролирует. Фактически она воспринимает себя и как автора, и как вымышленного кем-то персонажа.

Так уж случилось, что "Утешители" попались мне сразу после того, как я закончил роман на похожую тему ("Испытание Гилберта Пинфорда", 1957) . Я был поражен, насколько более амбициозным оказался замысел мисс Спарк и насколько лучше она его реализовала.

Когда я написал, что роман ей не вполне удался, то имел в виду следующее: хотя каждая его страница читается с живым интересом, в нем, на мой взгляд, не различается реальное и возможное. Например, смерть одного из персонажей в конце романа, о которой пишут в газетах и которая становится предметом судебного расследования, может быть только фантазией помутившегося сознания героини. До конца так и не понятно, к чему относятся события: к реальному или вымышленному миру. Единственная книга, которая, как мне кажется, имеет сходство с "Утешителями", это "Удостоверение личности" Найджела Денниса. Написана она более изящным стилем, но по сути своей поверхностна, чего не скажешь о романе Спарк. Несмотря на все аберрации сознания главной героини, в романе есть реперная точка ее религиозного чувства. Кощунство (даже мысль о нем) потрясает ее совсем не так, как воображаемые ужасы, а обязательство следовать рудиментарной дисциплине ее веры куда сильнее желания выйти из-под власти воображаемого режиссера.

Боюсь, что об этой сложнейшей книге я написал самый неадекватный отчет, какой только можно вообразить. Вопреки затемненной сути, на ее поверхности обнаруживаются веселые тропинки. Прохвосты, составляющие большинство действующих лиц романа, изображены мастерски. Это в высшей степени *симпатичный* роман. Правда, я так и не понял, почему он назван "Утешители".

Spectator, 1957, n. 6713 (February 22), p. 56

Отправная точка

Рецензия на роман Г. Грина "Конец одной любовной связи"

G. Greene *The End of the Affair.* — L.: Heinemann, 1951

Перевод Александра Ливерганта

Свой последний роман "Конец одной любовной связи" мог написать только Грэм Грин; его уникальная личность дает себя знать буквально на каждой странице. Все присущие ему качества в этой книге — в изобилии. Это и его смутное и чуткое признание неизбежности страдания. И убеждение, лежащее в основе любой морали, что последствия всякого человеческого деяния, доброго или злого, — это бесконечная прогрес-

© 1951 The Estate of Laura Waugh
© Александр Ливергант. Перевод, 2016

сия. Что человеческие существа, особенно мужчины и женщины, находящиеся в сексуальной связи, оказывают неустанное воздействие друг на друга — благотворное или разлагающее. И нарочитая скудость сценических эффектов и тщательно выписанных декораций. В этой книге "лук" — быть может, вовсе не случайно — играет ту же роль в отношениях любовников, что и катлеи у Сванна и Одетты. И многозначность, насыщенность таких словосочетаний, как "поднаторевший на невзгодах", или "собрат — посторонний", или "так вот, как дает себя знать надежда". Все эти качества в романе присутствуют. И в то же время эта книга и методом, и материалом заметно отличается от предыдущих.

До сих пор главное достижение мистера Грина состояло в том, чтобы привить современной мелодраме духовность. Прежде его книги отличались напряженным, увлекательным сюжетом с минимальным авторским комментарием и максимальной событийностью, его герои — отсутствием рефлексии, невежеством, антиэстетичностью, его подлецы были отвратительны, а героини — не до конца вочеловеченными, и все они населяли бурную, социально окрашенную ничейную землю. Каждая книга заканчивалась смертью и ощущением завершенности. Какие бы у читателя мысли ни возникали, он чувствовал, что автор свою работу закончил. Что ему рассказано все, что необходимо было рассказать.

В "Конце одной любовной связи" мистер Грин избрал другую современную форму — семейную романтическую драму вроде "Короткой встречи"[1], и видоизменил ее присущим ему одному неподражаемым образом. Действующие лица этого романа — деятельные профессионалы, наделенные респектабельной внешностью и устоявшимися привычками. Детектив, который раньше был у Грина фигурой, вселяющей ужас, — теперь клоун. Однако главное нововведение в этом новом литературном приключении — метод повествования. Впервые у Грина появляется рассказчик; читатель смотрит на происходящее его глазами, является свидетелем его ограниченности. На смену всезнающему и безликому протоколисту пришел теперь главный герой, излагающий свою субъективную точку зрения. Это повествователь, который и сам находится в процессе эволюции; повествователь, чья реальная история в конце книги только еще начинается. Он и сам не подозревает, какая судьба его ожидает; судьба, которую мы, читатели, в отличие от него, прозреваем. В название "Конец одной любовной связи" заложена ирония: любовная связь, когда запись событий прерывается, еще не достигла своего апогея.

В центре повествования городской адюльтер. Высокопрофессиональный, добившийся немалого успеха прозаик хочет написать книгу про

1. "Короткая встреча" (1945) — мелодраматический кинофильм Дэвида Лина, поставленный по одноактной пьесе Ноэля Каурда "Все еще жизнь".

государственного чиновника. Для того чтобы выяснить достоверные подробности его жизни, он знакомится с его женой и влюбляется в нее, а она — в него. Их роман бурно развивается, и это притом, что он мучается от ревности и ощущения, что их счастье, увы, не долговечно. Так продолжается до тех пор, пока он чуть было не гибнет от взрыва бомбы, а возлюбленная внезапно и необъяснимо с ним порывает. Они не видятся два или три года. Затем муж, который ни разу не заподозрил свою жену, когда та ему изменяла, обращается за советом к ее бывшему любовнику: теперь он считает, что жена его обманывает. Любовник испытывает бóльшую ревность, чем муж. Это он, а не муж нанимает детектива, чтобы выследить "третьего лишнего". Этим "третьим" оказывается Господь Бог. Когда любовная связь была в самом разгаре, автор не раз подчеркивал, что определяющей чертой героини является ее остраненность. С ее помощью она постигает истину, после чего умирает. После смерти она, находясь на небесах, начинает в духе героев Мориса Бэринга взаимодействовать с теми, с кем была близка на земле. Когда мы расстаемся с рассказчиком-любовником, он по-прежнему охвачен непостижимым негодованием, однако нас не покидает чувство, что ее любовь передастся ему и исцелит его.

Таков вкратце сюжет книги — на редкость красивый и трогательный. В моем кратком изложении никак не отражены многоцветность и точность, выдающие истинного мастера. Автор превосходно изобразил, как резко и непредсказуемо меняются отношения между любовником и мужем: на смену жалости приходит ненависть, ненависть сменяется чувством товарищества, товарищество — ревностью, ревность — презрением. На протяжении всего романа героиня вызывает неизменно теплые чувства. Мистер Грин и раньше добивался высочайшего эмоционального напряжения, с которым другой автор никогда бы не справился. На этот раз у него вместо пистолетных выстрелов — слезы.

В основе книги — сексуальные отношения, и тут любой писатель, каким бы высоким мастерством он ни владел, столкнется с отсутствием подходящих слов. Наш язык формировался в ту эпоху, когда эту тему старались обходить стороной, вследствие чего наш словарь для описания сексуальных связей использует слова либо затейливые и устаревшие, либо научные, либо же откровенно просторечные. Говорить, что любовники "ложатся в постель", совершенно неприемлемо в книге, где порывы обоюдной страсти поспешны и непредвиденны. Для описания полового акта мистер Грин часто использует выражение "заниматься любовью". Обычно подобный эвфемизм вполне безобиден, но в этом романе, где "любовь" столь же часто употребляется в высоком духовном смысле, это словосочетание приобретает ироническое звучание, извращающее задачу писателя. Это — художественная западня, из ко-

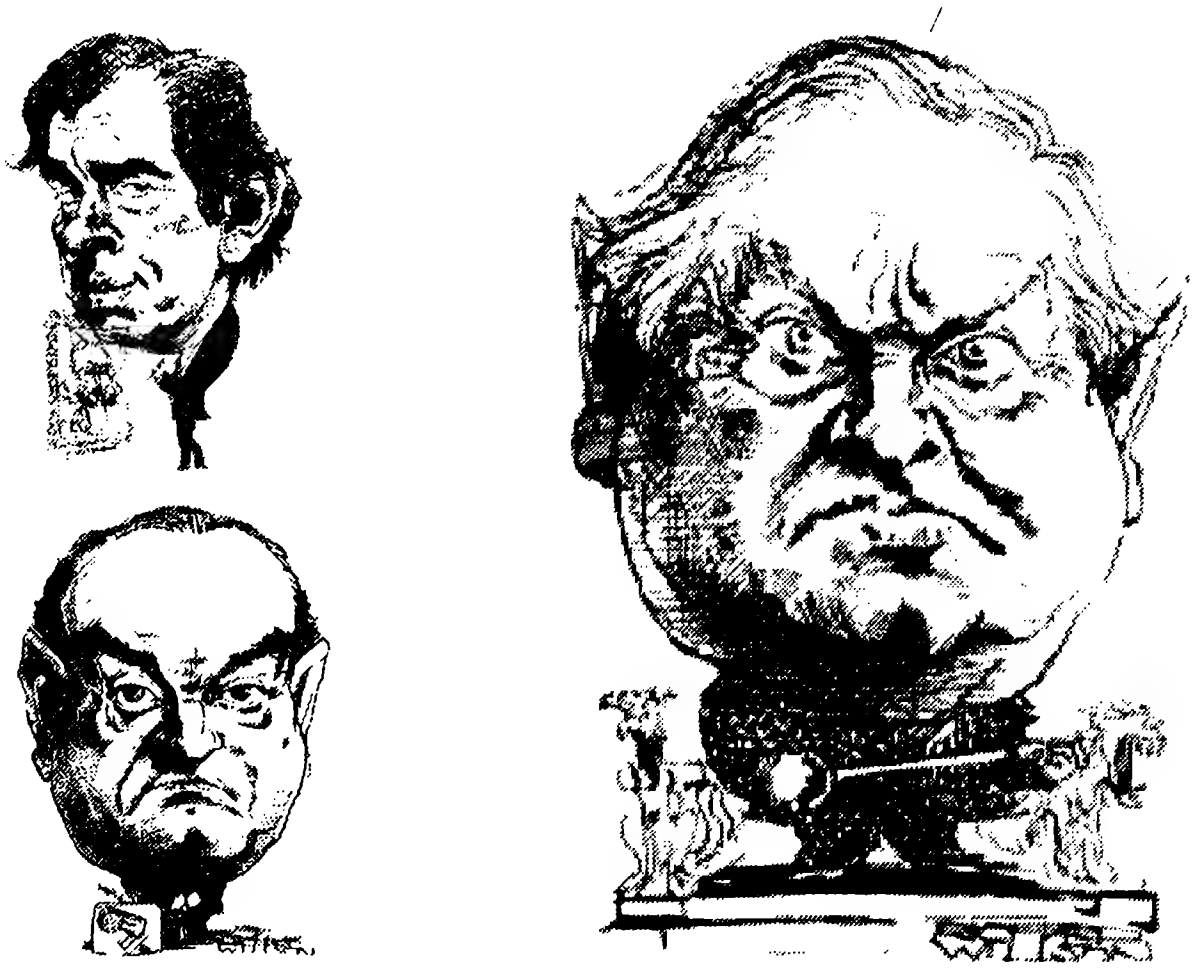
торой, если в нее попадешь, нет спасения. Необходимо поэтому обходить его стороной.

После своей смерти героиня начинает творить чудеса. И это не благородная, трогательная забота о живых, как в книгах Мориса Бэринга, а активное, благотворное, сверхъестественное вмешательство. Подобный прием — дерзкая выдумка мистера Грина. Его голос слышен во многих темных местах, и это вызывающее утверждение надмирного описано выше всяких похвал. В его предыдущих книгах католики изображались исключительно в своей среде, что приводило их в некоторое замешательство. "Конец одной любовной связи" адресован не католикам. Из романа следует, что Католическая церковь от них неотделима, что она таинственна и победоносна и трудится им на благо. Можно даже сказать, что в некоторых случаях она бывает излишне фанатична. Уже после смерти героини выясняется, к примеру, что ее крестил католический священник. Имеется даже рассуждение о том, "привилось ли это?", была ли эта "инфекция" подхвачена в детстве и т. д. Но ведь мистер Грин прекрасно знает, что с не меньшей вероятностью Сару мог крестить и местный викарий. Было бы жаль, изобрази он свою Католическую церковь тайным обществом, как изобразил свою Церковь в "Вечеринке с коктейлями" Т. С. Элиот. Ясно, что в планы мистера Грина это не входило, да и из текста романа это также не следует. Однако в темных местах, там, где автор выполняет свою апостольскую миссию, некоторые пассажи, на мой взгляд, отдают оккультизмом.

И еще одно критическое замечание, касающееся правдоподобия. У героини крадут интимный дневник. Разве не должна она была сразу же это заметить и забить тревогу? Мистер Грин обычно очень точен в деталях, и удивительно, что он упустил эту подробность из виду. Но это мелочь.

В заключение должен сказать, что мистера Грина можно поздравить с очередным достижением. Он продемонстрировал, что в середине жизни его ум стал гибче, а интересы шире, чем в молодости, что он писатель недюжинных возможностей. Он триумфально преодолел климактерический период, гибельный для многих талантов. И тревожиться за его литературное будущее нет необходимости — оно вызывает у нас только неунывающее любопытство.

Month, 1951, n. 6 (September 6), p. 174–176



Шаржи Ричарда Уилсона

Питер Кеннелл

Рецензия на роман "Пригоршня праха"

A Handful of Dust. – L.: Chapman and Hall, 1934

Перевод Аллы Резниковой

После публикации "Черной напасти" поклонники Ивлина Во недоумевали: сумеет ли он сохранить изысканное комическое равновесие, характерное для романов "Мерзкая плоть" и "Упадок и разрушение". Постепенно в его произведения вкрадывается серьезность. Никто из пристально и сочувственно изучавших романы Ивлина Во, вероятно, не признал бы, что он по своей сути – глубоко печальный, чрезвычайно серьезный, а временами меланхоличный и разочарованный человек. Хотя никто не имел ничего против того, что автор проявляет собственный художественный темперамент, в конце концов нельзя было не почувствовать, что периоды серьезности, когда сатирик уступает место католику-моралисту, лишают его обаяния, без которого его истории были бы экстравагантными или просто забавными; короче говоря – что эти серьезные места выбиваются из общей тональности. Поэто-

© Алла Резникова. Перевод, 2016

Питер Кеннел [1905–1993] – английский писатель, поэт, критик; с 1944-го по 1951 г. главный редактор "Корнхилл мэгэзин", с 1951-го по 1979-й – журнала "Хистори тудэй".

му я с тревогой ждал его следующего романа. Приятно отметить, что все мои страхи, — а они даже усилились, когда я увидел заглавие и прочел цитату из Т. С. Элиота, украшающую титульную страницу[1], — оказались абсолютно беспочвенными, поскольку "Пригоршня праха", безусловно, самый зрелый роман Ивлина Во, лучший из написанных им. В нем трагедия тесно переплетена с комедией. Читатель "Пригоршни праха" не прерывает чтение, чтобы отложить книгу и громко посмеяться, как это было с "Упадком и разрушением". Напротив, на протяжении всего романа его все время искусно держат в легком напряжении. В одно и то же мгновение он улыбается и слегка ужасается. Трагедия, по сути своей, смахивает на фарс, а во многих комических ситуациях есть что-то трагическое.

Эта история в равной мере мрачная и смешная. К своим персонажам Во подходит с искусным и невозмутимым спокойствием, и только в одном эпизоде его обычное отношение, казалось бы, смягчается, и язвительный тон, так подходящий писателю, изменяет ему. Я имею в виду то место, где говорится о сыне Тони Ласта и его отношениях с няней, родителями и лакеем, обучающим мальчика верховой езде. Этот эпизод сам по себе не должен был шокировать тонкого, несентиментального читателя; но, зная ход дальнейшего повествования, понимаю, что лучше бы Во ожесточился. В других местах его полная бессердечность составляет самую суть его метода. Тони Ласт — неплохой человек, он любит жену, малыша, случайно убитого на охоте, и свой Хеттон — громадный, уродливый особняк в стиле викторианской готики, на поддержание которого уходит весь его доход. Однако он так глуп, что и впрямь заслуживает участи рогоносца в награду за доверие и любовь. Его жена Бренда — очаровательная притворщица. Без особой причины она влюбляется в Джона Бивера, молодого человека, по утрам проводящего время у телефона, надеясь, что кто-нибудь пригласит его на ужин. (Иногда мечта сбывается.) Из-за отсутствия мотивации ее безрассудная страсть, как описывает или подразумевает автор, кажется еще более убедительной. Бренда щебечет о своем любовнике, называя его то "моим мистером Бивером", то "бедным мистером Бивером", а когда ей сообщают о гибели ее ребенка, она испытывает огромное облегчение, сообразив, что погиб ее сын Джон Эндрю, а не любовник, которого зовут просто Джон.

Она опустилась на жесткий ампирный стульчик у стены и села тихо-тихо, сложив руки на коленях, как благовоспитанный ребенок, которого привели в компанию взрослых. Она сказала:

1. В качестве эпиграфа к роману Ивлин Во взял строки из поэмы Т. С. Элиота "Бесплодная земля": "...И я покажу тебе нечто отличное / От тени твоей, что утром идет за тобою, / И тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку: / Я покажу тебе ужас в пригоршне праха". Перевод А. Сергеева. (*Здесь и далее в разделе – прим. Н. Мельникова.*)

— Расскажи мне, как это было. Откуда ты узнал?

— Я не уезжал из Хеттона после воскресенья.

— Из Хеттона?

— Разве ты не помнишь? Джон сегодня собирался на охоту.

Она нахмурилась, до нее не сразу дошли его слова.

— Джон... Джон Эндрю... Я... слава богу... — и она разрыдалась. Она беспомощно плакала, отвернув от Джона лицо и уткнувшись лбом в золоченую спинку стула[1].

Трагедия их любовной истории — в ее абсолютной пустоте; этот эпизод тем более убедителен, что автор очень мало говорит нам о любовниках и, за редкими исключениями, не пытается анализировать природу физической и эмоциональной привлекательности "бедного господина Бивера". Отношения между Бивером и Брендой вряд ли можно назвать любовной связью в подлинном смысле слова. Бренда со своим возлюбленным, похоже, заняты какой-то нелепой, разрушительной и ненужной игрой, возбуждаемые сплетнями знакомых, подстегиваемые, как в случае Бивера, соображением, что роман поднимет его престиж в обществе, и уверенностью Бренды в том, что она снова почувствует себя молодой. Дружба их постепенно угасает, как и должно было случиться. Как же странно, что редактор католического журнала обвиняет эту книгу в "упорной и дьявольской жестокости", называет ее "мерзкой", "дурно пахнущей" и считает, что ей не место на книжной полке безупречного католика![1] То, что книга жестокая, несомненно; и все же более "добродетельную" книгу я редко встречал на своем пути, хотя мистер Во настолько умный писатель, что не станет прилагать к ней откровенное нравоучение. Его новый роман оставляет странное ощущение, какое бывает после чтения строгих и бескомпромиссных Отцов Церкви, убежденных в том, что жизнь человеческая — хаотичное сплетение склонностей и страстей и что лишь немногие и очень сильные страсти достойны удовлетворения. Меня книга, как ни странно, забавляет и вдохновляет, но автор не виноват в том, что он такой блестящий рассказчик.

У мистера Во экономная манера повествования. Его портреты, особенно Джона Бивера и неугомонной миссис Бивер, которая занимается новомодным ремеслом, носящим название "дизайн интерьера", намечены несколькими по-кошачьи нежными штрихами. Во дорожит своим временем и временем читателя.

New Statesman, 1934, September 15, p. 329

1. Перевод Л. Беспаловой.

1. После выхода романа "Черная напасть" (1932) главный редактор католического журнала "Тэблет" Эрнест Олдмедоу (1867–1944) развязал против писателя настоящую кампанию и в целом ряде публикаций довольно неуклюже обвинял его в безнравственности и других смертных грехах. В рецензии на "Пригоршню праха" Олдмедоу нехотя признал "бесспорный талант" автора, однако продолжил сетовать на его жестокость и снобизм (Oldmeadow E. The Pity of It. / Tablet, 1934, vol. 164, n. 4922 (September 8), p. 300–301).

Джон Хатченс
Лучший роман Ивлина Во

Рецензия на роман “Возвращение в Брайдсхед”

Brideshead Revisited. – Boston: Little Brown & Co, 1946

Перевод Анны Курт и Аллы Резниковой

“Я хочу рассказать вам о памяти, которая окрыляла массы”, – говорит повествователь в новой книге поразительного английского сатирика 1920–1930-х годов Ивлина Во, которая называется “Возвращение в Брайдсхед”. В этом глубоко прочувствованном и тщательно написанном произведении автор переходит из одного мира в другой, большой, мир: из безумного и шутовского Мейфэра, где упрощается все и вся, из мира забав, где все серьезное превращается в фарс, в мир, где мысли и чувства людей заслуживают доверия. Можно спорить о том, так ли искусен роман “Возвращение в Брайдсхед” с формальной точки зрения, как другие его книги – “Упадок и разрушение”, “Мерзкая плоть” и “Пригоршня праха”. Сейчас важно то, что книга значительнее и богаче и, скорее всего, это лучший по содержанию и стилю роман, появившийся в последнее десятилетие. Говорю это для тех почитателей Во, которые могли подумать, что он исписался. Важно и то, что книга подспудно свидетельствует об авторе и его росте как аналитика и художника.

Ивлин Во, несомненно, гениальный по точности и ясности художник, с которым не сравнится никто из современных англоязычных прозаиков. Это было очевидно с самого начала его писательской карьеры, и “Возвращение в Брайдсхед”, отличаясь от всех предыдущих произведений совершенно особой интонацией, манерой изложения, местом действия, тем не менее, стал логическим продолжением выбранного пути.

“Возвращение в Брайдсхед” обладает той силой и глубиной, которые характеризуют Во как искусного писателя, находящегося на пике творчества, поражающего живым умом, не потерявшего ничего из уже достигнутого. Захватывающая история изложена образным языком. Так или иначе в ней подытожено и прокомментировано все характерное для нашего времени и общества. Почти романтическое ощущение чуда сочетается с дерзкими суждениями писателя-реалиста. Одним

© Анна Курт, Алла Резникова. Перевод, 2016

Джон Хатченс [1905–1995] – американский критик и журналист; с 1946-го по 1948 г. – редактор книжного приложения газеты “Нью-Йорк Таймс”.

словом, это большой содержательный роман, открывающий сезон 1946 года; роман, выполненный с совершенством, превосходящий другие романы уходящего года, несмотря на их разнообразные достоинства.

От прежнего Во остается Воморалист. Автор книги, безусловно, моралист, каковым был всегда. Если поглубже вглядеться в изображение веселой жизни Мейфэра, мы увидим, что автор выполняет древнюю функцию сатирика — подвергает суровой критике нравы и нормы общества. Излишне говорить, что он слишком крупный художник (и тонкий шутник, умеющий развлечь читателей), чтобы заниматься нравоучением. Избежать этого, однако, не удается, и сатирик все равно расправляется с абсурдом жизни, в том числе и с пустопорожними обычаями, а моралист ненавидит несправедливость и уверен в ценности разума и элементарной порядочности.

Если, помимо "Возвращения в Брайдсхед", вы читали другие вещи Во, то поняли, что, начиная с первой книги ("Упадок и разрушение"), он был отлично оснащен для жанра общественной сатиры. Уже тогда он прекрасно знал, о чем говорит: мы имеем сведения из первых рук от человека, который жил в этом мире и, пожалуй, даже был его частью. Он пишет так, что его колкие остроты поражают жертву или пронзают ее насквозь, как того требуют обстоятельства. Его перо работает безупречно и быстро. Вы переходите от предложения к предложению, ощущая почти чувственное удовольствие от его умения подобрать точное слово, особую деталь для характеристики человека или места, восхищаясь его замечательным чутьем на все нелепое и смешное. Прочитав первые две страницы "Упадка и разрушения", мы понимаем, по меньшей мере, то, что в литературу пришел первоклассный мастер фарса:

> ...Ветераны-боллинджеровцы стекались в Оксфорд со всех концов Европы. Второй день тянулась кавалькада припадочных монархов в отставке, неуклюжих сквайров из обветшалых родовых поместий, проворных и переменчивых, как ветер, молодых дипломатов из посольств и миссий, полуграмотных шотландских баронетов из сырых и замшелых гранитных цитаделей...[1]

Если бы он даже больше ничего не написал после этого, его все равно бы помнили за тот яркий спектакль, который он устроил в романе, за великолепное безумство его лучших страниц: сатиру на спортивный праздник в школе, портрет бывшего взломщика, а ныне дворецкого в брюках для гольфа болотного цвета, махинации с "белыми рабынями" виконтессы Метроланд, подтрунивание над английской пенитенциарной системой. В этой книге мы ясно видим автора — молодого человека, вооруженного дубинкой и рапирой и прекрасно владеющего и тем и другим.

Ему было двадцать пять лет, когда он сочинял свою первую книгу и, возможно, от природного избытка сил пускал в ход

1. Здесь и далее роман "Упадок и разрушение" цитируется в переводе С. Белова и В. Орла.

дубинку чересчур часто. Отсюда — смешные имена в духе Теккерея ("маленький лорд Тангенс, сын графа Периметра, лорд Какаду и др.), элементы экстравагантной комедии (любопытство виконтессы Метроланд, невинный Поль Пеннифезер, изгнанный из Оксфорда за то, что "пробежал по двору колледжа без штанов"). В "Мерзкой плоти" и "Сенсации" Ивлин Во вновь делает главным героем простака, чьи бесконечные злоключения, в сущности, следуют классическим образцам; но уже во втором романе его сатира становится необычайно искусной.

Из всех его книг наибольшей популярностью у американских читателей пользуется "Мерзкая плоть", сделавшая его признанным летописцем того, что названо в книге "твердым ядрышком веселья, которое ничем не расколоть". Его юмор — гомерический и вместе с тем беспощадный. Он не щадит никого, от верующей миссис Оранг до репортера светской хроники Майлза Злопрактиса. Все его герои — снобы или жадные, продажные, коварные люди, участвующие в трагикомической декадентской буффонаде. Как сатирик он имеет право на свободные мазки и пишет "Пригоршню праха" — еще одно беспощадное исследование общественной и частной морали, в котором наряду с грубыми шутками преобладает скорее мрачная ирония, нежели фарс. До "Возвращения в Брайдсхед" этот роман был его лучшей и самой утонченной книгой.

В нем не было смелой импровизации, как в "Упадке и разрушении", и тех затейливых приемов, заставляющих читателя забыть о том, насколько незамысловата рассказываемая история. Зато впервые в книгах Во появились герои, получившие полноправное существование: порядочный, но обыкновенный муж, уважающий традиции и обычаи, жена, которая ему изменяет без всякой причины, даже не от скуки. Над всем этим нависает ужас, скрытый в цитате из Т. С. Элиота, из которой взято название книги: "Покажу тебе страх в пригоршне праха". Автор не нагнетает, а лишь намекает на него. И все выполнено с завораживающей мощью и театральной экономностью художественных средств, когда основные сцены и мотивы изображаются весьма непринужденно.

Ивлин Во, вероятно, уже тогда мог приступить к созданию такой вещи, как "Возвращение в Брайдсхед". Но вместо этого он занялся путевыми заметками, биографией, изучением Мексики и еще двумя романами: "Сенсация" и "Не жалейте флагов". Из двух последних книг лишь первая кажется читателю чисто юмористической, где автор добродушно высмеивает газетных магнатов, военных корреспондентов и навязываемый обществу культ героев. Все это описано в его отточенной издевательски-серьезной манере, как и сцена, где он подготавливает почву для приключений репортера в Измаилии (Абиссинии).

В семидесятые годы прошлого века в Измаилию или в соседние районы приезжали бесстрашные европейцы с надлежащим снаряжением: часами с кукушкой, фонографами, оперными шляпами, проектами договоров и национальными флагами, которые

должны были там оставить. Они приезжали как миссионеры, послы, торговцы, старатели, естествоиспытатели. Назад никто не вернулся. Их съели — всех до единого[1].

В романе "Не жалейте флагов" он возвращается в Мейфэр, к прежней толпе, изображая ее на фоне Второй мировой войны, вернее первых этапов войны. Можно предположить, что именно в этом романе манера, характерная для "Упадка и разрушения" и "Мерзкой плоти", обнаруживает первые признаки утомления. "Призраки", как назвал Во эту толпу в посвящении[2], превращают войну в приятную забаву, они перерезают друг другу горло, пока административная волокита запутывает людей в кабинетах бюрократов. Веселая, развлекательная и желчная книга казалась эхом. Даже без неожиданного эпилога, где порочных и искушенных героев внезапно охватывает священный огонь патриотизма, подспудно создается ощущение, что все это — чересчур простой рисунок. Чересчур простой не для каждого писателя, но для такого таланта, который мог создать "Пригоршню праха". Не слишком ли сильно карает он своих жертв, которых столь предусмотрительно и забавно уже дважды уничтожил?

Дело в том, что он достиг совершенства в рамках определенной формы и теперь уже не мог создать внутри нее ничего нового. Он выработал стиль, который в точности подходил для его цели: стремительный, точный, предельно экономный. Перечень его побед впечатляет. Как романист он блестяще высказался о многом: о "золотой молодежи", бестолковых дипломатах, газетах, образовании, кинематографе, снобах, хапугах и лицемерии. Он писал развлекательную и по обычаю хороших сатириков чрезвычайно назидательную прозу. Как биограф он начал с пикантного жизнеописания Россетти, а в 1936 году получил премию Хоторндена за книгу "Эдмунд Кампион" — превосходную монографию об ученом иезуите и мученике. Как автор путевых заметок в книгах "Девяносто девять дней" и "Во в Абиссинии" он оставил очень живые личные свидетельства, а в книге "Мексика: наглядный урок" изложил точку зрения, которая более либеральным наблюдателям могла бы показаться произвольной, но, на самом деле, была добросовестным, хорошо обоснованным отчетом консерватора.

Проблема, с которой Во столкнулся как прозаик, заключалась не в том, что он не взволновал американскую публику. До сих пор его книги никогда не были у нас бестселлерами, хотя никто не объяснит почему. "Мерзкая плоть" расходилась вполне приличными тиражами в нескольких переизданиях. "Пригоршня праха" с благословения Александра Вулкотта появилась в одной из его хрестоматий. Но издания,

1. Перевод А. Бураковской.
2. Во посвятил "Не жалейте флагов" своему приятелю Рэндольфу Черчиллю. В русском переводе романа, впервые выпущенном в 1971 г. издательством "Молодая гвардия", это посвящение отсутствует.

выходившие в Америке, продавались плохо, и только его немногочисленные поклонники могли обстоятельно рассказать о самом писателе и его книгах.

Даже едва знакомым с его книгами читателям было небезынтересно узнать, какое направление примет его талант в решающие годы войны после появления романа "Не жалейте флагов". "Возвращение в Брайдсхед" — произведение зрелого мастера, которое удовлетворяет его поклонников больше, чем они могли бы предположить.

В этом романе вновь описывается Англия после Первой мировой войны, но совсем в другом ракурсе. Мы смотрим на происходящее не глазами сатирических персонажей, вроде Поля Пеннифезера или Уильяма Бута, — прием, характерный для ранних произведений Во, — рассказ ведется от первого лица умным и глубоко чувствующим наблюдателем Чарльзом Райдером, архитектором и художником, капитаном британской армии, вспоминающим в зрелом возрасте свою юность. В композиции романа "Возвращение в Брайдсхед" этот новый ракурс крайне важен: в рамках между прологом и эпилогом, в которых помещается действие, повествование обретает перспективу и гибкость, а очарование пережитого просеяно в воспоминаниях. Здесь опять эмоциональная интонация и содержание романа превосходят все, прежде написанное автором. Он и в других романах умел передать неброский трагизм происходящего, скажем, описывая смерть мальчика в "Пригоршне праха", или в неожиданном и чудовищном окончании этой же книги. "Возвращение в Брайдсхед" отличается тем, что эмоция в нем обнажена и исходит, так сказать, из сердца.

Вначале роман довольно весел: любовно ироничная картина Оксфорда 1923 года, эстетизм подсолнухов, яйца какаду, обычай напиться за официальным обедом, обмен легкими шутками, легкая безответственность, словом, "Шутовской хоровод". Именно там Райдер встречает лорда Себастьяна Флайта и завязывает с ним романтическую дружбу. Себастьян — блестящий, очаровательный "полуязычник", второй сын в старинной католической семье, находящейся на грани распада; видимо, это символ, указывающий на перемену в жизни Англии, переходящей от старого уклада к новому. Потом, когда действие переносится в Брайдсхед с его барочным замком, тон становится более трезвым: разворачивается история любви Райдера и сестры Себастьяна Джулии, которая предваряется духовной близостью Райдера и Себастьяна; церковь дает райское убежище израненной душе спившегося Себастьяна, возвращает на праведный путь Джулию, и даже загадочный отец наконец приезжает из Италии домой умирать.

В этом много от раннего Во: та же отточенность фраз, меткие и даже убийственные подробности, живая речь, презрение к вульгарности, краткие описания второстепенных

персонажей (Антони Бланш, эстет уайльдовского типа, лукавый отец рассказчика — глуповатый пожилой господин). Эти черты и свойства легко можно развить, поэтому мы ждем их появления в каждой книге Во; они — его неотъемлемая часть.

Свободный стиль и композиция, простор появились здесь впервые. Предложение за предложением, абзац за абзацем размышлений, чередующихся с описаниями, были невозможны в его предыдущих книгах с их неспокойной атмосферой. Эта книга все равно что полноценная пьеса вместо ловко состряпанного водевильного скетча. Например, нигде, даже в "Пригоршне праха", автор не позволил бы себе таких строк:

> Вот каким было существо, везшее меня однажды в автомобиле сквозь летние сумерки — ни женщина, ни дитя, — девочка, еще не потревоженная любовью, вдруг смущенно открывшая силу своей красоты, стоящая в нерешительности на зеленом берегу жизни; человек, увидевший у себя в руке неведомо откуда взявшееся смертельное оружие; героиня детской сказки, держащая в горсти волшебное колечко — стоит только потереть его кончиками пальцев и шепнуть волшебное слово, и земля разверзнется у ее ног...[1]

О поставленной Во проблеме или скорее о предложенном им выводе, безусловно, предстоит немало дискуссий и даже споров. Католик Ивлин Во по своим политическим взглядам консерватор. Он ни на чем не настаивает ни как писатель, ни как рассказчик, ни как художник. Он настолько объективно описывает влияние католицизма на жизнь семьи Марчмейнов, рассматривая его как бы глазами повествователя, не-католика, что истолковать его рассказ можно как немного язвительное свидетельство неверующего человека, столкнувшегося с совершенно новым для себя взглядом на жизнь и сильно им озадаченного. Он, по сути, говорит, что вера — это спасительная реакция того, кто ее имеет или имел когда-то; это едва ли можно назвать пропагандой, хотя его непременно в ней обвинят. Будут также говорить, что его политический консерватизм проявляется в нежелании принять социальные изменения, что действительно верно; конец Брайдсхеда, по его мнению, заслуживает сожаления и наводит на дурные предчувствия, ибо он верит в "порядок" и непрерывность традиции. А более всего он верит в ответственность, которой так не хватало его классу, за что он беспощадно его обличал.

Однако, всем, кто не разделяет его религиозных либо политических взглядов, или даже тех и других, придется потратить немало времени на то, чтобы доказать, что они плохо повлияли на его литературный дар. Роман "Возвращение в Брайдсхед" — выдающееся достижение Ивлина Во.

1. Здесь и далее роман Возвращение в Брайдсхед" цитируется в переводе И. Бернштейн.

New York Times Book Review, 1945, December 30, p. 1, 16

Эдмунд Уилсон
Блеск и нищета Ивлина Во

Рецензия на роман “Возвращение в Брайдсхед”

Brideshead Revisited. — Boston: Little Brown & Co, 1946

Перевод Аллы Резниковой

Новый роман Ивлина Во “Возвращение в Брайдсхед” стал для пишущего эти строки тяжелым ударом. Я всегда хвалил мистера Во[1], восхищался им и, когда начал читать “Возвращение в Брайдсхед”, обрадовался, увидев, что он оставил свою знаменитую насмешливую манеру и вышел в другое измерение. Его новое произведение с подзаголовком “Духовные и светские заметки капитана Чарльза Райдера” — это так называемый серьезный роман в самом традиционном смысле слова со стихами во вступлении, где применяются сильнодействующие средства, что, казалось бы, многое обещает... Вся первая часть написана блестяще, отчасти в манере хорошо нам знакомого Ивлина Во, а отчасти новым чарующим стилем, близким к Скотту Фицджеральду и Комптону Маккензи. Он описывает время, прославленное этими старыми мастерами, но увиденное из мрачных, пожухших сороковых годов, и все былое — свобода, веселье и опьянение юности — кажется далеким и пафосным. Очень искусно описано знакомство главного героя с католической семьей; постепенно раскрывается ее странность, отличия от протестантской Англии. Ознакомившись с первой частью книги, читатель, привычный к стилю Ивлина Во, может подумать, что его любимый автор оперился и стал первоклассным романистом.

Но он жестоко разочаруется. Отказ Ивлина Во от комической условности, столь же важной для его предыдущих вещей, сколь и для драматургов периода Реставрации, влечет за собой губительные последствия. В этом более нормальном мире писатель уже не знает, куда идти. Недостаток здравого смысла перестает быть ценным качеством и ставит его в неловкое положение, а творческое воображение,

© Алла Резникова. Перевод, 2016

Эдмунд Уилсон [1895–1972] — американский критик, эссеист. В “ИЛ” опубликована его переписка с Владимиром Набоковым [2010. № 1].

1. Эдмунд Уилсон, действительно, высоко оценил довоенные произведения Ивлина Во в статье “‘Никогда не извиняйся, никогда не объясняйся...’: Творчество Ивлина Во” (“Never Apologize, Never Explain”: The Art of Evelyn Waugh // New Yorker, 1944, March 4, p. 68–72).

привыкшее в его сатирической прозе временами работать над двухмерной карикатурой, а теперь призванное возбуждать страсти и энергию, рождает лишь романтические фантазии. Герой вступает в связь с замужней старшей дочерью Марчмейнов (совершенно искусственный персонаж), что приводит к банальности, которая напоминает адюльтеры начала XX века, с большой обстоятельностью описанные Голсуорси и другими писателями, заставлявшими нас переживать, проливая слезы над такими вещами, как "Темный цветок". По мере того как автору изменяет литературный вкус, его прекрасный слог тускнеет. Если первые главы он писал в лучшем своем стиле — ненавязчиво, точно, метко, то теперь опускается до таких досадных штампов, как "Облака сгущались, но гроза еще не разразилась". Или: "А годовой срок истекал, и тайна помолвки распространилась от доверенных подруг Джулии через доверенных подруг этих подруг, пока, наконец, точно круги по воде, добежавшие до топких берегов, не появились кое-какие намеки в печати". Шаблонные персонажи — искушенный аристократ и старая добрая няня, всегда присутствующие в книгах Во и вполне подходящие для буффонады, здесь совершенно неправдоподобны и утомительны. Последние сцены экстравагантны до абсурда, их нелепость была бы уместна в лучших произведениях Во, если бы, говорю это с горечью, они не замышлялись как нечто серьезное. Искушенный аристократ, оставив жену, отрекается от католической веры и на смертном одре отказывается от услуг священника, но в предсмертной агонии снова вспоминает о нем. Семья преклоняет колени, и находящийся тут же Чарльз делает то же самое. Как бы упорно он ни отстаивал свой протестантизм, его сопротивление сегодня сломлено. Он молится о том, чтобы старик принял святое причастие, и — подумать только — лорд Марчмейн осеняет себя крестным знамением! Перед смертью пэр произносит последний красноречивый монолог: "Тогда мы были рыцари, бароны после Азенкура, прочие титулы пришли с Георгами" и т. д., и т. п., и у читателя возникает неловкое чувство, что герой мистера Во пал на колени, возможно, не оттого, что умирающий перекрестился, а потому, что был поражен знатностью лорда Марчмейна, представителя одного из древнейших родов Англии.

Все дело в том, что снобизм мистера Во, до сих пор сдерживаемый его юмором, предстает здесь во всем своем неистовстве и бесстыдстве. В прежних романах, где нормы морали и вкуса оставались на заднем плане и просто подразумевались, уже проступало его восхищение старинной аристократией, разительно непохожей на современных выскочек. Здесь же выскочки довольно грубо спародированы, аристократы превратились в ничтожества, но культ высшей знати отправляется с такой экзальтированной торжественностью, что, в конце концов, создается впечатление, будто в книге это единственная и подлинная религия.

Тем не менее роман — настоящий католический памфлет. Все в семье Марчмейн, хотя и по-разному, уступают голосу веры и свидетельствуют о ее неувядаемой ценности, а герой-скептик, много язвивший и враждебно настроенный, становится верующим. Вновь открытая старая часовня передана в пользование военным, и "туда ходит на удивление много народа". Следует сказать, что я, возможно, недооцениваю значение этой книги, внятное другим читателям, поскольку не разделяю взглядов верующих католиков, однако никак не могу поверить в то, что автор рассказывает о подлинном религиозном опыте. В ранних романах Во всегда присутствовал важный элемент упрямого своеволия, приводившего к неразберихе и бесстыдству, что служило отличным материалом для писателя-сатирика. В его новой книге данная тема, выраженная совершенно недвусмысленно, звучит непривычно выспренно уже в начале романа: "ибо горячий ключ анархии, зарождаясь в глубинах, где не было ничего твердого, вырывался на солнце, играя всеми цветами радуги, и силе его порыва не могли противостоять даже скалы". Этот горячий ключ анархии, эту отчаянную неискупленную человечность нужно охладить и обуздать дисциплиной католической веры. Однако Ивлин Во, посчитав эту силу греховной, по-видимому, ее испугался: он не позволяет ей по-настоящему поднять голову — смело, яростно, радостно или ужасно, как позволил в других книгах. В результате, нам этого крайне не хватает, ибо пропало существенное качество писателя, и религия, призванная исправить это упущение, больше походит на обряд изгнания бесов и перестает быть силой духовного возрождения.

В романе "Возвращение в Брайдсхед" есть еще одна тема, не вполне разработанная, но куда более подлинная, чем тема религиозная. Я говорю о положении Чарльза Райдера между семьей Брайдсхеда, с одной стороны, и его собственной семейной историей, с другой. У юноши нет матери, он живет с ученым и эгоцентричным отцом, жизнь которого настолько суха, замкнута, лишена всяких привязанностей и бесцветна, что мальчика тянет к семье его оксфордского приятеля. При всем ее обаянии и добросердечии он эту семью идеализирует. Неверующему читателю интересно происхождение и эволюция чарующего снобизма героя, а занимательный и жутковатый рассказ о том, как Чарльз проводит каникулы в отцовском доме, — одно из лучших мест в романе. Комические эпизоды в книге "Возвращение в Брайдсхед" так же смешны, как все, что делает автор, а герои-католики иногда хороши как социальные типы, если автор относится к ним так же безжалостно, как к персонажам его сатирических произведений. Я вовсе не хочу сказать, что Во должен вернуться к прежней манере. Он неуклонно совершенствует свое искусство и, когда в следующий раз попытается быть абсолютно серьезным, ему, возможно, удастся избежать ложного пафоса.

Между тем я предсказываю, что "Возвращение в Брайдсхед" будет самой успешной книгой из всех, написанных Ивлином Во, и в списке бестселлеров окажется где-нибудь между "Черной розой" Томаса Бертрама Костейна и "Манатейей" Нэнси Брафф[1].

New Yorker, 1946, January 5, p. 71

Джордж Оруэлл

Путешествие Ивлина Во в опасную Нейтралию

Рецензия на повесть "Новая Европа Скотт-Кинга"

Scott-King's Modern Europe. – L.: Chapman & Hall, 1947

Перевод Анны Курт

Последняя книга Ивлина Во, "Незабвенная", – настоящая атака на американскую цивилизацию, причем отнюдь не беззлобная. В "Новой Европе Скотт-Кинга" Во хотел столь же сурово расправиться с родным континентом. "Америка обожает трупы, а Европа наладила их серийное производство", – вот что, кажется, хочет сказать автор. Обе книги в каком-то смысле дополняют друг друга, но "Новая Европа Скотт-Кинга" не столь блистательна, как "Незабвенная".

Чем-то она напоминает "Кандида"; вероятно, автор сознательно стремился создать современную параллель знаменитого романа Вольтера с той разницей, что главный герой – человек средних лет. Подразумевается, что в наши дни идеалы и совесть есть только у сорокалетних. Дети рождаются бездушными. Скотт-Кингу сорок три года, он "немного лысоват и полноват", преподает в Гранчестере, престижной, хотя и не самой знаменитой частной школе. Скучный, ничем не примечательный малый обожает

© The New York Times Books Review. 1949. February 20. p.1, 25. Permission of A. M. Heath and Co. Ltd. on behalf of Tertius Enterprises Ltd.
© Анна Курт. Перевод, 2016

Джордж Оруэлл [наст. имя Эрик Артур Блэр, 1903–1950] – английский писатель и публицист.

1. "Возвращение в Брайдсхед" ставится в один ряд с бестселлерами 1945 г.: любовным романом Нэнси Брафф (р. 1915) и историко-приключенческим романом беллетриста Томаса Бертрама Костейна (1885–1965).

старину и древние языки и безуспешно борется с упадком современного образования.

Автор говорит, что к нему лучше всего подходит эпитет "безвестный". На досуге он изучает поэта, еще более безвестного, чем он сам, некоего Беллориуса, жившего в XVII веке на окраине Европы, в империи Габсбургов, а ныне независимой республике Нейтралии.

В недобрый час Скотт-Кинг получает приглашение посетить Нейтралию, где отмечают трехсотлетие Беллориуса. Влажное лето 1946 года было суровым и голодным, и Скотт-Кинг предвкушает сдобренные чесноком блюда и бутылки красного вина. Он принимает приглашение, смутно догадываясь, что за ним кроется какой-то подвох.

Тут искушенный читатель Ивлина Во мог бы предсказать, что героя ждут злоключения, и не ошибся бы. Нейтралия вбирает в себя Югославию и Грецию, здесь правит "Маршал" и процветает шпионаж, бандитизм, пышные банкеты и речи о юности и прогрессе. Почести, воздаваемые Беллориусу, на самом деле сплошной обман. Власти хотят заманить гостей, чтобы они поддержали режим маршала. Приглашенные попадают в ловушку и вскоре узнают, что теперь их всюду проклинают и называют "фашистскими прихвостнями". На этом гостеприимство заканчивается.

Нескольких гостей убивают, другие не могут выбраться из страны. Самолеты забронированы для Особо Важных Лиц, а чтобы покинуть Нейтралию другими путями, нужно месяцами осаждать посольства и консульства. Автор опускает злоключения героя, слишком тягостные для беллетристики, и в конце концов Скотт-Кинг оказывается абсолютно голым в лагере подпольной еврейской эмиграции в Палестине.

Он возвращается в Гранчестер и посреди изрезанных парт и продуваемых насквозь коридоров директор с грустью сообщает ему, что на классическом отделении теперь будет еще меньше учеников, чем в прошлом году, поэтому ему придется совместить преподавание классических дисциплин с чем-нибудь более современным:

— Родители больше не заинтересованы в том, чтоб дать детям "истинное образование". Они хотят, чтобы мальчики, когда подрастут, получили какую-нибудь работу в нашем современном мире. Вряд ли вы можете осуждать их за это.

— Отнюдь, — сказал Скотт-Кинг. — Могу и буду[1].

Позже он добавляет:

Мне кажется, было бы воистину грешно хоть как-нибудь приспосабливать мальчиков для этого нового мира.

— Близорукая точка зрения, Скотт-Кинг.

— Вот здесь, господин директор, при всем моем уважении к вам, я с вами решительно не согласен. По-моему, это самая дальновидная точка зрения из всех, что предоставлены нашему выбору.

Заметим, что последнее утверждение весьма серьезно.

1. Перевод Б. Носика. (*Прим. перев.*)

Книга небольшая, не больше рассказа, и написана очень живо, но в ней есть определенный политический смысл. Нас подводят к мысли о том, что современный мир настолько безумен, что готов разнести себя на части в скором будущем, и пытаться понять его или договориться с ним бессмысленно. Это может привести лишь к собственному разложению. В надвигающемся на нас хаосе несколько моральных принципов, которых мы можем придерживаться, и несколько од Горация или хоров из Еврипида принесут больше пользы, чем так называемое "просвещение".

Можно обсуждать эту точку зрения, и все же следует отнестись с осторожностью к заявлениям о том, что невежество может быть преимуществом. В последние полвека твердолобая европейская косность, которую олицетворяет Скотт-Кинг, создала ту самую обстановку, которую высмеивает Ивлин Во. Революции происходят не в либеральных, а в тоталитарных странах, и то, что Ивлин Во этого не видит, не только сужает его политический кругозор, но и лишает рассказ смысла.

Автор, или его герой, считает, что если консерватору — то есть человеку, который не верит в прогресс и не видит разницы между двумя версиями прогресса, неинтересны оппоненты, это свидетельствует о поверхностности его взглядов. Скажем, было ошибкой представлять Нейтралию как диктатуру правых, наделив ее всеми пороками левых диктатур. "Между коммунизмом и фашизмом разница невелика", — хочет сказать Во, и все-таки это две разные догмы, хотя между ними действительно много общего. Нужно слишком многим пренебречь, чтобы не замечать эту разницу.

Портреты коррумпированных чиновников были бы более яркими, если бы автор не относился с таким презрением к государству, которое зовется "народной демократией", и попытался понять, как оно устроено.

Книга легко читается, но ей недостает сильных чувств, необходимых для политической сатиры. Можно принять взгляды Скотт-Кинга на современный мир, даже согласиться с ним в том, что классическое образование — лучшее лекарство от безумия, и все же нам кажется, что в борьбе с современным миром он достиг бы большего, если бы иногда отрывался от чтения дешевых антимарксистских брошюр.

New York Times Book Review, 1949, February 20, p. 1, 25

Десмонд Маккарти
Сатира Ивлина Во

Рецензия на повесть “Незабвенная”
The Loved One. — L.: Chapman & Hall, 1948

Перевод Николая Мельникова

Повесть “Незабвенная”, изданная совсем недавно, уже получила широкую известность. Номер “Хорайзэн”[1], в котором она впервые была напечатана несколько месяцев тому назад, вскоре раскупили: экземпляры журнала быстро переходили из рук в руки. “Что вы о ней думаете? Потрясающе, не правда ли? Чертовски забавно, верно? Вам она понравилась? Что вам не понравилось?” — таковы вопросы, которые задавали друг другу счастливые обладатели этого номера “Хорайзэн”.

В издательской рекламе на обложке книги “Незабвенную” сравнивают с “кошмарным сновидением”, но, на мой взгляд, в описанных событиях нет ничего нереального и кошмарного. Напротив, о них рассказывается в бесстрастно объективной манере. Именно это и обуславливает силу воздействия повести — то, с какой убедительностью она разоблачает тупую бесчувственность, извлекающую прибыль из соболезнований родственникам умерших. В книге беспощадно развенчивается глуповатый оптимизм современной цивилизации, в которой религиозные символы по-прежнему прекрасны, хотя уже ничего не значат, в которой как нечто само собой разумеющееся принимают утешения религии, не веря при этом в Бога, а нас настойчиво уверяют, будто в людских бедах нет ничего трагического.

Если вы презираете подобные взгляды, если считаете, что они лишают жизнь истинной красоты и при этом не облагораживают смерть, если они оскорбляют вас, поскольку наносят последний удар по бедному человечеству, пытаясь сорвать с него терновый венец, — тогда эта книга доставит вам такое же острое удовольствие, как и мне. Также вы поймете, что циническая жесткость поэта в качестве противовеса механической любезности смехотворного гробовщика-косметолога[1] необходима

© Николай Мельников. Перевод, 2016

Десмонд Маккарти [1877–1952] — английский критик и журналист, один из участников так называемой “Группы Блумсбери”; с 1920-го по 1928 г. — литературный редактор журнала “Нью-стейтсмен”, с 1928-го по 1934-й — главный редактор журнала “Лайф энд леттерс”.

1. Впервые повесть была опубликована в февральском номере журнала “Хорайзэн” за 1948 г.

1. Упоминаются главные герои повести: поэт Деннис Барлоу и его антагонист, мистер Джойбой.

для достижения конечного результата. Читатель, не уловивший этого, может посетовать, мол, сатира получилась чересчур злой. Если подобная мысль вдруг придет ему в голову, пусть он вспомнит о толстокожем и самодовольном мошенничестве, на которое она направлена.

Ивлин Во — самобытный писатель. Возможно, кто-то и сможет определить генеалогию его творчества — я нет. Я не смогу с уверенностью указать литературного предка, от которого он унаследовал неповторимую амальгаму гротеска и реализма. Ивлин Во — в высшей степени талантливый автор и, подобно своему старшему современнику, Сомерсету Моэму, вплоть до сегодняшнего дня неутомимо продолжал учиться писательскому мастерству и достиг виртуозной точности в описаниях и в передаче прямой речи. Когда в прошлом году вышла повесть "Новая Европа Скотт-Кинга", я сразу с удовольствием прочел ее, а затем перечитал с еще большим наслаждением. Здесь кроется различие между искусно выписанной художественной прозой и мощными, увлекательными, но небрежно выполненными произведениями: последние вы не станете перечитывать, пока более или менее не забудете их содержание. Я убежден в том, что хорошо написанные вещи гораздо более жизнеспособны, поскольку их художественные достоинства видны сразу же, с первого взгляда, а в дальнейшем могут оказаться еще более значительными.

У Ивлина Во острый глаз, ухватывающий общезначимое в эксцентричном и уникальном. В этом смысле его можно назвать карикатуристом, хотя в своих лучших вещах он производит совсем другое впечатление. Его первые сатирические произведения отмечены пэковским[1] озорством — здесь в особенности вспоминается его замечательная экстраваганца "Упадок и разрушение". Теперь, несмотря на все еще встречающиеся беззаботно-дурашливые эпизоды, сатира Во, несомненно, приобрела мизантропическую окраску, заставляющую вспомнить о Свифте, хотя его презрение вызвано не чувством гадливости к животному началу в человеке, а человеческой ложью, а в последнее время — особенно раздражающей его глупой претенциозностью тех, кто думает, что прекрасно проживет, игнорируя опыт предыдущих поколений. За любой глубокой сатирой, в дополнение к чувству юмора и кричащему абсурду, скрывается трагическое видение жизни. Вот почему "Незабвенная" — не только мрачный фарс, но и вдумчивая критика действительности.

Мне жаль, что издание снабжено иллюстрациями: подобные произведения в них не нуждаются. Дух, оживляющий страницы повести, настолько богаче и ярче этих картинок, что мне хотелось бы видеть книгу без них. Стюарт Бойл взялся за невыполнимую задачу.

Sunday Times, 1948, November 21, p. 3

1. Критик сравнивает раннего Во с шаловливым эльфом Пэком, героем шекспировской комедии "Сон в летнюю ночь".

Гор Видал

Сатирический мир Ивлина Во

Рецензия на роман “Безоговорочная капитуляция”

The End of the Battle. — Little, Brown and Company, 1961

Перевод Аллы Резниковой

Сатирик — это человек, испытывающий глубокое отвращение к обществу, в котором живет. Его ярость принимает форму остроумия, насмешки, издевательского юмора. На шкале литературно-эстетических ценностей Олдос Хаксли помещает сатирика в самом низу, утверждая, что “настоящий комедийный гений должен быть великим выдумщиком”, подобно Аристофану, создававшему миры, в противоположность “просто сатирику”, который непременно укоренен в *этом* мире. Сатирик, почти по определению, не создает, а реагирует на окружающий мир карикатурой и бурлеском, о которых Макс Бирбом писал так: “Бурлеск сочетает в себе несовместимое. Карикатура же представляет собой преувеличение. Чтобы представить в бурлескном виде статую Гермеса, нужно всего лишь надеть ей на голову цилиндр, а чтобы создать карикатуру, в ней все нужно гиперболизировать с головы до пят”. Сатирик может делать с этим Гермесом все что угодно, только не высекать его заново из камня. Это должен сделать за него кто-то другой. Он критик в полном смысле слова.

Ивлин Во — первый сатирик нашего времени. В течение тридцати лет его неистовство и остроумие приносили удовольствие и вызывали тревогу. Его гремучая смесь хорошо известна: тут и “золотая молодежь” двадцатых годов, и популярная пресса, и политические притязания Африки, и смерть в Голливуде... Все уложено в такую строгую прозу, что временами хочется нарушить синтаксис и предположить, что ее создатель небезупречен или хоть в чем-то американец.

Хотя яркая, холодная линия в его прозе никогда не пресекается, Ивлин Во по классификации Хаксли не принадлежит к числу комических гениев. Его персонажи взяты из жизни и иногда сопротивляются, когда он пытается их пришпилить к странице. Никаких новых миров он не создает, а просто вы-

© Алла Резникова. Перевод, 2016

Гор Видал [1925–2012] — американский писатель, критик и общественный деятель. Лауреат Национальной книжной премии [1993]. В “ИЛ” печатались переводы его романов “Вашингтон, округ Колумбия” [1968, № 11, 12], “Бэрр” [1977, № 7–10], “1876” [1986, № 4, 5].

ворачивает наизнанку уже существующий мир. Он скорее ищет в прошлом то, что было в нем хорошего, а не заглядывает в будущее. Он консерватор.

По своим политическим убеждениям — сторонник партии тори, по религиозным —новообращенный католик. Чтобы обличать пороки современности, у сатирика должны быть свои представления о том, какой должна быть жизнь. Необязательно это подчеркивать. Немногие сатирики желают, чтобы их всерьез считали реформаторами политического строя или морали, но у них перед глазами должен быть какой-то альтернативный путь, хотя бы для контраста. Для Во — это старая католическая Англия, где каждый знал свое место, оспаривать которое — значило восставать против Божьего промысла.

Раньше читатель лишь отмечал личные предпочтения Во и продолжал наслаждаться его беспощадным искусством, но в последние годы автор ждет от нас большего. Начиная с "Возвращения в Брайдсхед" (1945), Во стремился возвеличить выдуманный им мир, высмеивая непримиримого врага этого мира, то есть двадцатый век. К сожалению, когда он обращается от порока к добродетели, он сам себя обезоруживает. Его великий предшественник Ювенал предпочитал старую римскую республику пошлой Римской империи, но был слишком умен, чтобы воспевать политическую умеренность Суллы или утонченный аскетизм Катона. Он сосредоточился на грехах своего страшного века, служившего ему хорошим подспорьем.

В трилогии о войне, завершающейся "Концом битвы"[1], Во предается романтическим мечтаниям, столь же неприятным, как и предмет его сатиры, и вместе с тем настолько нелепым, что они подрывают его авторитет критика. Ювенал бы такой ошибки не допустил.

На протяжении Второй мировой войны Во служил в британской армии. "Люди при оружии" (1952), "Офицеры и джентльмены" (1955), а теперь и "Конец битвы" отражают впечатления Во, как он сам пишет, от периода "заключения русско-немецкого союза, после которого Вторая мировая война изменила свой характер" (приняла вид крестового похода), до договора союзников с Россией (после чего война утратила святость) и победы коммунистов в Югославии. Для своего повествования Во выбрал типичного протагониста. Гай Краучбек принадлежит к одному из старейших в Англии католических семейств, живущих в старом особняке под названием Брум.

В начале трилогии Гай ведет жизнь отшельника в окрестностях Генуи. Он разведен, хотя все еще считает, что соединен с женой узами церковного брака. Итальянцы не любят Гая, но он относится к этому равнодушно. Можно подумать, что он страдает болезнью, которая у католиков называется "душевной черствостью". Автор пишет:

1. Под этим названием в Америке вышла третья часть военной трилогии, изначально озаглавленная "Безоговорочная капитуляция".

Гай же не имел никакого желания ни внушать, ни убеждать, ни делиться своими взглядами и мнениями с кем бы то ни было. Он не дружил ни с кем даже на почве своих религиозных убеждений. Он часто жалел, что живет не во времена действия законов против папистов и нонконформистов, когда Брум был одиноким передовым постом католической веры, окруженным чуждыми этой вере людьми. Иногда он воображал себя отправляющим в катакомбах перед концом света последнюю мессу для последнего папы...[1]

Представьте себе: Ивлин Во и папа Иоанн XXIII находятся в подвале английского загородного дома. Взрывается бомба. Род человеческий уничтожен. Во ликует. Святой отец глядит на него с отчаяньем. Они служат обедню *при закрытых дверях.*

Из трех томов трилогии "Люди при оружии" — наилучший. Краучбек проходит военную подготовку. Дух времени схвачен. Несмотря на умышленную неопределенность его роли (католика и благородного человека), Во еще способен на великолепный поступок большой разрушительной силы.

В радиоприемнике в офицерской столовой прозвучало несколько выступлений мистера Черчилля. Гаю они показались невероятно хвастливыми, к тому же за ними, за большей их частью, последовали сообщения о крупных неудачах, подобно божьей каре в "Последнем песнопении" Киплинга. Гай знал мистера Черчилля только как профессионального политика, сиониста, компаньона газетных королей и Ллойда Джорджа.

По сравнению с Во Ювенал был добродушен и мил по отношению к Домициану.

В "Людях при оружии" мы находим одно из самых замечательных созданий Во — Эпторпа. Он товарищ Гая по оружию, патологический выдумщик. Мания и патология — ключ к комедийной выдумке. С неумолимой последовательностью он отдается своим бредовым идеям, которые усиливают комизм книги. Маниакальная страсть Эпторпа к "гром-боксу" (автономный химический клозет фирмы Коннолли) и поражение в противостоянии с другим столь же патологическим типом, бригадиром Ритчи-Хуком, описаны с необычайным блеском.

В "Офицерах и джентльменах" повествование переносится из Англии в Александрию, а потом показан débâcle[1] на Крите. Рассказ о военных действиях не вяжется с манерой Во, возможно потому, что он понимает: для одного война — пальба, а для другого — беда. Несмотря на ее неизменную ясность, проза часто становится поверхностной, и читатель начинает замечать уловки автора. Со времен викторианцев ни один писатель так охотно не прибегал к совпадениям и путанице, когда один персонаж принимается за другого. (На этом блестящем приеме по-

1. Здесь и далее роман цитируется по изданию: *И. Во.* Офицеры и джентльмены / Пер. П. Павелецкого, И. Разумного, А. Шевченко. — М.: Воениздат, 1979.

1. Разгром (*франц.*).

строен роман "Сенсация".) Меня все время интересовало: встретит ли Триммер (мужлан, из которого журналисты сделали национального героя) бывшую жену Гая в Эдинбурге. Все-таки Великобритания не настолько маленькая страна для подобных совпадений.

Кроме того, у Во появился новый пессимизм. Гай из милосердия дает Эпторпу выпить виски в больнице и тем самым убивает его.

Хотя Во считает, что добродетель сама себе награда, он, похоже, хочет сказать, что в этом жестоком мире ни одно доброе дело не может принести добрый плод. Подобно многим новообращенным католикам из английской литературной элиты, Во находится в опасной близости к манихейству.

Сага завершается "Концом битвы". Гай Краучбек вновь сходится со своей женой, которая погибает во время воздушного налета, в то время как он находится в Югославии. Во прекрасно описывает успешный заговор английских коммунистов, в результате которого Тито приходит к власти. Любители "Синей книги" Роберта Уэлча[1] будут благодарны за то, что подтвердились их худшие догадки. Во не щадит левую интеллигенцию — предмет его особой ненависти с тридцатых годов. С гениальной язвительностью он высказался и об американцах, чью речь не потрудился передать правильно: все они родом из Среднеатлантических штатов, но почему-то говорят "я щитаю...".

Нападкам подверглись представители мелкой буржуазии и мещанства. Это своего рода Сноупсы[1] Ивлина Во. Они беспринципны и неразборчивы в средствах. Со своим ужасным говором и растрепанными волосами, пронырливые, вероломные, они втираются в высшее общество, наследуют земельные наделы. Кто-то из героев замечает, что одна только прическа делает плебея невыносимым. В ответ на замечание, что можно постричься и по-другому, следует гневное восклицание: дело не в том, как волосы пострижены, а в том, как они "растут".

В "Конце битвы" автору удалось создать еще один объемный портрет. Это офицер Людович, пробившийся из низших чинов, самоучка, влюбленный в слова. Сначала он — высоколобый автор "Мыслей", потом пишет книгу ужасов, ставшую бестселлером, и, как помешанный, сюсюкает с пекинесом, купленным, как он объясняет, "для любви". К концу трилогии большинство героев погибает, поспешно убранные ав-

1. Основатель ультраправой партии "Общество Джона Бёрча" Роберт Генри Уэлч-младший (1899–1985), автор конспирологической теории, согласно которой правительства США и СССР контролируются "конспиративным кагалом интернационалистов, алчных банкиров и коррумпированных политиков"; запись его программных речей была выпущена в виде "Голубой книги 'Общества Джона Бёрча'".

1. Персонажи нескольких романов Уильяма Фолкнера, представители буржуазного семейства из округа Йокнапатофа, воплощающие худшие черты своего класса; их фамилия стала нарицательной для обозначения алчных и беспринципных дельцов.

тором. Немногие, кто все-таки выжил, удостоились счастливого конца. Гай Краучбек женится на католичке из древнего рода, и супруги мирно доживают свой век в Бруме, их будущее омрачает только склонность мужа к полноте.

Жизнь сатириков редко бывает счастливой. Желчь, которая переполняет их и позволяет бичевать пороки общества, может обратиться на них самих. Безумие Джонатана Свифта поучительно. Жизненный опыт Во, описанный в замечательном романе "Испытания Гилберта Пинфолда" (1957), вписывается в эту мрачную традицию. По мере того как писатель обращается от ужасов настоящего к своему ви́дению добродетельной жизни, проблемы его как художника неизбежно возрастают. Религиозные и общественные пристрастия — его личное дело; когда он навязывает их другим, он становится на сомнительный путь.

Столь точная в его злобных нападках проза становится напыщенной и фальшивой, когда он начинает проповедовать добро, любовь и благочестие. Перефразируя слова Джеймса о Мередите, можно сказать, что Во превращает лучшее в худшее. Снобизм, преклонение перед аристократами (невозможно забыть предсмертную речь пэра в "Возвращении в Брайдсхед", когда он перечисляет свои титулы, вызывая восторг у главного героя), его неприязнь к тем, кому не так повезло, способны вывести человека из себя.

Не обошлось и без странных неожиданностей и новых открытий. Одна из таких неожиданностей происходит в самом конце трилогии. Популярный роман Людовича называется "Желание смерти". Это одна из тех книг, которые уводят "из скучных серых аллей тридцатых годов в ароматные сады недавнего прошлого, преображенные и освещенные расстроенной памятью и воображением". Во пересказывает сюжет и высмеивает его. Почему? Потому что этот ужасный Людович написал "Возвращение в Брайдсхед", а Ивлин Во обратил на себя холодный блеск его взгляда. Результат испугал даже разбирающегося в литературе героя.

Интересно, что лишь очень немногие из великих мастеров литературной халтуры сознательно писали в начале карьеры всякую дрянь. В молодости большинство из них писали сонеты, один за другим. Возьмите Холла Кейна, протеже Россетти, или молодого Хью Уолпола, соперничавшего с Генри Джеймсом... Никто не собирался писать халтуру. Те, которые начинают с халтуры, далеко не уходят.

Сатирик, способный к самокритике, прокладывает новые пути. К счастью, Во никогда ерунду не пишет. Его трилогия о войне стоит того, чтобы рекомендовать ее читателю. Его остроумие не иссякло, оно достигло той полноты, когда даже ярость становится допустимой и благотворной.

New York Times Book Review, 1962, January 7, p. 1, 28

Энтони Бёрджесс
Ивлин Во: переоценка

Перевод Аллы Резниковой

Бывают писатели, которых мы боготворим, но от которых не особенно хотели бы получить новые произведения. Я бы не сильно обрадовался, узнав об открытии еще одной трагедии Шекспира, равной “Королю Лиру”, либо морской эпопеи, которую, по его словам, собирался писать Джеймс Джойс после “Поминок по Финнегану”. Хорошего понемножку! С Ивлином Во далеко не так. Когда-то я даже воображал себе, что рай — это такая страна, где всякий раз с утренним чаем тебе подают новую книжку Ивлина Во. Аналогия с чаем по утрам, а еще лучше с шампанским в полдень, вполне подходит этому писателю. Мне он по вкусу, и я хотел бы бесконечно возобновлять подобные ощущения. Но мне лишь остается перечитывать его вещи, поскольку писатель умер очень рано и успел написать не так уж много. И вот я до того, наверное, начитался, что, пожалуй, могу декламировать его прозу наизусть.

У Ивлина Во проза изысканна; признаю, что это свойство не годится для беллетристики. Изысканность, особенно такая, как у него, пародирующая августианский стиль[1], отдаляет повествование от изображаемых событий и героев, тогда как стиль прозы должен быть, как у Джойса, связан с происходящим. А Ивлин Во словно берет свои суждения откуда-то сверху, как святой Церкви Торжествующей. У Мюриэл Спарк тоже есть нечто подобное: возможно, это особенность писателей-католиков. Но она может обернуться жестокостью. Приведем отрывок из романа “Упадок и разрушение”:

Боллинджеровцы повеселились от души. Они разломали рояль мистера Остена, втоптали в ковер сигары лорда Рендинга и перебили его фарфор, разорвали в клочья знаменитые фиолетовые простыни мистера Партриджа, а Матисса запихали в кувшин. В комнате мистера Сандерса ничего (кроме окон) разбить не удалось, но зато была обнаружена поэма, которую он сочинял специально для Ньдюдигейтского поэтического конкурса — то-то была потеха.

© Anthony Burgess, 1998
© Алла Резникова. Перевод, 2016

Энтони Бёрджесс [1917–1993] — английский писатель, критик, композитор. В “ИЛ” печатались переводы его романов “Трепет намерения” [1991, № 12], “Железо, ржавое железо” [2004, № 1–3].

1. Августианский стиль характерен для неоклассического периода английского искусства (XVII в.).

Тут он и впрямь стремится не к изысканности, а к какой-то библейской непосредственности, но при этом совершенно лишен жалости. Нет в нем жалости и тогда, когда он убивает Джона Ласта в "Пригоршне праха". Желание быть хладнокровным, отстраненным, возможно, говорит о желании работать в стиле Гиббона[1].

То, что было неприятно в Ивлине Во как в человеке, присутствует и в его романах. Он был снобом, считал, что серьезного отношения заслуживает только английский правящий класс. В романе "Возвращение в Брайдсхед" представлена откровенно фальшивая ситуация, в которой английские католики отождествляются с английской аристократией. Ему невыносимо было думать, что обыкновенные ирландские труженики и официанты из Сохо — его единоверцы. Он был не только снобом, но и мизантропом. Ужасно относился к людям и заявлял, что, если бы не благодать, ниспосланная ему после обращения в католичество, он был бы намного хуже. Гнусность Во-человека накладывается на Во-писателя и искупается лишь двумя отнюдь не божественными благодатями — стилем и юмором.

Юмора Ивлину Во не занимать. Он очень остроумен. Немногие писатели так стойко, как он, могут поддерживать комедийный дух. П. Г. Вудхауз со временем выдыхается: слишком много шуток у него повторяется. Ивлин Во экономно расходует свой неистощимый запас в трилогии "Меч почета", в этой грандиозных размеров комедийной фреске. Его комедия превосходно уживается с высокой серьезностью и даже трагедией: это не просто жанр, а качество его литературы. Рассказ о débâcle на Крите написан тем же августианским стилем, что и о гром-боксе Эпторпа. С точки зрения исторической правды это удручает. Но стиль его точен, краток, сдержан и поднимает дух. Его юмор не просто развлекает читателя. Тема этой книги — лучшего из наших романов о Второй мировой войне — близка к теме "Конца парада" Форда Медокса Форда, тетралогии, позорно сокращенной до трилогии Грэмом Грином. В произведении Форда Первая мировая война показана как проявление, а не причина общественного краха. Во пишет о Черчилле, Сталине и Рузвельте, которые "руководят расчленением христианского мира". Сказано весьма точно, даже остроумно. Но вместе с тем трудно найти более жуткую фразу во всей современной литературе. Выражая точку зрения католиков из высших слоев общества, Ивлин Во констатирует: авторитетные мнения развенчаны, их заменили мнения масс.

Заглавие статьи обещало переоценку. Пока что я говорил лишь то, что все про Ивлина Во знают. В свое время, когда создавались "Упадок и разрушение", "Мерзкая плоть", "Черная напасть", его считали просто забавным, хотя и чем-то уязвленным, скажем, последней великой войной в "Мерзкой плоти" или людоедством в "Черной на-

1. Эдвард Гиббон (1737–1794) — английский историк, автор монументального труда "История упадка и разрушения Римской империи" (1776–1788).

пасти". Все изменилось с появлением романа "Возвращение в Брайдсхед", который писателю пришлось объявить "эсхатологической" книгой, где рассказывается о действии Божьей благодати. Она написана в стиле высокой романтики и при этом не без юмора. К ней следует относиться как к полноценному произведению, а не просто как к развлечению, но лишь немногие просвещенные читатели могут воспринять ее именно как роман. Это произведение пропагандирует идею католицизма, прекрасную и трогательную, но отягощенную убеждениями автора. Персонажи Генри Джеймса обладают свободной волей, а здесь все предопределено почти по Кальвину. Лорд Марчмейн, который всю жизнь был атеистом и сибаритом, на смертном одре осеняет себя крестным знамением. Бог побеждает; Бог должен победить; никакой борьбы не происходит.

"Меч почета" я считаю лучшим в английской литературе романом о войне, понимая, однако, что выбор невелик. Обзор ограничен. Гай Краучбек — бунтарь из высшего класса; войну в романе ведут офицеры, а солдаты находятся где-то сбоку припека и только смешно бранятся. В книге слишком много ухищрений, слишком много случайных встреч, словно война ведется лишь членами Брэттс-клуба[1].

Художественное достоинство "Конца парада" обуславливается тем, что все его элементы подчинены главной теме, как у Джеймса и Конрада; автор не щеголяет своим мастерством, избегает антологически ярких, цветистых фраз и не особенно стремится вызвать у читателя смех. А трилогию Во объединяет только главный герой и историческая действительность. История или автобиография представляет собой лоскут потертого плюша с беспорядочно нашитыми на нем драгоценностями. Тут и мозаика из блестящих кусочков, и театрализованное представление с восхитительными поворотами. Написано прекрасно, но к избранной теме не имеет отношения. Рассказать же историю с помощью одного лишь хорошего стиля невозможно. Когда У. Х. Оден писал, что прозаик должен "испытать всю славу подлеца"[1], он, по сути, отрицал право автора писать ярко и элегантно. Критики ошибаются, когда осуждают "угловатость" письма, скажем, Кингсли Эмиса, забывая, что нежелание придать предложению изящную форму в духе Во говорит о том, что автор тем самым выражает бесформенность обыденной действительности. Во пишет слишком хорошо для прозаика.

Я питаю нежные чувства к творчеству Во, хотя он отвергает то, что, по моему мнению, должно составлять суть романа. Но для романа как раз характерно качество, о котором я еще не говорил: тонкий слух писателя точно улавливает манеру речи, свойственную британскому высшему обществу. Когда у него заговаривает священник из Мэй-

1. Вымышленный Ивлином Во аристократический клуб Лондона, фигурирующий во многих его произведениях.

1. Стихотворение У. Х. Одена "Прозаик" цитируется в переводе А. Леонтьева.

нута, неизбежно получается карикатура ("А как мне различать ваших офицеров, если я не военный и совсем не разбираюсь в этом?"). Капралы и сержанты чересчур простонародны. Так, инструктор со стоном обращается к своему отряду: "А вы были, и ушли, и подвели меня". Но стоит заговорить леди Бренде, леди Килбэннок или Вирджинии Трой, мы тотчас понимаем, что звучат подлинные интонации довоенного Мейфэра. Лучшей похвалой стилю Во (это относится и к речи персонажей, и к рассказу о событиях) будет признание, что я неоднократно перечитываю его роман. Знаю, что меня ждет: снобистские замечания, суровые оценки, узкий кругозор автора, религиозная нетерпимость, недопустимая для новообращенного, — но в то же время я надеюсь получить удовольствие от чтения. Стараюсь не пропустить ни строчки. Что касается места Во в пантеоне англоязычных писателей, то я не вижу смысла в том, чтобы куда-либо его определить, поставив выше Грэма Грина, ниже Айви Комптон-Бернет или объявив эпигоном Рональда Фёрбенка. Во — виртуозный прозаик, он стоит в стороне от своих современников, именно в стороне, а не над ними. Как и предвидел Во, его мир канул в Лету вместе с войной, на которой он сражался. Зато его язык, в котором этот мир заключен, как личинка жука в капле янтаря, будет жить еще очень долго.

One Man's Chorus: The Uncollected Writings / Ed. by Ben Forkner. — L.: Carrol & Graf, 1998

Авторы номера

Андрес Неуман
Andrés Neuman
[р. 1977]. Поэт, прозаик, журналист. Лауреат премий имени Антонио Карвахаля [1998], имени Гарсиа Лорки [1999], издательства Гиперион [2002] и др.

Автор романов *Жизнь в окне* [*La vida en las ventanas*, 2002], *Путешественник века* [*El viajero del siglo*, 2009], сборников рассказов *Тот, кто ждет* [*El que espera*, 2000], *Последний миг* [*El último minuto*, 2001], поэтических книг *Правила ночи* [*Métodos de la noche*, 1998], *Тобогган* [*El tobogán*, 2002], *Песнь антилопы* [*La canción del antilope*, 2003], *Вглубь мистики* [*Mística abajo*, 2008] и др. В *ИЛ* напечатаны его рассказы [2010, № 10; 2015, № 12].
Перевод романа *Барилоче* [*Bariloche*] выполнен по изданию [Editorial Anagrama, 2000].

Пьера Маттеи
Piera Mattei
Итальянский поэт, прозаик, критик, переводчик.

Автор поэтических книг *Окно Сименона* [*La finestra di Simenon*, 1999], *Образчик кожи* [*Campione di pelle*, 2001], *Невидимая материя* [*La materia invisibile*, 2006], *Уравнение и облако* [*L'equazione e la nuvola*, 2009], *Подводные подруги* [*Le amiche sottomarine*, 2012], а также сборников рассказов *Соседи по дому* [*I vicini di casa*, 2000], *Север* [*Nord*, 2004], *Животная грусть* [*Melanconia animale*, 2008] и др. В жанре нонфикшн ей принадлежат книги *Поэты и город* [*I poeti e la città*, 2009], *Рим поэтов* [*La Roma dei poeti*, 2014] и др. Ее критические статьи и рецензии составили сборник *Критическое воображение* [*L'immaginazione critica*, 2009]. Заметное место в ее творчестве занимает поэтический перевод с английского [Э. Дикинсон, У. Уитмен, С. Плат], французского [Лафонтен], испанского [С. Вальехо].
Публикуемые стихотворения взяты из разных сборников.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Поэт, переводчик. Профессор Литературного института имени А. М. Горького, Почетный профессор Сиенского университета [Италия], Почетный доктор Римского университета *Сапиенца*. Командор ордена Звезды Итальянской Солидарности, лауреат премии Монтале [1983], Государственной премии Италии в области художественного перевода

Переводил лирику Данте, поэтов Возрождения, римские сонеты Джузеппе Джоакино Белли, стихи Умберто Сабы, Джузеппе Унгаретти, Эудженио Монтале, Марио Луци и других классиков итальянской поэзии XX в., прозу Л. Шаши, А. Камиллери и др. Неоднократно печатался в *ИЛ*.

[1996], премий *ИЛлюминатор* [2001], *Мондело* [2010], *Венец* [2011], *Мастер* [2012], За вклад в литературу поэтического фестиваля *Поэстате* в Лугано [2013].

Николай Георгиевич Мельников [р. 1970]. Литературовед, критик, кандидат филологических наук. Лауреат премии имени А. М. Зверева [2008].

Автор книг *О Набокове и прочем: Статьи, рецензии, публикации* [2014], *Портрет без сходства: Владимир Набоков в письмах и дневниках современников (1910–1980-е годы)* [2013]; редактор-составитель антологий: *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве И. А. Бунина: Критические отзывы, эссе, пародии (1890-е – 1950-е годы)* [2010], *Русское зарубежье о Чехове: Критика, литературоведение, воспоминания* [2010], *Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова. Критические отзывы, эссе, пародии* [2000]. Постоянный автор *ИЛ*.

Ивлин Во Evelyn Waugh [1903–1966]. Английский писатель.

Автор романов *Упадок и разрушение* [*Decline and Fall*, 1928], *Черная беда* [*Black Mischief*, 1932; рус. перев. *ИЛ*, 1991, № 6], *Пригоршня праха* [*Handful of Dust*, 1934; рус. перев. 1971], *Сенсация* [*Scoop*, 1938; рус. перев. 1992], *Не жалейте флагов* [*Put Out More Flags*, 1942; рус. перев. 1971], *Возвращение в Брайдсхед* [*Brideshead Revisited*, 1945; рус. перев. 1974], *Незабвенная* [*The Loved One*, 1948; рус. перев. *ИЛ*, 1969, № 2], *Офицеры и джентльмены* [*Officers and Gentlemen*, 1955; рус. перев. 1977] и др. В *ИЛ* опубликовано также его радиовыступление *П. Г. Вудхаузу: поздравление и покаяние* [2012, № 12] и *Из дневников. 20–30-е годы* [2013, № 2].
Публикуемые тексты взяты из разных изданий.

Переводчики

Ольга Кулагина Переводчик с английского и испанского языков, по образованию математик.

Переводила тексты в области финансов и информационных технологий. В ее переводе опубликованы три рассказа Д. Безмозгиса *Наташа*, *Хоински*, *Новое надгробие на старую могилу*. В *ИЛ* в ее переводе опубликованы рассказы Н. Олгрена [2016, № 1] и роман Х. Ибаргуэнгойтиа *Мертвые девушки* [2016, № 1].

Валерий Григорьевич Минушин [р. 1939]. Филолог, переводчик с английского.

В его переводах выходили произведения И. Во, У. Голдинга, Л. Даррелла, А. Мёрдок, Г. Миллера, Д. Лондона, Г. Джойса, Р. Стоуна, Д. Г. Лоуренса, К. Маккарти, К. Эмиса, Р. Йейтса, Д. Уоллеса, Э. Уортон, В. Набокова, У. К. Уильямса, У. Стивенса, Э. Парди и др. В *ИЛ* публиковались его переводы стихотворений Л. Ферлингетти [1970, № 11] и Д. Уолкотта [1997, № 12].

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премий *Литературная мысль* [1997] и *Мастер* [2008], обладатель почетного диплома критики *зоИЛ* [2002].

Автор книг *Редьярд Киплинг* [2011], *Сомерсет Моэм* [2012], *Оскар Уайльд* [2014], Фицджеральд [2015], Генри Миллер [2016]. В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, Н. Уэста, У. Тревора, П. Остера, И. Б. Зингера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхаузса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, О. Голдсмита, У. Хэзлитта, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Т. Дж. Смоллетта, Д. Китса, В Набокова, дневники С. Пипса и Г. Джеймса, путевые очерки Т. Дж. Смоллетта, Г. Грина и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Анна Владимировна Курт
Поэт, переводчик, публицист.

Автор сборника стихов *Две розы*. В ее переводе опубликованы *Лекции по русской литературе* В. Набокова, *Прощай, Берлин* К. Ишервуда, *Эссе о литературе* У. Х. Одена, *Капля Божественного меда* и *Познание Востока* П. Клоделя, "Кровь бедняка" Л. Блуа [совместно с Анной Райской], *История свободы* И. Берлина, эссе из сборника *Классик без ретуши*, посвященного В. Набокову и Ив. Бунину, стихи Д. Сент-Джона, Д. Лемана, Д. Мэйсона. В *ИЛ* опубликованы ее переводы сонетов И. дю Белле [2010, № 6].

Алла Иосифовна Резникова
Переводчик, преподаватель.

В ее переводе опубликованы книга Колафранческо *Как переделать мужа* [1996], эссе из сборника *Классик без ретуши*, посвященного Ив. Бунину [2011], переводила для журналов *Вокруг света*, *Сельская молодежь*, *За рубежом*, *Новое время* и др. В *ИЛ* публикуется впервые.

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.
Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.
Льготная подписка оформляется в редакции
(понедельник, вторник, среда, четверг
с 12.00 до 17.30).

В оформлении обложки использован фрагмент картины английского художника Генри Лэма [1883–1960]
Ивлин Во, 26 лет.

На третьей обложке — рисунок Туллио Периколи

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.
Компьютерный набор Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Исполнительный директор Мария Макарова.

Адреса редакции: 115035, г. Москва,
Космодемьянская наб., д. 44/2, корп. А
(юридический);
119017, г. Москва, Пятницкая ул., 41, стр. 1, 2
(почтовый);
г. Москва, Ленинградский просп., д. 68, стр. 24,
м. "Аэропорт" (фактический).
Телефон (495) 225-98-80.
e-mail: inolit@rinet.ru

Купить журнал можно:
в Москве:
в редакции;
в киоске "Москва" (ул. Арбат, д. 20);
в киоске "Лингвистика" (Библиотека иностранной литературы им. М. И. Рудомино Николоямская ул., д. 1);
в книжном магазине "Русское зарубежье" (Нижняя Радищевская, д. 2; м. Таганская-кольцевая);
в киоске "Книжные мастерские" (ул. Тверская, д. 23, в фойе Электротеатра Станиславского);
в Санкт-Петербурге:
в магазине "Книжные мастерские" (Каменноостровский пр., д. 10);
в книжном магазине "Все свободны" (набережная реки Мойки, д. 8, второй двор, код ворот 489);
в книжном магазине "Мы" (Невский просп., 20, 3-й этаж);
в магазине "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 15);
в киоске "Книжные мастерские" (набережная реки Фонтанки, д. 49А, 3-й этаж, новая сцена Александринского театра);
в Пензе:
в книжном магазине "В переплете" (ул. Московская, д.12),

Официальный сайт журнала:
http://www.inostranka.ru
Наш блог:
http://obzor-inolit.livejournal.com

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное
свидетельство
ПИ № 8С77-63040
от 18 сентября 2015 г.

Подписано в печать
7.4.2016
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 25,20.
Уч.-изд. л. 24.
Заказ № 2628.
Тираж 2500 экз.

Отпечатано в
ОАО "Можайский
полиграфический комбинат".
143200, г. Можайск,
ул. Мира, 93.
www.oaompk.ru
www.ОАОМПК.рф
Тел.: (495) 745-84-28;
(49638) 20-685.
Присланные рукописи не
возвращаются и не
рецензируются.

[5] 2016

Специальный номер:
И снова Бард...
К 400-летию со дня смерти Шекспира

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Узнай завтрашних классиков!

Подписка во всех отделениях связи России,
подписной индекс 70394

Адрес редакции журнала “Иностранная литература”:
г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 68, стр. 24, м. “Аэропорт”.

ИНДЕКС 70394

“ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2016, №4, 1–288

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”

ISSN 0130-6545 16004 9 770130 654770